

## ПИСЬМА С ГОРЫ

*Vitam impendere vero*<sup>1</sup>.

### Уведомление

Поздно возвращаться, я это понимаю, к слишком избитой и уже почти забытой теме. Состояние моего здоровья, которое не позволяет мне более выполнять какую бы то ни было работу, требующую усидчивости, мое отвращение к полемике стали причиной медленного написания этих «Писем» и нежелания их обнародовать. Я даже полностью уничтожил бы эти «Письма» или, скорее, я бы их совсем не писал, если бы речь шла только обо мне; однако моя родина не стала мне настолько чуждой, чтобы я мог спокойно наблюдать, как угнетают ее граждан, особенно тогда, когда они осознали свои права, встав на мою защиту. Я был бы последним из людей, если бы прислушивался к чувству, которое в подобных обстоятельствах нельзя считать проявлением ни мягкости, ни терпения, но, напротив, слабости и трусости, когда оно мешает исполнить свой долг.

Нет ничего менее значимого для публики, и я с этим соглашусь, чем предмет этих «Писем». Государственный строй маленькой республики, судьба маленького человека, перечень некоторых несправедливостей, опровержение нескольких софизмов, — все это не содержит в себе ничего значительного, чтобы заслужить внимание многих читателей; однако если темы, затронутые мною, незначительны, а предметы — значительны и заслуживают внимания любого достойного человека. Оставим в покое Женеву и Руссо с его слабостями; но религия, но свобода, но справедливость! Кем бы вы ни были, все это не окажется недостойным вашего внимания.

Не пытайтесь найти здесь в красотах стиля вознаграждение за сухость предмета. Те, кого так разозлили некоторые удачно написанные строки, вышедшие из-под моего пера, найдут в этих «Письмах» то, что охладит их пыл. Честь защитить угнетенного воспламенила бы мое сердце, если бы я выступал в защиту постороннего человека. Мне выпала печальная участь защищать самого себя, и я должен был ограничиться размышлениями; воспламениться означало бы унижить себя. В этом вопросе я бы снискал милость тех, кто воображает, будто для правды существенно то, что ее высказывают хладнокровно, а это мнение мне трудно понять. В то время когда страстная убежденность нас воодушевляет, зачем использовать ледяной язык? Когда Архимед в восторге вдохновения бежал раздетый по улицам Сиракуз, разве то, что он увлекся истиной, умаляет значение открытого им? Вовсе нет: тот, кто ее чувствует, не может удержаться от того, чтобы ей поклоняться; тот, кто холоден, ее не созерцал никогда.

Как бы то ни было, я прошу читателей соблаговолить не уделять внимания красотах стиля и ограничиться исследованием того, насколько правильно я размышляю: поскольку я не понимаю, как из одного лишь того, что автор излагает свои мысли в правильных выражениях, может следовать, что автор не отдает себе отчета в сказанном им.

## Первая часть

### *Письмо I*

Нет, сударь, я вовсе не осуждаю вас за то, что вы не присоединились к сторонникам Представлений<sup>2</sup> и не вступились за меня. Я сам далек от того, чтобы одобрить такой поступок, ведь я противился этому всеми силами, и мои родственники по моей просьбе не стали в это вмешиваться. Мы молчали, когда нужно было говорить, и говорили, когда оставалось только молчать. Я предвидел бесполезность Представлений, я предчувствовал их последствия: я рассудил, что они нарушили бы спокойствие в обществе или изменили бы государственный строй. События даже чересчур подтвердили мои опасения. Вот и вы оказались перед пугающим меня выбором. Переломное время, свидетелем которого вы стали, требует рассуждений на иную тему, чем та, что касается меня. Вы спрашиваете, что

вам следует делать: вы полагаете, что последствия этих действий, поскольку они затрагивают организм граждан, в меньшей мере отразятся на тех, кто от них воздержался, чем на тех, кто их совершил. Но вне зависимости от того, каковы были их мнения поначалу, сознание общей выгоды должно их всех объединить. Требуемые вами права и те, на которые покушаются, нельзя более ставить под сомнение; необходимо, чтобы их либо признали, либо уничтожили, ведь именно их очевидность губельна для них. Не следовало подносить горящий факел к дому во время бури; но сегодня весь дом охвачен огнем.

Хотя речь здесь не идет о выгоде для меня, все же в этом деле забота моя честь; вы это знаете и спрашиваете мое мнение, однако, в качестве лица стороннего; вы предполагаете, что меня не ослепляют предрассудки и что пристрастность никоим образом не сделает меня несправедливым; я тоже на это надеюсь; однако кто может отвечать за себя в столь сложных обстоятельствах? Я чувствую, что не способен забыть о себе в этой ссоре, в которой принимаю участие, ставшей главной причиной моих несчастий. Сударь, чем смогу я ответить на доверие с вашей стороны и оправдать ваше уважение, коль скоро им пользуюсь? Вот чем. По правде сказать, не доверяя самому себе, я вам выскажу не столько свое мнение, сколько доводы: вы их взвесите, сравните и выбирайте. Сделайте еще один шаг, доверяйте всегда не моим намерениям — Бог свидетель, они чисты, — но моему суждению. Человек, даже самый справедливый, будучи уязвлен, редко воспринимает вещи такими, каковы они есть. Я, конечно же, не желаю вас обманывать; однако я могу обманываться сам: я смог бы обмануться в любом ином деле, и тем более вероятно, что это случится при настоящем положении дел. Будьте начеку, и даже если я буду десять раз прав, не признавайте моей правоты в одиннадцатый.

Вот, сударь, меры предосторожности, которые вам следует принять, и вот меры предосторожности, которые приму я, в свою очередь. Я начну с того, что буду говорить с вами о себе, о моих обидах, о суровых поступках ваших магистратов: когда это будет сделано и когда я облегчу свое сердце, я забуду о себе и стану говорить с вами о вас, о вашем положении, а именно, о республике; я не чересчур самонадеян, если смею думать, что, приняв эти меры предосторожности, смогу справедливо обсуждать вопрос, который вы передо мной ставите.

Меня оскорбили тем более жестоко, что я льстил себя надеждой на то, что имел заслуги перед родиной. Если мне нужно было просить помилования за мое поведение, я небезосновательно мог на него рассчитывать. Однако с беспримерной поспешностью, без вызова в суд, без рассмотрения дела они бросились клеймить позором мои книги; они зашли даже еще дальше: не считаясь с моими несчастьями, моими болезнями, моим положением, они приняли решение касательно моей личности столь же поспешно; не поскупились даже на слова, которыми обычно награждают злоумышленников. Эти господа не проявили снисходительности; но были ли они, по крайней мере, справедливы? Именно это я и хочу выяснить с вашей помощью. Прошу, не пугайтесь пространности этих «Писем»: я вынужден был писать пространно. В решении многих поставленных вопросов я хотел бы быть сдержанным в словах: однако, сударь, что ни говори, а пространность необходима в размышлениях.

Начнем с того, что соберем вместе все то, что легло в основу этого расследования, но обратимся не к обвинительному заключению, не к приговору суда, вынесенному тайно и оставшемуся в тени \*, но к ответам Совета на Представления граждан и горожан, или, скорее, к «Письмам из деревни», труду, служащему им манифестом, где они только и снисходят до размышлений на затронутые вами темы.

Мои книги, как они утверждают, кощунственные, греховные, дерзкие, полные богохульства и наветов на религию. Под видом сомнений автор здесь собрал все, что может подорвать, потрясти и разрушить основополагающие начала, заложенные в Откровениях христианской религии.

Они содержат нападки на все существующие правления.

Эти книги являются, кроме того, тем более опасными и предосудительными, что они написаны самым увлекательным стилем французского языка, что они вышли в свет под именем Руссо и со званием гражданина Женевы и что, в соответствии с намерением автора, «Эмиль» должен служить руководством для отцов, матерей и наставников.

---

\* Моя семья официально потребовала сообщить ей это постановление. Вот ответ: «От 25 июня 1762 года. На обычном заседании, рассмотрев настоящее требование, Совет постановил, что не имеется оснований для удовлетворения ононого. Люлэн». Постановление Парижского парламента было опубликовано сразу после его вынесения. Вообразите себе, чем является страна, в которой держат в тайне решения, затрагивающие честь и свободу граждан.

Осуждая эти книги, Совет не мог обойти вниманием того, кто, как предполагают, является их автором.

Наконец, постановление об аресте, вынесенное против Руссо, — продолжают они, — не является ни судебным решением, ни приговором, но простым и предварительным выговором, который предоставлял мне целиком право возражать и защищать себя и он в предусмотренном случае служил подготовительным этапом к рассмотрению дела, предписанному эдиктами и Церковным Ордонансом<sup>3</sup>.

В ответ на это авторы Представлений, не вдаваясь в исследование его учения, возражали, «что Совет осудил без соблюдения предварительного порядка; что статья 88 Церковного Ордонанса была нарушена в этом судебном решении; что расследование, проведенное в 1566 году против Жана Морелли<sup>4</sup> согласно этой статье, содержит ясное указание на ее применение, и этим примером устанавливался судебный обычай, которым не должно было пренебрегать; что этот новый способ рассмотрения даже противоречил норме естественного права, признанного всеми народами, а эта норма требует, чтобы никто не был осужден до того, как были заслушаны доводы в его защиту; что нельзя заклеить позором произведение, не заклеив вместе с тем автора, чье имя на нем стоит; что непонятно, какие возражения и средства защиты остаются человеку, объявленному святотатцем, дерзким и неприличным в своих произведениях; и после приговора, вынесенного и приведенного в исполнение в отношении его же произведений, коль скоро автор вел речь о вещах, которые нельзя было расценить как бесчестье, то бесчестье, которым стало сожжение книги рукой палача, неизбежно отразится на их авторе: из чего следует, что нельзя отнять у гражданина самое ценное, то есть честь; что нельзя было унижать его доброе имя и положение, предварительно не выслушав его в суде; что осужденные и заклеенные позором произведения заслуживали по меньшей мере столько же поддержки и терпимости, сколько и другие сочинения, где содержатся жестокие насмешки над религией и которые распространялись и печатались в городе; в том, что касается правлений, то в Женеве было всегда дозволено свободно рассуждать на эту общую тему; там не запрещена ни одна книга, содержащая рассуждения об этом; там не клеймят никакого автора за это, независимо от его мнений; и что, не думая нападать, в частно-

сти, на республиканское правительство, автор не упускал ни одного случая высказать ему похвалу».

На эти возражения со стороны Совета было получен ответ, «что решение осудить книгу после ее прочтения и достаточного изучения вовсе не означает пренебрегать этой нормой, которая требует, чтобы никто не был осужден, если его в достаточной мере не выслушали; что статья 88 Ордонанса применима исключительно по отношению к человеку, который лжеучительствует о догматах, а не в отношении книги, разрушающей христианскую религию; что не является верным то, что заклеивание произведения касается его автора, который может всего лишь проявить неосторожность или неопытность; что в отношении неприличных сочинений, терпимых или даже напечатанных в Женеве, неразумно утверждать, что в силу того что правительство однажды проявило сдержанность, оно будет обязано проявлять ее всегда; и книги, в которых только высмеивают религию, за небольшим исключением, не заслуживают того же наказания, что и те, в которых, умствуя, прямо нападают на нее; а, в конце концов, долг Совета — поддерживать христианскую религию во всей чистоте перед лицом общего блага, законов, чести правительства, побудивший его вынести однажды это решение, не позволяет ему это решение ни изменить, ни смягчить».

Здесь не приведены все доводы, возражения и ответы, которые были даны с той и с другой стороны; приведены лишь основные, и их достаточно, чтобы рассмотреть мое дело как в соответствии с правом, так и по сути.

Между тем, поскольку в подобном описании предмета разбирательства он остается все еще неясным, я попытаюсь разъяснить его с большей точностью из опасения, что вы не станете усматривать мою собственную защиту в той части этого предмета, которой я не хочу уделять внимание.

Я — человек; и я писал книги; и я подвержен заблуждениям\*. Я и сам не раз их замечал; я не сомневаюсь, что другие увидят их в еще большем количестве, и что есть еще большее количество оши-

---

\* За исключением, если угодно, книг по геометрии и их авторов. И если нет никаких ошибок в теоремах, то что служит порукой их отсутствия в порядке выводов, выборе теорем и в способе рассуждения? Евклид доказывает и достигает своей цели; но какой путь он выбирает? Сколько раз он ошибался на этом пути? Какой бы непогрешимой ни была наука, человек, который ею занимается, часто ошибается.

бок, которые ни я, ни остальные совсем не заметят. И если на этом остановиться, то я готов под всем этим подписаться.

И какой автор не попадал в сходное положение или может льстить себе надеждой на то, что не попадал в него? С этим не поспоришь. Если меня опровергнут и будут при этом правы, а заблуждения обнаружатся, я буду молчать. Но даже если опровергнут мои доводы и окажутся неправы, то я все равно буду молчать: должен ли я отвечать за деяния других людей? При любом раскладе, выслушав обе стороны, общество рассудит; оно вынесет решение, и книга либо пользуется успехом, либо терпит провал, и на этом рассмотрение ее содержания заканчивается.

Часто на заблуждения авторов не стоит обращать внимания, но они также наносят ущерб, даже вопреки намерениям того, кто в них впадает. Можно ошибиться во вред обществу так же, как и во вред самому себе. Можно причинить вред по незнанию. Разногласия по вопросам юриспруденции, морали, религии подпадают часто под этот случай. Из двух спорящих один обязательно ошибается, и, что всегда важно, заблуждение в этих вопросах становится ошибкой; однако она не подлежит наказанию в том случае, когда ее признают неумышленной. Человек неповинен в нанесении вреда, если он желал оказать услугу, и если дозволительно преследовать автора как преступника за ошибку, совершенную по незнанию или по невнимательности, за неверные суждения, которые можно весьма последовательно извлечь из его сочинений, при том что он с ними не согласен, тогда какой писатель избавлен от преследований? Ему следовало бы вдохновиться Святым Духом, если он стал автором, и иметь в числе судей лишь людей, вдохновленных Святым Духом.

И если мне вменяют в вину лишь подобные ошибки, я должен оправдываться только в том, что касается простых заблуждений. Я не смею утверждать, что у меня никогда не было подобных заблуждений, ибо я не ангел; но ошибки, которые, как утверждают, находят в моих сочинениях, возможно, в них и не содержатся, ибо те, кто утверждает, что они там есть, тем более не ангелы. Людям свойственно ошибаться, так же как и мне, так почему же они утверждают, что их разум должен стать судьей моего разума и что я подлежу наказанию за то, что я мыслил не так, как они?

Таким образом, люди — судьи подобного рода ошибок; порицание за них есть единственное наказание. Никто не может избежать решения этого судьи; и, что касается меня, то я к нему не обраща-

юсь. Верно, что если судья находит эти ошибки вредными, то он может запретить книгу, в которой они содержатся; но, повторяю, он не может наказывать за это автора, их совершившего, ибо это означало бы наказывать за преступление, которое окажется невольным, а наказывать должно лишь за злые намерения. Но пока мы еще не дошли до того, о чем идет речь.

Однако имеется существенная разница между книгой, содержащей вредные заблуждения, и книгой пагубной. Установленные начала, последовательная цепь рассуждений, сделанные выводы обнаруживают намерение автора, и это самое намерение, зависящее от его воли, подпадает под юрисдикцию законов. Если же это намерение очевидно недоброе, оно более не является ни заблуждением, ни ошибкой, но преступлением; и тогда все меняется. Речь более не идет о литературном споре, в котором общество является разумным судьей, но об уголовном преследовании, которое должно быть осуществлено судом по всей строгости законов: таково тяжелое положение, в которое меня поставили магистраты, называющие себя справедливыми, и ревностные писатели, считающие этих магистратов чересчур снисходительными. Коль скоро мне уготованы тюрьмы, палачи, цепи, любой, кто меня обвиняет, является доносчиком; он понимает, что он обрушивается не только на автора, но и на человека; он знает, что все, что он пишет, может повлиять на мою судьбу\*. Итак, он посягает не только на мое доброе имя, но и на мои честь и жизнь.

Сударь, сказанное тотчас возвращает нас к постановке вопроса, от которой публика, как мне кажется, отклоняется. Если я написал вещи предосудительные, то позволительно меня за это порицать и запретить книгу. Однако, чтобы ее заклеить, совершать напад-

---

\* Несколько лет назад, едва только появилась одна знаменитая книга, я решил выступить против начал, которые я считал опасными. Я приступил к исполнению моего замысла, когда узнал, что автор подвергся гонениям. В тот же миг я швырнул мои листы в огонь, полагая, что никакой долг не оправдывает низость примкнуть к толпе, дабы преследовать оскорбленного человека. Когда все успокоилось, мне представилась возможность выразить мое мнение по той же теме в других сочинениях; я это сделал, не упоминая ни книги, ни имени автора. Я счел своим долгом соединить этот знак уважения к его несчастьям с почтением, которое я испытывал к его личности. Я совсем не думаю, что только мне свойственен такой образ мысли; он присущ всем порядочным людям. Коль скоро дело передано в уголовный суд, они должны хранить молчание, если только их не вызвали для дачи показаний<sup>5</sup>.

ки на мою личность, одних моих ошибок недостаточно: должно иметь место правонарушение, преступление, необходимо доказать, что я умышленно написал пагубную книгу, и пусть обвинитель изобличает обвиняемого перед судьей, а не какой-нибудь автор доказывает, будто другой ошибается. Дабы получить право относиться ко мне как к злодею, следует меня изобличить. Это первый вопрос, который нужно изучить. Второй вопрос заключается в том, чтобы, предполагая, будто факт правонарушения установлен, понять его природу, указать на место, где оно было совершено, на суд, которому надлежит его рассматривать, на закон, за него наказывающий, и на наказание, которое должно впоследствии. Как только эти два вопроса будут разрешены, можно будет решить, правильно или неправильно я рассуждал в своих книгах.

Чтобы установить, написал ли я пагубную книгу, необходимо изучить, какие начала в ней заключаются, и посмотреть, что из них последует, если люди их одобряют. Поскольку я изучал множество предметов, я должен прежде всего обратить внимание на те из них, за рассмотрение которых меня преследуют, а именно: на религию и на правления. Начнем с первого пункта, следуя примеру судей, не высказавших своего мнения относительно второго.

В «Эмиле» содержится исповедание веры католического священника, а в «Новой Элоизе» — исповедание веры набожной женщины. Эти два сочинения согласуются в достаточной мере, чтобы можно было объяснить содержание одного с помощью другого; и по этому согласию можно предположить вполне правдоподобно, что если автор, который опубликовал книги, где содержатся оба исповедания, не одобряет ни то, ни другое, то он, по крайней мере, к ним относится благосклонно. Из этих двух исповеданий веры первое, поскольку оно наиболее пространное и единственное, в котором нашли состав преступления, должно быть по преимуществу исследовано.

Это исследование, дабы оно соответствовало своей цели, требует еще одного пояснения, поскольку, заметьте, выявить и разъяснить положения, которые вызывают смятение в умах моих обвинителей и заводят их в тупик, это означает ответить на их обвинения. Поскольку они оспаривают очевидные вещи, то если вопрос поставить правильно, их обвинения будут опровергнуты.

Я различаю в религии помимо способа поклонения, который является всего лишь обрядом, две стороны. Эти две стороны суть дог-

ма и мораль. Я разделяю догмы еще на два вида, а именно: на те, которые, указывая на начала наших обязанностей, служат основой для морали, и на те, имея отношение только к вере, содержат лишь умозрительные догматы.

Из этого различия, которое мне кажется точным, вытекает разделение мнений о религии, с одной стороны, на истинные, ложные или вызывающие сомнение, с другой — на благие, недостойные или безразличные.

Суждение о первых зависит исключительно от разума; и если богословы поставили себе его на службу, то в качестве лиц размышляющих, в качестве преподавателей науки, с помощью которой достигается познание истины и лжи в вопросах веры. Если заблуждения в этой части вредны, то только для тех, кто заблуждается, и наносят им урон в том, что касается будущей жизни, на которую людской суд не может распространить свое ведение. Когда они принимают их во внимание, то действуют не в качестве судей в вопросах истины и лжи, но в качестве служителей гражданских законов, устанавливающих наружный порядок богослужения; здесь пока еще речь не идет об этой части религии; это будет рассмотрено позднее.

Что касается той стороны религии, которая относится к морали, а именно: к справедливости, общественному благу, повиновению законам естественным и положительным, общественным добродетелям и всем обязанностям человека и гражданина, то этим надлежит заниматься правительству, и только в этом религия ему непосредственно подсудна, и подвергать граждан изгнанию следует не за заблуждения, в чем правительство не является судьей, но за любое вредное мнение, способное разорвать узы общества.

Сударь, вот различие, которое вам следует провести, для того чтобы судить об этом произведении, но судом не священников, а магистратов. Я признаю, что это различие не вполне убедительно. Можно обнаружить возражения и сомнения. Допустим, хотя это и не так, что эти сомнения являются отрицаниями. Однако это различие становится по большей части убедительным, оно убедительно и доказательно во всем, что относится к основным положениям гражданской религии; оно настолько недвусмысленно во всем, что касается вечного Провидения, любви к ближнему, справедливости, мира, счастья людей, законов общества, всех добродетелей, что возражения и даже сомнения здесь имеют целью получить некие преимущества; и я настаиваю, чтобы мне здесь указали хотя бы на один

пункт учения, подвергшегося нападкам, который я не считал бы вредным для людей или вообще, или по его неизбежным последствиям.

Религия полезна и даже необходима народу. Разве не это сказано, установлено, доказано в этом самом сочинении? Автор, далекий от мысли покуситься на истинные начала религии, их обосновывает, их подкрепляет всеми возможными доводами; то, на что он нападает, то, с чем он сражается, то, с чем он обязан сражаться, так это слепой фанатизм, жестокое суеверие, глупый предрассудок. Однако, говорят они, и это следует уважать. Но почему? Потому что с помощью всего этого ведут за собой народы. Да, но именно так их ведут к гибели. Суеверие есть самый жестокий бич человечества; оно ожесточает простых людей, оно преследует мудрых, оно заковычивает в оковы народы, оно сеет повсюду сотни ужасных бед. Какое благо оно приносит? Никакого; и даже если и приносит, так только тиранам; оно есть их самое ужасное оружие — и это самое большое зло из всех, которые оно когда-либо сотворило.

Они говорят, что, критикуя суеверие, я желаю уничтожить саму религию: с чего они это взяли? Почему они путают эти два предмета спора, которые я столь тщательно различаю? Как получается, что они совсем не видят того, как это обвинение оборачивается со всей силой против них самих и что у религии нет врагов более страшных, чем защитники суеверий? Было бы весьма коварно с такой легкостью вменять в вину человеку намерение, если это намерение трудно оправдать. Пока не доказано, что оно плохое, то его следует считать добрым: иначе кто может чувствовать себя в безопасности от произвольного осуждения со стороны своих врагов? Как! Одно их утверждение является доказательством в пользу того, что им неизвестно, а мое собственное утверждение вместе со всем моим поведением не позволяет выяснить, в чем заключается мое мнение? Какое средство сделать так, чтобы они его поняли, остается у меня? Добро, которое я ощущаю в моем сердце, я не умею выставлять на показ, я это признаю: но как отвратителен тот человек, осмеливающийся хвастаться тем, что замечает зло, которого там не было и в помине?

Чем больше человек повинен в проповеди безбожия, как говорит господин д'Аламбер, тем более преступно с его стороны обвинять в этом тех, кто на самом деле безбожия не проповедует<sup>6</sup>. Те, кто прилюдно судят о моем христианстве, лишь показывают, каково их собственное христианство; и единственное, что они при этом

доказывают, состоит в том, что они и я исповедуем разные религии. Вот это-то их и выводит из себя: они чувствуют, что так называемое зло раздражает их меньше, чем самое добро. Это добро, которое они неизбежно находят в моих сочинениях, досаждают им и смущает их; вынужденные видеть вместо него зло, они чувствуют, что они слишком себя выдают. Насколько было бы им легче, если бы этого добра там вообще не было!

Когда меня судят вовсе не за то, что я сказал, но за то, что, как они уверяют, я хотел сказать, когда они ищут в моих намерениях зло, которого нет в моих сочинениях, что я могу с этим поделаться? Они опровергают мои речи мыслями, приписываемыми мне; когда я говорю «белое», они утверждают, что я хотел сказать «черное»; они ставят себя на место Бога для того, чтобы исполнить работу дьявола. Как уберечь мою голову от ударов, нанесенных с такой высоты?

Для доказательства того, что автор вовсе не питал столь ужасных намерений, которые они ему приписывают, я вижу лишь одно средство — судить о его сочинении. Ах! Пусть судят, я на это согласен; но это не моя задача, и последовательное исследование с этой точки зрения оказалось бы для меня недостойным занятием. Нет, сударь, не существует такого несчастья или клейма позора, которые вынудили бы меня поступить низко. Я бы оскорбил автора, издателя, самого читателя оправданием, тем более постыдным, что им так легко воспользоваться; доказать, что оно не является преступлением, означает унижить добродетель; доказать, что оно истинно, означает бросить тень на очевидное. Нет, читайте и судите сами. Горе вам, если в продолжение этого чтения ваше сердце не благословит сотню раз человека добродетельного и твердого, который осмеливается таким образом наставлять людей!

И как же мне решиться оправдывать это творчество? Мне, кто думает исправить им ошибки всей жизни, мне, кто считает беды, которые оно навлекло на меня, искуплением за беды, мною причиненные; мне, исполненному доверия и надеющемуся сказать высшему Судье: Соболаволи судить по милосердию твоему слабого человека; я совершил зло на земле, но ведь я и опубликовал это сочинение.

Милостивый государь, позвольте моему переполненному чувствами сердцу не подавлять вздохи, время от времени вырывающиеся у меня; но будьте уверены, что в спорах, которые я веду, я не

прибегну ни к напыщенным речам, ни к жалобам; я также не стану вести их с горячностью, свойственной моим противникам; я буду всегда хладнокровно рассуждать. Итак, я возвращаюсь к моей теме.

Постараемся держаться середины, приемлемой для вас и не унижительной для меня. На минуту предположим, что «Исповедание веры викария» одобрили в одном из уголков христианского мира, и посмотрим, какое добро и какое зло последовали бы из этого. Не ради нападков на него, не ради защиты; так мы сможем судить о нем по его влиянию.

Поначалу я замечаю вещи необычные, но без всякой видимой новизны: никаких изменений в богослужениях и важные перемены в сердцах, обращение в веру без внешнего блеска, вера без споров о ней, пыл без фанатизма, разумные суждения без святотатства; мало догматов и много добродетелей, терпимость философа и милосердие христианина.

Наши новообращенные будут руководствоваться двумя заповедями веры, сводимыми, в сущности, к одной: разум и Евангелие; второе правило станет тем более незыблемым, что оно зиждется только на первом и никоим образом не на каких-то фактах, каковые, нуждаясь в свидетельствах, подчиняют религию людской власти.

Большая разница между новообращенными и прочими христианами заключается в том, что люди, которые много спорят о Евангелии, не заботятся о том, что надо следовать его заповедям, в то время как новообращенные сильно привязаны к религиозным обрядам и не станут вести никаких споров.

Когда наши христиане-спорщики придут и скажут им: «Вы себя называете христианами, а сами таковыми не являетесь; ибо для того, чтобы быть христианами, надо верить в Иисуса Христа, а вы в него вовсе не верите», то миролюбивые христиане им ответят: «Мы не знаем хорошенько, верим ли мы в Иисуса Христа согласно вашему пониманию, потому что оно нам недоступно, но мы пытаемся соблюдать то, что Он нам заповедал. Мы все — христиане, каждый по-своему: мы — оберегая Его слово, а вы — веря в Него. Его милосердие требует, чтобы мы все были братьями: мы выполняем этот долг милосердия, полагая вас таковыми; во имя любви к Нему, не отнимайте у нас звание, которое мы почитаем всеми силами и которое нам столь же дорого, как и вам».

Христиане-спорщики, без сомнения, проявят настойчивость. Они скажут: «Коль скоро вы благословляете себя именем Иисуса, вас

следует спросить: по какому праву? Вы утверждаете, что сохранили Его слово; но какою властью вы его наделяете? Признаете ли вы Откровение или же не признаете? Признаете ли вы свидетельство Евангелия целиком или же только частично? На чем основаны эти различия?» Странные христиане те, кто торгуются с учителем и вытирают в его вероучении то, что им хочется одобрить.

На это новообращенные им, не смущаясь, ответят:

Братья мои, мы вовсе не торгуемся, ибо наша вера не есть торговля: вы предполагаете, что от нас зависит соглашаться или отвергать, как нам заблагорассудится, но это не так, и наш разум вовсе не подчиняется нашей воле. Напрасно желали бы мы, чтобы то, что нам кажется ложным, показалось истинным; оно нам показалось бы ложным вопреки нашей воле. Все, что зависит от нас, — это говорить то, что думаем, или то, чего не думаем, и наше единственное преступление заключается в том, что мы не хотим вас обманывать.

Мы признаем свидетельства об Иисусе Христе, потому что наш разум соглашается с его заповедями и открывает нам их возвышенность. Он нам внушает, что людям надлежит следовать его заповедям, но что обнаружить их было выше людских сил. Мы признаем Откровение, исходящее от Духа Божия, не зная, каким образом это происходит, и не терзая себя попытками это понять; нам важно лишь знать то, что Бог говорил, и не имеют значения объяснения того, каким образом Он сделал так, чтобы его услышали. Таким образом, признавая в Евангелии божественную власть, мы верим в Иисуса Христа, наделенного этой властью; мы усматриваем в Его поведении добродетель, превосходящую человеческую, и мудрость Его заповедей, превосходящую человеческую. Вот в чем мы не сомневаемся. Как все это происходило на самом деле? Это для нас неясно и выше нашего понимания. Это касается вас. В добрый час; мы радуемся за вас от всего сердца. Ваш разум, может быть, превосходит наш; но это не означает, что он должен стать для нас законом. Мы соглашаемся с тем, что вам известно все, а вы проявите терпимость, раз что-то осталось для нас непонятным.

Вы спрашиваете нас, принимаем ли мы Евангелие целиком? Мы принимаем его со всеми заповедями Иисуса Христа. Польза и необходимость большинства этих заповедей нас восхищает, и мы стараемся соблюдать их. Некоторые из них превосходят наше понимание; они, несомненно, были обращены к умам, более возвышенным, чем наш. Мы далеки от мысли, будто достигли пределов человеческого понимания, но признаем, что более

проницательные умы нуждаются в предписаниях более возвышенного характера.

Многие вещи в Евангелии недостижимы для нашего разума и даже его смущают, однако мы их не отвергаем. Будучи убежденными в слабости нашего понимания, мы умеем уважать то, что мы не способны усвоить, когда внутренняя связь того, что мы постигаем, вынуждает нас считать это выше нашего понимания. Все, что нам необходимо знать, чтобы стать праведниками, кажется нам ясным из Евангелия; нужно ли нам вникать во все остальное? В этом мы остаемся невеждами, но зато избегаем заблуждений и при всем том остаемся вполне порядочными людьми; это смиренное возражение соответствует духу Евангелия.

Мы почитаем эту священную книгу не как книгу, но как слово и жизнь Иисуса Христа. Истина, мудрость, святость, которые там являют себя, учат нас, что эта история не была искажена в своей сути \*. Но нам не доказали, что она не была полностью искажена. Кто знает, не являются ли вещи, которых мы не понимаем, ошибками, вкравшимися в текст? Кто знает, хорошо ли поняли и хорошо ли передали вероучение ученики, стоявшие ниже своего учителя? Мы об этом не можем судить и даже делать предположения, и мы предлагаем вам догадки только потому, что вы того требуете.

Наши мысли могут быть ошибочны, но ведь и ваши тоже. Почему вы не способны ошибаться, раз вы являетесь людьми? Вы можете быть столь же добросовестными, как и мы, но вы не способны стать таковыми в еще большей мере; возможно, вы являетесь более просвещенными, но вы не являетесь непогрешимыми. Кто же рассудит две стороны? Может быть, вы? Это неправильно. И в еще меньшей мере мы, сильно сомневающиеся в самих себе. Оставим решать это дело Судье, который судит всех и слышит нас, и поскольку мы пришли к согласию в вопросе о правилах, лежащих в основе наших взаимных обязанностей, во всем остальном проявляйте терпимость так же, как и мы. Давайте будем людьми мирными, будем братьями; давайте соединимся в любви к нашему общему учителю, в осуществлении добродетелей, нам предписанных. Вот что такое истинный христианин.

И если вы станете упорно отказываться от этого бесценного звания после того, как мы сделали все, чтобы жить с вами как братья, то и за эту несправедливость взамен мы получим утеше-

---

\* До чего бы дошли простые верующие, если бы они могли понять это только благодаря сомнениям и спорам или опираясь на авторитет пасторов? Как можно ставить веру в зависимость от такого количества знаний и от такого смирения?

ние, полагая, что слово и дело — вещи разные, что первые ученики Иисуса не принимали имя христиан, что мученик Этьен никогда не называл себя этим именем, и когда Павел был обращен в веру Христа, еще не было ни одного христианина \* на земле.

Вы же не думаете, сударь, что проходящая подобным образом борьба мнений будет оживленной и долгой и что одна из сторон не окажется в скором времени вынужденной замолчать, в то время как другая сторона не пожелает спорить?

Если новообращенные, о которых идет речь, станут властителями в странах, где они живут, то они установят столь же простой порядок богослужения, сколь проста их вера, а религия, вследствие этого возникшая, окажется самой полезной для людей именно благодаря своей простоте. Очищенная от всего того, что люди принимают за добродетель, не имея ни суеверных обрядов, ни тонкостей вероучения, эта религия будет полностью соответствовать истинной цели, которой является исполнение наших обязанностей. В этой стране слова «правоверный», «благочестивый» не появятся в обиходе, однообразное произнесение неких звуков не сочтут набожностью, за нечестивцев сочтут только негодяев, а за верующих — только достойных людей.

Как только это установление религии появится, все будут обязаны подчиниться ему в силу закона, ибо оно основывается не на людской власти, ибо в нем нет ничего, кроме знаний, полученных от природы, ибо в нем не содержится догматов, не совместимых с благом общества, и, наконец, к нему не примешивается никакой догмат, бесполезный для морали, и никакое умозрительное построение.

Разве, с учетом сказанного, новообращенные станут нетерпимыми? Напротив, они будут терпимыми по убеждению, следуя принципу; они будут таковыми даже более, чем следуя какому-либо другому вероучению, поскольку они признают все благие религии, часто не признающие друг друга, то есть они признают все те, в которых содержится то существенное, чем эти религии пренебрегают, считая существенным то, что таковым вовсе не является. И, придерживаясь только этого существенного, они позволяют всем остальным религиям по своему усмотрению добавлять что-либо к нему, при условии что они не отвергают это существенное; последним предоставят возможность объяснить то, что они не могут объяс-

\* Этим именем их впервые назвали несколько лет спустя в Антиохии.

нить, и возможность решать то, что они не могут решить. Новообращенные оставят за каждой религией ее обряды, символы веры, верования; они скажут: признайте вместе с нами правила, на которых основаны обязанности человека и гражданина, а в остальном верьте во все, что вам нравится. Что касается религий, в сущности своей плохих и побуждающих человека творить зло, они их не потерпят ни в коем случае, ибо это противоречит истинной терпимости, имеющей в виду только покой человеческого рода. Истинно терпимый человек нетерпим к преступлению и не примирится с каким-либо догматом, способным сделать человека дурным.

Теперь, напротив, предположим, что наши новообращенные стали подвластными: как люди миролюбивые, они будут подчиняться законам, принятым их правителями, даже законам о религии, если только эта религия не окажется в своей сущности плохой; ибо тогда, не оскорбляя тех, кто ее исповедует, они откажутся ее исповедовать сами. Они скажут: «Поскольку Господь Бог нас призывает к служению, мы хотим стать добрыми слугами, а ваше мнение помещает нам быть таковыми; нам знакомы наши обязанности; мы с любовью к ним относимся, мы отвергаем то, что нас от них отвращает; и именно для того, чтобы быть правдивыми перед вами, мы не согласимся с несправедливым законом».

Но если религия страны хороша сама по себе и плохо в ней лишь то, что относится к отдельным толкованиям и чисто умозрительным догматам, новообращенные будут привержены сути и терпимы ко всему остальному, как в силу уважения к законам, так и из любви к миру. Когда их призовут отчетливо высказаться об их исповедании веры, они пойдут на это охотно, потому что им вовсе не нужно лгать; при необходимости они выскажут свое мнение твердо и мужественно; они будут защищать себя, опираясь на разум, если на них обрушатся с нападками. Относительно всего остального они не станут спорить со своими братьями; и, не желая упорствовать в том, чтобы их переубедить, они ради милосердия примут их сторону; они будут присутствовать на религиозных собраниях, согласятся с их символом веры, и, не считая себя более непогрешимыми, чем остальные, они подчинятся мнению большинства в том, что не затрагивает их совесть и не кажется им важным для спасения души.

Вот добро, скажете вы мне; давайте посмотрим, в чем заключается зло. О нем будет сказано в немногих словах. Господь Бог уже

не станет поводом для людской злобы. Религия более не будет служить орудием тирании церковнослужителей и мести самозванцев; она послужит лишь тому, чтобы делать верующих добрыми и справедливыми; но не на это рассчитывают те, кто их ведет за собой; для них это гораздо хуже, чем если бы от нее не было никакого проку.

Таким образом, учение, о котором идет речь, является благом для человеческого рода и злом для тех, кто его угнетает. К какому общему разряду его отнести? Я правдиво высказал свои «за» и «против»: сравнивайте и выбирайте.

Изучив все хорошенько, я думаю, вы согласитесь, во-первых, что эти люди, как я предполагаю, вели бы себя в этом случае в полном соответствии с исповеданием веры викария; а, во-вторых, что это поведение было бы не только безукоризненным, но и по-настоящему христианским, и было бы ошибкой отказывать этим добрым и набожным людям в имени христиан, поскольку они вполне заслужили его своим поведением, и что они в меньшей степени противопоставляли бы свои мнения мнениям многочисленных сект, которые являются их противниками и с которыми они не спорят, чем многие из этих самых сект, противостоящих друг другу. Это не были бы, если угодно, христиане, следующие примеру святого Павла, который был по своему характеру гонителем и сам не слышал Иисуса Христа, но это были бы христиане по подобию святого Иакова, выбранного лично учителем, получившего из Его собственных уст наставления, переданные затем нам. Это соображение очень простое, и оно мне кажется убедительным.

Вы, может быть, спросите меня, каким образом можно согласовать это учение с учением человека, который заявляет, что Евангелие бессмысленно и пагубно для общества; признаюсь честно, что согласовать это кажется мне делом трудным, и я спрошу вас, в свою очередь: где же вы видели человека, утверждающего, что Евангелие бессмысленно и пагубно? Ваши господа обвиняют меня в том, что я это сказал: а где? В «Общественном договоре», в главе о гражданской религии\*. Вот как! В той же самой книге и в той же самой главе, как мне представляется, я высказал прямо противоположное: я полагаю, что сказал, что Евангелие величественно и что оно создает самые прочные узы в обществе. Я не хочу уличить этих господ

\* Об общественном договоре. Кн. IV, Гл. 8.

во лжи, но признайтесь, что два столь противоположных высказывания в одной и той же книге и в той же самой главе выглядят весьма странно.

Нет ли здесь какой-нибудь новой двусмысленности, прикрываясь которой, меня выставят более виноватым или более безрассудным, чем я есть на самом деле? Это слово «общество» довольно расплывчато по смыслу: в мире есть много разного рода обществ, и невозможно, чтобы то, что идет на пользу одному, вредило бы другому. Давайте посмотрим: излюбленный образ действий моих недоброжелателей заключается в том, чтобы искусно высказывать неопределенные мысли; вместо всякого ответа, постараемся их прояснить.

Глава, о которой я говорю, предназначена, как это видно из названия, для исследования того, каким образом установления религии могут быть включены в государственное устройство. Таким образом, то, о чем идет речь, заключается вовсе не в рассмотрении религии в качестве истинных или ложных, или же благих или вредных, но в том, чтобы рассматривать их только в отношении к организациям государства и в виде части законодательства.

С этой целью автор показывает, что все древние религии, не исключая из их числа религию иудейскую, были национальными по своему происхождению, приспособленными к государству и включенными в его строй, образуя основу или, по крайней мере, являясь составной частью свода законодательства.

Христианство же, напротив, есть религия всеобщая по своей сути, в ней нет ничего исключительного, ничего местного, ничего, свойственного одной какой-нибудь стране в большей степени, чем другой<sup>7</sup>. Привлекая в равной степени всех людей в своим безграничным милосердием, ее божественный Создатель явился, чтобы уничтожить все преграды, разделяющие нации, и объединить весь людской род, сделав всех братьями: «Во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему»\*. Таков истинный смысл Евангелия.

Те, кто хотел превратить христианство в национальную религию и ввести ее в качестве составной части в свод законодательства, тем самым допустили две пагубные ошибки: одну во вред религии, другую — государству. Они отошли от духа вероучения Иисуса Хрис-

\* Деян 10: 35.

та, чье царство не от мира сего, и, примешивая земное к религии, осквернили ее небесную чистоту; они сделали из нее орудие в руках тиранов и гонителей людей. Не меньший вред они нанесли священным правилам политики, поскольку, вместо того чтобы упростить государственный механизм, они его усложнили, придали ему чужеродные, ненужные рычаги и, подчиняя его двум часто противоположным друг другу движущим силам, вызвали к жизни разногласия, которые ощущаются во всех христианских государствах, где религия включена в политическое устройство.

Совершенное христианство — всеобъемлющий общественный институт у всех народов; однако, чтобы показать, что оно никоим образом не является политическим установлением и не улучшает отдельные институты, надо было избавиться от софизмов тех, кто вмешивает религию во все, превращая ее в рукоять, хватаясь за которую, завладевает всем остальным. Все человеческие учреждения основаны на человеческих пристрастиях и сохраняются благодаря им; то, что борется с пристрастиями и уничтожает их, не способно укрепить эти учреждения. Каким образом то, что отдаляет сердца от земли, может вызвать в нас больше участия к тому, что на ней происходит? Каким образом то, что занимает нас лишь в мире горнем, может в еще большей мере привязать нас к миру земному?

Национальные религии полезны для государства как часть его устройства; это неоспоримо; но они вредны для человеческого рода и даже в каком-то смысле для государства; я показал, каким образом и почему.

Христианство же, напротив, внушая людям праведность, смирение, миролюбие, является весьма подходящим для человеческого общества; но оно ослабляет силу рычагов политики, оно усложняет движение механизма, оно нарушает единство морального организма, и так как оно не вполне соответствует его характеру, то оно либо вырождается, либо остается ненужной или обременительной частью этого организма.

Вот, следовательно, в чем заключаются пагуба и неудобства обеих религий для жизни политического организма. Тем не менее не существует государства без религии, и она важна в силу серьезных причин, на чем я всегда настаивал; но лучше бы совсем не иметь религии, чем иметь религию варварскую и подвергающую гонениям, которая, господствуя даже над законами, противоречила бы обязанностям гражданина. Можно было бы сказать, что все, что со мной

произошло в Женеве, случилось лишь ради того, чтобы на примере моей собственной истории доказать безусловную правильность моих рассуждений.

Что же должен делать мудрый законодатель в этом случае? Одно из двух. Первое: учредить чисто гражданскую религию, включающую в себя основные догматы любой хорошей религии, все догматы, истинно полезные для общества, как для общества всех людей, так и для отдельных обществ, из нее изъяли бы все прочие догматы, которые могут касаться веры, но никоим образом не касаются земного блага, единственного предмета законодательства<sup>8</sup>: ибо каким образом таинство Троицы, к примеру, сможет споспешествовать лучшему устройству государства? Каким образом его подданные станут лучшими гражданами, если им не ставить в заслугу добрые дела? И какое значение догмат первородного греха имеет для укрепления уз внутри гражданского общества? Хотя истинное христианство является общественным установлением, несущим мир, кто не согласится с тем, что христианство, рассуждающее о догматах, или богословское христианство, в силу их множества и неясности и особенно из-за обязанности принимать их на веру, всегда является скрытым полем битвы между людьми, и при этом именно в силу множества толкований и решений невозможно предотвратить споры относительно этих самых решений?

Другое средство заключается в том, чтобы оставить христианство таким, каково оно есть, в согласии с его истинным духом, то есть свободным, лишенным каких-либо плотских связей, без каких бы то ни было обязательств, кроме обязательств, налагаемых совестью, безо всяких догматических стеснений, сохранив только те догматы, что укрепляют нравы и законы. В силу чистоты исповедуемой морали, христианская религия всегда является благом и полезна для государства, лишь бы ее не превращали в часть государственного устройства, лишь бы она была там допущена только в качестве религии, суждения, мнения, вероисповедания; но в виде политического закона христианство, рассуждающее о догмах, — плохое общественное установление.

Таков, сударь, самый важный вывод, который можно сделать из этой главы, где, далекий от мысли обвинить пречистое Евангелие\* в пагубности для общества, я нахожу, что оно является чересчур

\* Обвинение в «Письмах из деревни»<sup>9</sup>.

проникнутым духом общежития, в некотором смысле чрезмерно охватывающим законодательством весь человеческий род, меж тем как законодательство должно быть особенным; я нахожу, что христианство в большей мере внушает человечность, чем патриотизм, и в большей степени стремится создать людей, чем граждан \*. Если я ошибся, то я заблуждался как политик; однако в чем же я допустил святотатство?

Знания о спасении и знания о правлении весьма различного рода; желание, чтобы первое обнимало собой все, есть фанатизм ничтожного ума: это означает размышлять подобно алхимикам, которые в искусстве делать золото видят также и всеобщую медицину, или подобно мусульманам, считающим, что все науки можно обнаружить в Коране. Вероучение Евангелия ставит только одну цель — призвание и спасение людей; их свобода, их благосостояние на этом свете не имеют к нему отношения; Иисус об этом тысячу раз говорил. Соединять с этим предметом земные устремления означает исказить возвышенную простоту, осквернить его святость человеческими желаниями: вот это-то и есть настоящее святотатство.

Эти различия существуют искони; их устранили лишь при рассмотрении моего произведения. Изъяв из национальных установлений христианскую религию, я превратил ее в наилучшую для человеческого рода. Автор «Духа законов» пошел дальше: он сказал, что мусульманская религия была лучшей для азиатских стран \*\*. Он рассуждал как политик, я тоже. В какой стране затевали ссору не с автором, а с его книгой? Почему же я виновен? Почему же Монтескье таковым не является?

Вот каким образом, сударь, приведя подлинные отрывки из произведения, беспристрастный критик доходит до понимания истин-

---

\* Какая чудесная картина — это разнообразие прекрасных мнений во множестве книг; для того чтобы их выразить, нужны лишь слова, но добродетели на бумаге почти что ничего и не стоят; дело в том, что они не вмещаются в сердце человека, и расстояние от картинок до действительности слишком велико. Патриотизм и человечность, к примеру, две различные по силе добродетели, в особенности у народа в целом. Законодатель, желающий укрепить и то, и другое, не достигнет этих двух целей: это согласие целей никогда и нигде не встречалось и никогда не встретится, потому что это противоречит природе и потому, что одна и та же страсть не может иметь два разных предмета.

\*\* Стоит заметить, что книга «О духе законов» была впервые напечатана в городе Женева, и ни один схоласт не обнаружил в ней ничего предосудительного, а корректором издания выступил один пастор<sup>10</sup>.

ных мнений, которые разделял автор при написании своей книги. Пусть же изучат мой замысел таким же способом: я совсем не боюсь тех суждений, что может вынести о моей книге любой порядочный человек. Но эти господа принимаются за дело совсем не так; они и не думали поступать иначе, ведь тогда они бы не нашли того, что искали. В погоне за тем, чтобы сделать меня виноватым любой ценой, они исказили истинный смысл произведения; их целью было обнаружение любой ошибки, любой небрежности, ускользнувшей от внимания автора; и если случайно он не заметил двусмысленную фразу, они не преминули истолковать ее в том смысле, который чужд автору. На большом поле с обильной жатвой они тщательно отбирают несколько сорняков, чтобы обвинить того, кто это поле засеял, в стремлении отравить.

Высказанные мною предположения, находясь на своем месте в книге, не могли причинить никакого вреда; они были истинными, полезными, искренними согласно смыслу, который я в них вложил. Все эти искажения, сокрытие правды, лукавые толкования моих гонителей превращают мои высказывания в предосудительные; необходимо сжечь их книги вместе со всем, что они написали, и наградить меня за написанное в моих книгах.

Сколько раз оклеветанные авторы и возмущенная публика протестовали против этого отвратительного способа не оставлять камня на камне от произведения, искажая при этом все его части, судить о нем по отрывкам, извлеченным там и сям по произволу вероломного обвинителя, который творит зло сам, отделяя его от того добра, исправляющего и объясняющего зло, и искажая повсюду истинный смысл! Пусть судят Лабрюйера или Ларошфуко по отдельным максимам, в добрый час; и вообще, справедливо было бы сравнивать и подсчитывать. Однако в книге, заключающей рассуждения, сколько различных смыслов может получить положение в зависимости от способа, каким автор его высказывает и старается наглядно выразить! И не существует ни одного положения из тех, что мне вменяют в вину, на которое предыдущая или последующая страница не давали бы разъяснений и которому я не придавал бы смысл, отличный от смысла, приписываемого моими обвинителями. Прежде чем вы прочтете до конца эти письма, вы увидите тому доказательства, и они вас удивят.

Но допустим даже, что существуют ложные, предосудительные сами по себе высказывания; достаточный ли это повод объявить всю

книгу пагубной? Хорошая книга — это не та, что не содержит ничего плохого или ничего такого, что можно истолковать в дурном смысле; в этом случае вообще не существовало бы хороших книг; но хорошая книга — это та, которая содержит больше хороших вещей, нежели плохих; хорошая книга — это та, которая в конечном итоге направляет читателя к добру, несмотря на зло, возможно, в ней содержащееся. Бог мой! И что же получится, если, читая большое произведение, полное полезных истин, уроков человечности, набожности, добродетели, позволительно пуститься с пронирыливой въедливостью на поиски всех заблуждений, всех двусмысленных, подозрительных или опрометчивых положений, всех непоследовательных выводов, которые в мелочах могут ускользнуть от внимания автора, чрезмерно занятого предметом своих размышлений и мыслями, внушенными ему этим предметом, отвлекаясь то на одни, то на другие мысли, и едва способного соединить в своей голове все части своего обширного замысла? Да позволено ли собрать в кучу все его ошибки, усугубить одни ошибки при помощи других, сближая то, что кажется разрозненным, связывая то, что кажется несоединимым, а затем умалчивая о множестве хороших и похвальных вещей, которые их опровергают, объясняют, искупают и указывают истинную цель, преследуемую автором; выдать этот ужасный сборник за сборник, включающий в себя те начала, что он разделяет, утверждать, что именно в этом заключается краткое изложение его подлинных мнений, и судить его на основании подобных выдержек? В какую пустыню надо бежать, в каком логове спрятаться, чтобы ускользнуть от преследований подобных людей, что под видом наказания за зло наказывают за добро, ни во что не ставят сердце, намерения, очевидную повсюду прямоту и принимают самую невинную и самую невольную ошибку за преступление, совершенное негодяем? Есть ли в мире хоть одна книга, какой бы правдивой, какой бы доброй, какой бы великолепной она ни была, не поддающаяся этому отвратительному и пристрастному перетолкованию? Нет такой книги, сударь, ни одной; таковой не является даже Евангелие: ибо, если бы там не было зла, они смогли бы его там найти, приведя неточные выдержки и ложно их истолковав.

«Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет» (Мф 13: 12); «Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а у неимеющего отнимется и то, что имеет» (Лк 19: 26); «Он же сказал в ответ говорившему: кто ма-

терь Моя? И кто братья Мои?» (Мф 12: 48); «И отвечал им: кто мать Моя и братья Мои?» (Мк 3: 33); «И говорит им: пойдите в селение, которое прямо перед вами; входя в него, тотчас найдете привязанного молодого осла, на которого никто из людей не садился; отвязав его, приведите» (Мк 11: 2); «сказав: пойдите в противлежащее селение; войдя в него, найдете молодого осла привязанного, на которого никто из людей никогда не садился; отвязав его, приведите» (Лк 19: 30); «Так что они своими глазами смотрят, и не видят; своими ушами слышат, и не понимают, да не обратятся, и прощены будут им грехи» (Мк 4: 12); «Народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видят глазами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил их» (Ин 12: 40); «Если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены и детей, и братьев и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником» (Лк 14: 26); «Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч» (Мф 10: 34); «Думаете ли вы, что Я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение; ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться, трое против двух, и двое против трех» (Лк 12: 51–52); «Ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее» (Мф 10: 35); «Отец будет против сына, и сын против отца; мать против дочери, и дочь против матери; свекровь против невестки своей, и невестка против свекрови своей» (Лк 12: 53); «И враги человеку — домашние его» (Мф 10: 36); «Фарисеи, увидев это, сказали Ему: вот, ученики Твои делают, чего не должно делать в субботу» (Мф 12: 2 и далее); «Господин сказал рабу: пойдй по дорогам и изгородям и убеди придти, чтобы наполнился дом мой» (Лк 14: 23); «От дней же Иоанна Крестителя донныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его» (Мф 11: 12).

Вообразите себе проклятую душу, изучающую таким образом Евангелие, творящую посредством этого клеветнического изыскания приводящее в ужас сочинение под названием «Евангельское исповедание веры», а также вообразите себе набожных фарисеев, с победоносным видом восхваляющих это сочинение и выдающих его за краткое изложение заповедей Иисуса Христа. Вот к чему может привести этот бесчестный способ. Любой, кто сначала прочтет мои книги, а затем прочтет обвинения тех, кто меня обвиняет, су-

дит, выносит приговор, преследует, увидит, что именно так все они со мной обошлись.

Полагаю, я доказал, что эти господа судили меня, отнюдь не руководствуясь разумом; мне следует теперь доказать, что они судили меня не по закону. Но дайте мне передышку хоть на миг. Какой печальный опыт приходится мне пережить в моем-то возрасте! Неужели так запоздало мне следует учиться составлять свое оправдание? Да и стоит ли труда этому учиться?

## Письмо II

В своем предыдущем письме я предположил, сударь, что я в самом деле допустил заблуждения, касающиеся веры, заблуждения, в которых меня обвиняют, и показал, что эти заблуждения не заслуживают наказания с точки зрения человеческого правосудия, поскольку они не причиняют вреда обществу. Господь Бог оставил за собой прощение и наказание за ошибки, являющиеся прегрешениями перед Ним. Это кощунство со стороны людей — ставить себя на место творящих возмездие за божество, как будто их помощь ему необходима. Магистраты и короли не обладают никакой властью над душами; достаточно, если люди верны законам общества в этом мире, но ни магистратам, ни королям не подобает вникать в то, кем человек станет в будущей жизни; это то, над чем они не имеют права надзирать. Если упустить из вида это начало, то законы, созданные для счастья рода человеческого, скоро станут невыносимыми; и, опираясь на них, станут вести ужасающее дознание, а люди, которых судят за их веру в большей степени, чем за их дела, все вместе окажутся во власти тех, кто пожелает их притеснять.

Если законы не имеют никакой власти над мнениями людей в том, что относится лишь к религии, то они тем более не имеют власти судить сочинения в той их части, в которой высказаны эти мнения. И если авторы этих сочинений и заслуживают наказания, то уж точно не за то, что они учили ошибаться, поскольку закон и его служители не судят за то, что является лишь заблуждением. Автор «Писем из деревни», кажется, соглашается с этим началом\*. Быть

---

\* «В этом отношении, — пишет он на странице 22, — я обнаруживаю правила, сходные с правилами авторов Представлений»; и на странице 29 он считает «бесспорным то, что никого нельзя подвергнуть преследованиям за мысли о религии».

может, соглашаясь с тем, что «политика и философия могут отстаивать свободу писать все, что захочется», он впадает в преувеличение. Но это не есть предмет моего исследования здесь.

Но вот каким образом он и ваши господа переиначили это начало, чтобы признать правомерным судебное решение против моих книг и меня самого. Они меня судят в большей степени как гражданина, чем как христианина; они считают меня в большей мере мятежником против законов, чем нечестивцем перед Богом; они видят во мне скорее преступника, чем грешника, и скорее непокорного, чем еретика. По их мнению, я обрушивался на религию государства и, таким образом, заслужил наказание, предусмотренное законом против тех, кто обрушивается на нее. Вот, как я полагаю, тот смысл, который можно уяснить из сказанного ими в оправдание своих поступков.

Я обнаруживаю здесь три небольших затруднения: первое заключается в том, чтобы узнать, что такое «религия государства»; второе — показать, каким образом я на нее нападаю; третье — обнаружить тот закон, согласно которому меня осудили.

Что же такое «религия государства»? Это — святая евангелическая реформация. Вот, вне всякого сомнения, громкие слова. Но чем является сегодня в Женеве эта святая евангелическая реформация? Сударь, вы случайно не знаете? Если знаете, то примите мои поздравления: что до меня, то мне это неизвестно. Прежде я полагал, что знаю это; но я ошибался так же, как и многие другие, более сведущие, чем я, во всех прочих вопросах и немало сведущие в этом.

Когда протестанты отделились от Римской церкви, они обвинили ее в заблуждении; и, чтобы исправить это заблуждение по сути, они придали Писанию иной смысл, чем тот, который придавала ему Церковь. Их спросили: по какому праву они отошли от общепринятого вероучения? Они ответили, что по их собственному праву, по праву разума. Они ответили: поскольку смысл Библии понятен и ясен всем людям в том, что касается спасения, то каждый вправе судить о вероучении и каждый может по своему собственному наитию толковать Библию, устанавливая свои правила; что, таким образом, все пришли бы к согласию по важнейшим вопросам и что вопросы, по которым не смогли бы прийти к согласию, не имели бы значения.

И вот каким образом собственное наитие утвердилось в качестве единственного толкования Писания; вот каким образом был

отвергнут авторитет церкви в этом вопросе; вот каким образом каждый оказался сам себе судьей в вопросах вероучения. Таковы основополагающие требования реформы: признать Библию в качестве правила собственного вероисповедания и не допускать иного толкования смысла Библии, кроме своего собственного. Вместе взятые, эти два требования составляют начало, руководствуясь которым, протестанты откололись от Римской церкви, и невозможно было поступить иначе, не вступая в противоречие с собой, ибо какое иное право толкования могли бы они оставить за собой, после того как отвергли право, принадлежавшее церкви в целом?

Однако меня спросят: каким образом, руководствуясь этим началом, протестанты смогли объединиться? Каким образом, желая, чтобы каждый мыслил по-своему, они объединились против католической Церкви? Они должны были так поступить: они сошлись в том, что все признали каждого правомочным судьей самому себе. Они стали терпимыми, и должны были стать терпимыми в отношении любых толкований, кроме одного, а именно: того, которое лишает свободы толковать. Однако это единственное толкование, отвергнутое ими, было толкованием католиков. Таким образом, им следовало бы с общего согласия объявить вне закона только Рим, который их всех, в свою очередь, объявил вне закона. Само различие образа мысли относительно всего второстепенного оказалось тем, что их связывало. То были всего лишь небольшие государства, образовавшие союз против великой державы, и их содружество не лишало ни в коей мере независимости каждое из них.

Вот каким образом утвердилась евангелическая реформация, и вот каким образом она смогла себя сохранить. Конечно, вероучение большинства может быть предложено всем в качестве наиболее вероятного или наиболее влиятельного; суверен может даже выразить его в символе веры и вменить его тем, на кого возложена обязанность в нем наставлять, потому что в народном образовании необходимы некоторый порядок и некоторые правила; в сущности, все это не ущемляет свободу личности, поскольку никого не наставляют принудительно, вопреки его воле: но, однако, отсюда не следует, что частные лица обязаны соглашаться именно с теми толкованиями, которые им предлагаются, и именно с тем вероучением, в котором его наставляют. Каждый остается при этом единственным судьей самому себе и в силу этого не признает иного авторитета, кроме своего собственного. Добрые наставления должны в мень-

шей степени определять выбор, который нам следует сделать, но предлагать нам его. Таков истинный дух протестантизма, такова его истинная основа. Здесь принимает решение разум частного лица, а вера вытекает из общего правила, которое этот разум устанавливает, то есть из правила евангельского. Разуму до такой степени присуща свобода, что от его желаний не зависит, подчинить себя чьему-либо влиянию или нет. Совершите малейшее покушение на это начало, и протестантство тотчас рухнет. Пусть мне сегодня докажут, что в вопросах веры я обязан подчиняться чьим бы то ни было решениям, — с завтрашнего дня я сделаюсь католиком, и любой последовательно мыслящий и правдивый человек поступит так же, как я.

Но свободное толкование Писания подразумевает не только право объяснять отрывки из него, право каждого объяснять его в соответствии со своими мыслями, но и право на сомнения относительно тех отрывков, которые он считает сомнительными, а также право не понимать те отрывки, которые непонятны. Вот право каждого верующего, право, к которому ни пастор, ни магистрат не имеют никакого отношения. Лишь бы люди уважали Библию в целом, соглашались с ее основными заповедями и жили согласно евангельскому учению. Клятва жителей Женевы не содержит ничего, кроме этого.

Однако я уже вижу, как ваши ученые пасторы торжествуют победу, утверждая эти основные положения, и полагают, что я от них отхожу. Тише, господа, помилосердствуйте: речь идет еще не обо мне, но о вас. Разберемся сначала, каковы, по-вашему, эти общие понятия; разберемся, какое право вы имеете заставлять меня видеть их там, где я их вовсе не усматриваю и где, может быть, вы их сами не видите. Не забудьте, пожалуйста, что выдавать ваши решения за законы означает, что вы сами отступаете от святой протестантской реформации, это означает, что вы стремитесь поколебать ее истинные устои; означает, что по закону именно вы заслуживаете наказания.

Станем ли мы рассматривать политическое положение в вашей республике тогда, когда реформаторство было учреждено, или мы примем во внимание положения ваших старых эдиктов в отношении религии, которую они предписывают, — мы увидим, что реформаторство повсеместно противостояло Римской церкви и что законы имели в виду одну цель: отречение от ее начал и богослужения, во всех отношениях пагубных для свободы.

В этом особом положении государство существовало, так сказать, только в силу раскола двух Церквей, и республика была бы уничтожена, если бы папство одержало верх. Так, закон, закрепляющий протестантское богослужение, считал это только упразднением римского богослужения. Именно об этом свидетельствуют нападки на католическое богослужение, порой даже неприличные, которые мы встречаем в ваших первых Ордонансах и от которых благоразумно впоследствии отказались, когда опасность с его стороны перестала существовать; именно об этом свидетельствует клятва консистории, где говорится исключительно о том, чтобы воспрепятствовать «любому идолопоклонничеству, богохульству, развращению нравов и иным вещам, посягающим на честь Господа и на реформирование Евангелия». Таковы положения Ордонанса, принятого в 1562 году. При пересмотре того же Ордонанса в 1576 году в начале клятвы введена обязанность «следить за любыми соблазнами»\*. Это свидетельствует о том, что первая редакция клятвы имела в виду лишь одну цель: отделиться от Римской церкви. Впоследствии позаботились и о внутреннем распорядке; это вполне естественно, когда учреждение начинает обретать прочность; но, наконец, ни в наставлениях 1562 года, ни в наставлениях 1576 года, ни в текстах клятвы судей, горожан, чиновников речь не идет ни о заблуждении, ни о ереси. Цель реформации или законов заключалась далеко не в обсуждении этих вопросов, ибо затрагивать их означало бы противоречить его началам. Таким образом, под словом «реформация» ваши эдикты подразумевали лишь те пункты, по которым существовали разногласия с Римской церковью.

Мне известно, что ваша история и история реформы в целом полна свидетельств о чрезвычайно суровых преследованиях и что гонимые протестанты вскоре превратились в гонителей; однако это противоречие, столь поразительное во всей истории христианства, доказывает лишь одну вещь в вашей истории: непоследовательность людей и господство страстей над разумом. Благодаря спорам с католическим клиром протестантский клир проникся духом мелочных дрязг. Он желал все решать, все привести в порядок, высказываться обо всем; каждый скромно предлагал свое суждение в качестве высшего закона для всех остальных; но не этим способом достигается мир. Без сомнения, Кальвин был великим человеком, но он был че-

\* Церковные Ордонансы. Гл. 3. Ст. 75.

ловеком и, что еще хуже, богословом: он обладал гордостью гения, ощущающего свое превосходство, и возмущался, когда с ним спорили. Большинство его соратников поступали так же; и в этом они оказались столь же виноваты, сколь непоследовательны в своем поведении.

Какой же повод для нападков они этим самым дали католикам! И не правда ли, какая жалость видеть в запретах этих ученых мужей, этих просветленных умов, которые столь блестяще размышляли в любой иной сфере, как они несли вздор по этому вопросу? Эти противоречия, однако, не доказывают ничего иного, кроме того, что они в большей мере шли на поводу у пристрастий, чем следовали началам протестантизма. Строгая приверженность вере у этих мужей оказалась сама по себе ересью. Таков был дух протестантов, но не дух протестантизма.

Протестантская религия изначально отличалась терпимостью, она в высшей степени терпима и является таковой настолько, насколько возможно, поскольку единственная догма, ею отвергаемая, была нетерпимость. Вот непреодолимая преграда, которая отделяет нас от католиков и позволяет объединить другие вероисповедания между собой; каждое вероисповедание считает остальные пребывающими в заблуждении; но ни одно из них не рассматривает, или не должно рассматривать, это заблуждение в качестве препятствия на пути к спасению\*.

Современные протестанты, по крайней мере священнослужители, не знают или больше не любят свою религию. Если бы они знали и любили ее, то публикация моей книги вызвала бы крик общей радости, они все сразу же присоединились бы ко мне, к тому, кто напал лишь на их противников; однако они предпочитают скорее сложить оружие, чем выступить в мою защиту; их тон, до смешного высокомерный, самозабвенное крючкотворство и нетерпимость не позволяют им вникнуть ни в то, во что они верят, ни в то, чего они хотят, ни то, что они утверждают. Я считаю их всего лишь дурными лакеями священников, которые служат последним не столько из

---

\* Из всех христианских конфессий лютеранство кажется мне наиболее непоследовательным. Оно, словно ради забавы, навлекло на себя все возражения, которые эти конфессии высказывают друг другу. Оно чрезвычайно нетерпимо, так же как и Римская церковь; однако лютеранству не хватает одного серьезного довода, который приводит Римская церковь: оно нетерпимо и само не знает почему.

любви к ним, сколько из ненависти ко мне \*. Когда же, наконец, они устанут спорить, драться, придирааться к мелочам, высказывать суждения, в самый разгар их маленького торжества римское духовенство, которое теперь посмеивается и не чинит им помех, явится изгнать их, вооружившись бесспорными доводами *ad hominem*, и, одержав над ними победу их же собственным оружием, оно им скажет: «Все в порядке, но теперь валите отсюда, злобные самозванцы; вы славно потрудились для нас». Но возвращаюсь к моей теме.

Итак, церковь Женевы не обладает и не должна обладать, будучи протестантской церковью, никаким точным и связным изложением исповедания веры, общим для всех ее членов. Если бы кто-нибудь пожелал его иметь, то тем самым уже покусился бы на евангельскую свободу, отказался бы от начал протестантизма, нарушил бы закон государства. Все протестантские церкви, создавшие свои символы веры, все собрания духовенства, определившие догматы вероучения, имели в виду предписать пасторам то вероучение, в котором следует наставлять, и это было правильно и приемлемо. Однако если бы эти Церкви и эти собрания вознамерились добиться большего с помощью символов веры и предписать верующим то, во что они должны верить, то тогда этими решениями они доказали бы не что иное, как незнакомство с собственной религией.

Долгое время казалось, что церковь Женевы менее других отступила от истинного духа христианства; именно из-за этой обманчивой видимости я удостоил пасторов похвалами, которые я считал заслуженными, ибо в мои намерения не входило обманывать публику. Но кто же теперь не видит, как эти служители, прежде столь покладистые, а ныне вдруг ставшие столь суровыми, придираются по пустякам к правоверности светского человека, при том что их правоверие остается столь неприлично сомнительным? Их спрашивают, является ли Иисус Христос Богом, и они не смеют ответить; их спрашивают, какие таинства они признают, и они не смеют ответить. На чем же будет основан их ответ? На основании каких догматов, отличных от моих, они хотят, чтобы решался этот вопрос, если догматы, которые я разделяю, не включены в их символ веры?

---

\* Я считаю излишним говорить здесь, что я не считаю в их числе моего пастора и тех, кто по этому поводу думает так же, как и я. Написав это примечание, я понял, что ни для кого не следует делать исключений; но я, как и обещал, сохраняю это примечание, поучительное для каждого порядочного человека, которому придет в голову хвалить духовенство.

Философ<sup>11</sup> бросает на них быстрый взгляд: он видит их насквозь и называет арианами и социнианами<sup>12</sup>: он высказывает это, полагая, что оказал им честь; но он не понимает, что ставит под угрозу их мирские выгоды — единственную вещь, которая, как правило, определяет характер веры людей на земле.

И тотчас, встревоженные, напуганные, они собираются, обсуждают, суетятся, не знают, какому святому молиться, и затем, после многих обсуждений\*, споров, совещаний, все заканчивается галиматеей, в которой не сказано ни «да», ни «нет» и в которой столь же мало можно что-либо понять, как и в двух судебных речах Рабле\*\*. Разве их правоверное вероучение понятно и разве оно при этом в надежных руках?

А между тем только потому, что один из них, собирая в кучу схоластические шутки, столь же благодушные, сколь и элегантные, чтобы осудить мое христианство, не боится при этом отречься от собственного, очарованные познаниями своего собрата и особенно его логикой, священники одобряют его ученое сочинение и посылают представителей поблагодарить его за него<sup>14</sup>. По правде сказать, до чего же странные люди эти ваши священники: неизвестно ни то, во что они верят, ни то, во что они не верят; неизвестно даже то, во что они делают вид, будто верят; их единственный способ укрепить свою веру — нападать на чужую; они поступают подобно иезуитам, которые, как говорят, принуждали всех подписаться под буллой «Единородный Сын»<sup>15</sup>, а сами не подписывались. Вместо того чтобы объяснить по вопросам вероучения, которое им вменяют в вину, они думают сбить с толку прочие Церкви, пытаясь поссориться со своим собственным защитником; своей неблагодарностью они хотят доказать, что они не нуждаются в моих заботах, и думают, будто выглядят достаточно правоверными, когда ведут себя как гордители.

Исходя из всего этого, я делаю вывод, что нелегко сказать, в чем заключается святая Реформация в Женеве сегодня. Все, что можно с уверенностью утверждать относительно этого, так это что она,

\* «Когда мы решили вопрос о том, во что мы верим, — говорил по этому поводу один журналист, — то вскоре можно составить исповедание веры»<sup>13</sup>.

\*\* Наверное, обнаружили бы немногие затруднения в том, чтобы выразиться более ясно, и при этом было бы не обязательно отказываться от своих слов, сказанных по поводу некоторых вопросов.

по-видимому, состоит в опровержении тех пунктов, по которым первые реформаторы, и в особенности Кальвин, вели спор с Римской церковью. В этом последнем заключается дух ваших установлений; благодаря этому вы являетесь свободным народом, и только в этой своей части религия становится частью закона государства.

От первого вопроса я перехожу ко второму и говорю: в книге с большой силой утверждается истина, польза, необходимость религии в целом; ее автор безоговорочно \* предпочитает христианскую религию всякому другому богослужению и евангелическую Реформацию всякой другой конфессии; как же может быть так, что та же самая Реформация подвергается в ней нападкам? Это трудно понять. Однако давайте посмотрим далее.

Прежде я в общем доказал и далее приведу еще больше подробных доказательств того, что неверно утверждать, будто бы я напал в моей книге на христианство. Все же, когда общие начала не подвергаются нападкам, то подвергнуть нападкам какую-либо секту в частности можно лишь двумя способами, а именно: косвенно, разделяя догматы, которым привержены ее противники, или прямо, нападая на нее.

И каким же образом я якобы разделял догматы католиков, если это, напротив, суть единственные догматы, на которые я напал, и именно эти нападки восстановили против меня католическую партию, ведь не будь ее, протестантам нечего было бы возразить? Вот это, я признаю, одна из наиболее странных и неслыханных вещей, но тем не менее это правда. Я являюсь исповедником протестантской веры в Париже, и именно поэтому я им являюсь еще и в Женеве.

И каким же образом я якобы напал на догматы, разделяемые протестантами, если это, напротив, именно те догматы, которые я разделял с наибольшим убеждением, поскольку не переставал настаивать на главенстве разума в вопросах веры, на свободном толковании писаний, на протестантской веротерпимости и на подчинении законам даже в вопросах богослужения; протестантская Церковь не только не могла бы прочно утвердиться без всех отличительных и основных догматов, но даже и существовать.

Более того, посмотрите, какую силу придает доводам протестантов сам жанр моего произведения. Это ведь католический священ-

---

\* Я умоляю всякого справедливого читателя перечитать и оценить в «Эмиле» то, что непосредственно следует за исповеданием викария, где я снова беру слово.

ник говорит, и этот священник не безбожник, не вольнодумец; это человек верующий и набожный, исполненный чистосердечия, порядочности и, несмотря на трудности, возражения, сомнения, питающий в глубине своего сердца истинное уважение к религии, которую он исповедует; это человек, который в самых задушевных излияниях чувств объявляет, что, будучи призван этой религией к служению Церкви, он со всей возможной точностью старательно выполняет то, что ему предписано; что если бы он пренебрег по своему желанию хотя бы мелочью, совесть его упрекнула бы за это; что в вопросе о таинствах, смущающем разум, он в момент освящения предается духовному созерцанию, чтобы совершить его в том состоянии духа, которого требует Церковь и величие помазания; что он произносит с уважением слова причастия; что он произносит их со всей верой, насколько это от него зависит, и как бы ни было непостижимо это таинство, он не боится, что в день Страшного Суда он будет наказан, осквернив их в своем сердце.

Вот как думает и говорит этот достопочтенный человек, по-настоящему добрый, мудрый, истинный христианин и самый искренний католик из всех, что когда-либо существовали.

А между тем послушайте, что говорит этот добродетельный пастор, обращаясь к юному протестанту, ставшему католиком, и вот его совет: «Возвращайтесь на родину, вновь примите веру ваших отцов, разделяйте ее со всей искренностью и не оставляйте ее больше никогда: она очень проста и свята; из всех религий на земле я считаю ее религией, мораль которой является самой чистой, религией, более всего удовлетворяющей требованиям разума».

И чуть позже он добавляет: «Когда вы захотите прислушаться к голосу вашей совести, тысячи ничтожных препятствий заставят замолчать ее. При всей свойственной нам неуверенности вы почувствуете, что исповедовать иную религию, нежели ту, в которой был рожден, есть непростительное высокомерие, и не соблюдать чисто-сердечно обрядов той, что исповедуешь, есть лицемерие. Если мы впадаем в заблуждение, то мы лишаем себя величайшего прощения перед судом Всевышнего Судии. Но не простит ли Он скорее заблуждение, усвоенное нами с рождения, нежели то, которое мы смеем разделять осознанно?»

Несколькими страницами раньше он сказал: «Если бы по соседству или в моем приходе жили протестанты, я никоим образом не отличал бы их от моих прихожан в том, что касается христианского

милосердия; я призывал бы их всех в в равной мере любить друг друга и к тому, чтобы они считали друг друга братьями, уважали все религии и жили бы в мире, каждый сообразно своей собственной религии. Я думаю, что просить кого-либо отказаться от своей религии — все равно что убеждать поступить дурно и, как следствие, поступать дурно самому. В ожидании величайшего просветления давайте сохранять общественный порядок, давайте соблюдать законы в любой стране и давайте не будем нарушать предписанный ими порядок богослужения; давайте не будем призывать граждан к непослушанию, ибо мы совсем не знаем наверняка, будет ли им во благо поменять свои убеждения на другие, но мы знаем очень точно, что не повиноваться законам есть зло».

Вот, сударь, как говорит католический пастор в сочинении, где, как меня в том обвиняют, я нападаю на протестантское богослужение и в котором сказано лишь то, что сказано. В чем меня можно было бы упрекнуть, так это в чрезмерном пристрастии к протестантам, в недостатке правдоподобия, когда я заставляю говорить католического священника так, как католический священник никогда бы не сказал. Таким образом, я во всем сделал прямо противоположное тому, в чем меня обвиняют. Можно было бы сказать, что ваши судьи повели себя, словно будто держали пари: если бы они заключили пари в споре против очевидного, то вряд ли нашли бы лучший способ победить в нем.

Однако эта книга содержит возражения, трудности, сомнения! А почему бы и нет? В чем же заключается преступление одного протестанта, если он излагает свои сомнения в том, что он находит сомнительным, и свои возражения по поводу того, что, как он считает, способно вызвать возражения? Если то, что вам кажется ясным, мне кажется неясным, если то, что вы полагаете доказанным, мне таковым совсем не кажется, по какому праву вы хотите подчинить мой разум вашему и возвести ваши убеждения в закон, подобно тому как если бы вы претендовали на непогрешимость Папы? Не правда ли, забавно, что вы рассуждаете, как католики, чтобы иметь право обвинить меня в том, что я нападаю на протестантов?

Но эти возражения и эти сомнения касаются основных вопросов веры; под видом этих сомнений было собрано все то, что может привести к подрыву, расшатыванию и уничтожению основ христианской религии! Вот что меняет дело, и если это правда, то я мог бы оказаться виноватым; но это ложь, и ложь беззастенчивая, тех лю-

дей, которые не знают сами, в чем заключаются главные основы их христианства. Что касается меня, то мне очень хорошо известно, в чем они заключаются, и я об этом говорил, поскольку все изложение исповедания веры Жюли последовательно в этом отношении; во всей первой части изложение исповедания веры викария также последовательно; в половине второй части оно тоже последовательно; и часть главы о гражданской религии последовательна; «Письмо к архиепископу Парижа» носит последовательный характер. Вот, господа основы моего символа веры. Давайте же бросим взгляд на основы вашего символа веры.

Ну и ловки же эти господа! Они использовали небывалый, но и удобный для гонителей способ вести спор. Они искусно оставляют в стороне все неопределенные и неясные основы вероучения, но, коль скоро автор имеет несчастье им не нравиться; они докапываются в его книгах до того, чтобы выяснить, какими, по всей вероятности, являются его воззрения. Когда они полагают, что обнаружили их, то они хватаются за противоположные и превращают их в символы веры; затем они поднимают крик о безбожии, о богохульстве, потому что автор с самого начала в своих книгах не соглашался с так называемыми символами веры, которые они вывели впоследствии, чтобы ему досадить.

Каким же образом отследить все то множество пунктов, по которым они на меня нападают? Возможно ли собрать все их пасквили? Как возможно их прочитать? Кто сможет отобрать все эти лохмотья, все эти отрепья у старьевщиков Женевы или на навозной куче «Нефшательского Меркурия»<sup>16</sup>? Я теряюсь, я увяз в стольких глупостях. Давайте возьмем в качестве примера лишь один символ веры, самый горделиво заявленный, тот, ради которого их любители читать наставления \* объединились и вокруг чего они больше всего поднимали шум: чудеса:

Я приступаю к долгому исследованию. Умоляю, простите мне его скучный характер. Я хочу обсудить этот столь ужасный вопрос только для того, чтобы избавить вас от рассмотрения тех пунктов, на которых они настаивали в меньшей степени.

---

\* Я совсем не использовал бы это выражение, которое я считаю слишком пренебрежительным, если бы полицейский чин Совета города Женева, который его употребил в письме к кардиналу де Флери, не дал мне понять, что моя щепетильность безосновательна.

Они утверждают: «Жан-Жак Руссо не является христианином, хотя и выдает себя за такового, ибо мы, которые, конечно же, являемся христианами, думаем не так, как он. Жан-Жак совсем не верит в Откровение, хотя и утверждает, будто верит в него: вот тому доказательство.

Бог не являет свою волю всем людям; он непосредственно обращается к ним через своих посланников, и эти посланники являют чудеса в качестве доказательства их поручения: таким образом, тот, кто отрицает чудеса, отрицает посланников Божьих; и кто отрицает существование посланников Божьих, отрицает Откровение: Жан-Жак Руссо отрицает чудеса».

Для начала не будем оспаривать ни этого начала, ни этого свидетельства: мы к этому потом вернемся. Если полагать таким образом, предыдущее рассуждение имеет лишь один недостаток — оно обращается против тех, кто его приводит: этот довод очень хорош для католиков, но очень плох для протестантов. Теперь моя очередь это доказать.

Вы найдете, что я часто повторяюсь; но не все ли равно? Поскольку одна и та же посылка мне необходима для разных выводов, должен ли я избегать пользоваться ею повторно? Это притворное ребячество. Речь идет не о разнообразии, но об истинности справедливых и убедительных выводов. Не обращайте внимания на все остальное и имейте в виду только это.

Когда только начали раздаваться голоса первых протестантов, в единой Церкви царил мир; все мнения были единодушны; не было такого основополагающего догмата, о котором христиане спорили бы.

Вдруг в этой спокойной обстановке два или три человека подняли свой голос и закричали на всю Европу: «Христиане, будьте осторожны, вас обманывают, вас сбивают с пути и ведут прямой дорогой в ад: папа — это антихрист, приспешник Сатаны; его Церковь — школа лжи. Вы пропали, если не захотите к нам прислушиваться».

При этих первых криках удивленная Европа несколько мгновений оставалась безмолвной в ожидании того, что произойдет дальше. Наконец, духовенство первым оправилось от изумления и, видя, что эти новоявленные пророки стали раскольниками, как это часто случается с людьми, рассуждающими о догматах, поняло, что необходимо было с ними объясниться. Для начала оно спросило у них, на кого они с такой яростью ополчились. Те с гордостью ответили,

что они являются апостолами истины, призванными преобразовать Церковь и увести верующих с пагубного пути, по которому их вели священнослужители.

«Но, — ответили им, — кто возложил на вас столь прекрасное призвание потревожить мир в Церкви и покой в обществе?» «Наша совесть, — сказали те, — разум, просветление, голос Божий, противиться которому есть преступление; именно он нас призвал к этому святому служению, и мы следуем нашему призванию».

«Так вы посланники Божьи? — снова спросили католики. — В этом случае мы согласны с тем, что вы должны проповедовать, преобразовывать, просвещать, и мы должны вас выслушать. Но, чтобы получить это право, для начала покажите нам ваши верительные грамоты: пророчествуйте, излечивайте, просвещайте, делайте чудеса, явите доказательства вашего призвания».

Ответ реформаторов хорош и стоит того, чтобы его привести.

«Да, мы посланники Божьи; но наше призвание не совсем обычное: оно есть внушение чистой совести, озарение здравого рассудка. Мы не пришли к вам с новым Откровением, мы ограничиваемся тем, которое вам было дано и которому вы более не внимаете. Мы пришли к вам не с чудесами, которые могут оказаться ложными и уже засвидетельствовали столько ложных вероучений, но со знаменами истины и разума, неспособными ввести в заблуждение, с этой святой книгой, которую вы искажаете, но мы вам ее разъясним. Наши чудеса — это неопровержимые доводы, наши пророчества — это доказательства; мы вам предсказываем, что если вы не будете прислушиваться к голосу Христа, который говорит с вами нашими устами, вас накажут как нерадивых слуг, когда они не хотят исполнять объявленную им волю хозяина».

Было бы противно природе вещей, если бы католики согласились с очевидностью этого нового вероучения, и именно это большинство из них остерегалось сделать. Однако так как спор, сводившийся к этому вопросу, стал нескончаемым, потому что каждому хотелось выиграть его; протестанты утверждали, что их толкования и их доказательства были столь ясными, что несогласие с ними — проявление недобросовестности; но католики, со своей стороны, сочли, что незначительные доводы частных лиц, которые даже не являлись бесспорными, не могут одержать верх над авторитетом всей Церкви, во все времена решавшей спорные вопросы иначе, чем они.

Вот в каком положении оставалась распря. Не переставали спорить о силе доказательств; эти распри никогда не закончатся, поскольку у людей разные мнения.

Но католики речь вели не об этом. Они бы запутались, и если бы они не находили удовольствия в том, чтобы придирааться к доказательствам своих противников, они оспорили бы их право доказывать и, как мне кажется, поставили бы их в затруднительное положение.

«Во-первых, — сказали бы они им, — избранный вами способ рассуждения — не более чем логическая ошибка, ибо если сила ваших доказательств является знаменем вашего призвания, то, следовательно, для тех, кого они не убеждают, ваше призвание — обман, и, таким образом, мы можем на законном основании наказать вас как еретиков, как лжеапостолов, как возмутителей спокойствия Церкви и рода человеческого.

Вы не проповедуете, скажете вы, новых вероучений. Так что же вы делаете, проповедуя новые толкования? Придавать новый смысл словам Писания не означает ли утверждать новое вероучение, не есть ли это попытка заставить Господа высказаться иными словами? Ведь не звучание слов, но их смысл содержится в Откровении; изменить этот смысл, признанный и подтвержденный Церковью, означает изменить откровение.

Посмотрите, до чего вы несправедливы: вы соглашаетесь, что чудеса нужны для того, чтобы сообщить авторитет божественному призванию, и тем не менее вы, простые смертные, по вашему собственному признанию, приходите, властно обращаясь к нам, подобно посланникам Божиим \*, вы требуете права толковать Писание, как вам заблагорассудится, и вы желаете отнять у нас свободное им пользование. Вы присваиваете только себе право, в котором отказываете каждому из нас и нам вместе взятым, из кого состоит Цер-

---

\* В Женеве перед епископальным советом Фарель заявил именно в этих выражениях, что он был послан Богом, что заставило одного из членов Совета привести слова Каиафы: «Он богохульствует! На что нам еще свидетели? Повинен смерти». Согласно учению о чудесах, достаточно только одного чуда в ответ на это. Однако же Иисус не совершил ни одного чуда ради этого, Фарель поступил так же. Фроман также заявил судье, запрещавшему ему проповедовать, «что следует скорее подчиниться Господу, нежели людям», и продолжил проповедовать, несмотря на запрет; поведение, которое он мог позволить себе лишь согласно явному повелению Божьему.

ковь. Итак, какое право вы имеете толковать наши общепринятые мнения в духе ваших собственных? Какое невыносимое самодовольство утверждать, что правда всегда на вашей стороне и все остальные не правы, не позволяя им продолжать оставаться при мнении, отличном от вашего, и при этом считать себя правыми! \* Возражения, которыми вы нам платите в отместку, были бы вполне приемлемыми, если бы вы просто высказали свое мнение и на этом остановились; но нет. Вы нам объявляете войну; вы раздуваете пламя со всех сторон. Противиться вашим урокам означает оказаться непокорным, идолопоклонником, достойным ада. Вы непременно хотите всех обратить в свою веру, переубедить, даже принудить. Вы рассуждаете о догматах, вы проповедуете, вы запрещаете, вы предаете анафеме, вы отлучаете от церкви, вы наказываете, вы предаете смерти; вы осуществляете власть пророков, а считаете себя лишь обычными людьми. Как! Вы, став теми, кто обновил религию, руководствуясь только собственным мнением, поддержанным сотней людей, позволяете себе сжигать ваших противников! И мы, имея за плечами пятнадцать веков древности и голос сотни миллионов людей, мы неправы, когда сжигаем вас! Нет, прекратите говорить, действовать, как апостолы, или покажите ваши верительные грамоты; или же, если нас признают сильнейшими, с вами справедливо будут обращаться, как с самозванцами».

На эти слова, как вы думаете, сударь, что наши сторонники преобразований в Церкви могли бы серьезно ответить? Лично я не знаю. Я думаю, что они были бы вынуждены замолчать или творить чудеса: прискорбное средство в руках друзей истины.

Из этого я заключаю, что настаивать на необходимости чудес для доказательства призвания посланников Божьих, проповедующих новое вероучение, означает перевернуть Реформацию с ног на голову; это означает самим ради борьбы со мной совершить то, в чем меня ложно обвиняют.

Я не все сказал по этому поводу, сударь; но то, что мне остается сказать, нельзя сказать отрывочно, и оно потребует очень длинного письма; пришло время закончить это.

---

\* Например, кто, как не Кальвин, проявил более решительности в суждениях, более властолюбия, резкости и считал себя более непогрешимым? Малейшее сопротивление, малейшее возражение, которое осмеливались ему привести, всегда казалось ему сатанинским делом, преступлением, достойным сожжения на костре. И не один Сервет поплатился жизнью за то, что осмелился мыслить иначе.

### Письмо III

Я возвращаюсь, сударь, к вопросу о чудесах, который я начал обсуждать с вами; и после того как я доказал, что утверждать их необходимость означает уничтожить протестантизм, я сейчас попытаюсь выяснить, каково их значение для доказательства Откровения.

Поскольку у людей ум устроен по-разному, то одни и те же доводы влияют неодинаково на всех, особенно в вопросах веры, то, что кажется очевидным одному, не кажется другому даже вероятным: одного убеждает один вид доказательств, другого — совсем иной. Все могут прийти к согласию относительно одних и тех же вещей, но крайне редко они соглашаются между собой по одним и тем же причинам, что доказывает, заметим мимоходом, до какой степени от спора мало проку: легче уж заставить другого человека смотреть на все нашими глазами.

Коль скоро Господь дает людям Откровение, в которое все обязаны верить, то необходимо, чтобы он его обосновал приемлемыми для всех доказательствами, а они, следовательно, столь же различны, как и способы восприятия тех, кто должен с ними согласиться.

Из этого рассуждения, кажущегося мне справедливым и простым, следует, что Господь сообщил призванию своих посланников различные свойства, по которым все люди, малые и великие, умные и глупые, ученые и невежды, могли уверовать в него. Тот из них, кто обладает умом, достаточно гибким и способным воспринять сердцем все эти свойства сразу, без сомнения, счастливый человек; но не стоит сожалеть о том, кого впечатлили лишь некоторые из них, лишь бы впечатление было достаточно сильным, чтобы его убедить.

Первое, самое важное, самое достоверное из этих свойств относится к природе этого вероучения, а именно к его полезности, красоте \*, святости, правдивости, глубине и ко всем прочим качествам,

---

\* Я не понимаю, почему у людей возникает желание приписать прекрасную мораль из наших книг развитию философии. Эта мораль, почерпнутая из Евангелия, носила христианский характер до того, как стала философской. Христиане наставляют в ней, не проводя ее в жизнь, я с этим согласен; но чем заняты философы, если не тем, что расточают себе похвалы, которые никто, кроме них, вслед за ними не повторяет, и при этом ничего особенного, по-моему, не доказывают.

Уроки Платона часто носят чрезвычайно возвышенный характер; но сколько раз он заблуждается, и куда заводят его заблуждения! Что касается Цицерона<sup>17</sup>,

которые помогают доносить до людей наставления высокой мудрости и заповеди высшей доброты. Это свойство, как я уже сказал, самое надежное, самое непогрешимое; оно несет в себе доказательство, не требующее никаких других; но это доказательство непросто обосновать так, чтобы люди прониклись его силой; оно требует изучения, размышлений, знаний, обсуждений, на что способны только люди мудрые, имеющие образование и навык рассуждать.

Второе свойство заключается в характере людей, избранных Богом для объявления Его слова; их святость, их правдивость, их справедливость, их чистые и незапятнанные нравы, их добродетели, способные устоять против страстей человеческих, вместе со способностью мыслить, разумом, рассудком, знаниями, осторожностью являют столько достойных уважения знамений, которые в совокупности, когда ничто им не противоречит, образуют совершенное доказательство им на пользу и свидетельствуют о том, что они являются чем-то бóльшим, чем простыми людьми. Это знамение производит впечатление в основном на людей добрых и прямодушных, которые видят истину повсюду, обнаруживают справедливость и слышат голос Божий только из уст добродетели. Это свойство достоверно, но нельзя исключить и возможность обмана; и вовсе не редкость, когда обманщик вводит в заблуждение добрых людей или когда добропорядочный человек вводит сам себя в заблуждение, охваченный усердием святости, которое он сочтет за вдохновение.

Третье свойство посланников Божьих — наличие влияния Божественной силы, которая может остановить движение вещей в природе и изменить его по желанию тех, кому это влияние дано. Это свойство, безусловно, самое яркое, производящее самое сильное впечатление, бросающееся в глаза; свойство, которое обращает на себя внимание внезапным и осязаемым воздействием, как кажется, требующее меньшего изучения и обсуждения; только это свойство особенно впечатляет народ, не способный последовательно рассуждать, неспешно и неподвзято наблюдать, находясь в плену собственных ощущений: но именно в силу этого обстоятельства данное свойство становится двусмысленным, как это будет доказано

---

то можно ли себе представить, чтобы этот напыщенный оратор создал свой трактат «Об обязанностях», не будь Платона? В том, что касается морали, только Евангелие является всегда достоверным, истинным, и всегда верным самому себе.

позднее. И в самом деле, лишь бы это свойство производило сильное впечатление на тех, кто его наблюдает, и имеет ли значение, мнимое оно или действительное? Народ не в состоянии провести это различие; сказанное доказывает, что есть только одно по-настоящему достоверное знамение, которое можно усмотреть в самом вероучении, и что, следовательно, только хорошие мыслители могут обладать твердой и правильной верой; но божественная доброта снисходительна к слабостям простонародья и благоволит ему, являя доказательства, ему понятные.

Я останавливаюсь на этом, не стремясь сделать этот перечень чрезмерно полным: это обсуждение бесполезно при рассмотрении предмета, о котором идет речь, ибо ясно, что когда все эти признаки соединяются, то этого достаточно, чтобы убедить всех людей мудрых, добрых и народ; всех, за исключением дураков, слабоумных и негодяев, не желающих, чтобы их в чем-нибудь убеждали.

Эти свойства суть свидетельства власти тех, кому они даны; и это причина, по которой мы обязаны им верить. Когда все эти свойства налицо, истинность их призвания установлена; они могут действовать тогда по праву и с полномочиями посланников Божиих. Доказательства являются средством; вера, изложенная в вероучении, — целью. Важно, чтобы люди согласились с вероучением, ведь самая тщетная вещь — спорить о количестве и выборе доказательств; и если только одно из них меня убеждает, то стремиться заставить меня признать прочие доказательства — напрасный труд. Было бы по меньшей мере смехотворно утверждать, будто человек не верит во все то, во что, как он утверждает, верит, только потому, что он верит не на основании тех же самых доводов, на которых основана наша вера.

Вот, как мне кажется, ясные и неоспоримые начала; перейдем к тому, как они проводятся в жизнь. Я объявляю себя христианином; мои гонители утверждают, что я таковым не являюсь. Они доказывают, что я не христианин потому, что я отрицаю Откровение и не верю в чудеса.

Однако, чтобы этот вывод был справедлив, необходимо, чтобы справедливым оказалось одно из двух: либо чтобы чудеса были единственным доказательством Откровения, либо чтобы я одинаково отрицал прочие доказательства, которые Его удостоверяют. Однако неверно утверждать, что чудеса являются единственным доказательством Откровения; и неверно утверждать, что я отрицаю

прочие доказательства, поскольку, напротив, мы обнаруживаем, что они приведены в том же самом произведении, в котором, как меня в том обвиняют, я отрицал Откровение \*.

Вот в точности к чему мы пришли. Эти господа, твердо решившие, вопреки моей воле, заставить меня отрицать Откровение, не учитывают того, что я его признаю на основе доказательств, для меня убедительных, даже если я его не признаю на основе доказательств, для меня не убедительных; и поскольку я не могу с ними согласиться, они утверждают, что я отрицаю Откровение. Можно ли придумать что-нибудь более несправедливое и более странное?

И судите сами, прошу вас, сказал или не сказал я слишком многое, раз они мне вменяют в вину то, что я не считаю допустимыми доказательства, которые Иисус не только не приводил, но и прямо отказывался приводить.

Он поначалу заявил о себе не чудесами, но проповедью. В возрасте двенадцати лет он уже участвовал в споре в храме с учеными людьми, то спрашивая их, то удивляя их мудростью своих ответов. Именно там начался его путь, как он это сам сказал своей матери и Иосифу \*\*. В своей стране, прежде чем совершить хоть одно чудо, он принялся рассказывать народу о Царствии Небесном \*\*\*; и он уже собрал многочисленных учеников, и при этом обрел влияние над ними не с помощью знамения, ибо сказано, что он совершил первое знамение в Кане \*\*\*\*.

Когда же он творил чудеса, то это случалось часто в особенных случаях, а сам выбор этих случаев отнюдь не указывает на то, что он стремился заручиться свидетельствами людей; и он не ставил цель явить свое могущество: ведь он всегда отказывался это делать, когда бы его ни просили ради этого их сотворить. Посмотрите на

\* Важно заметить, что викарий, будучи католиком, мог привести множество возражений, не имеющих смысла в глазах протестанта. Таким образом, скептицизм, которому он привержен, никоим образом не является доказательством моего собственного, в особенности после очень ясного заявления сделанного в конце того же сочинения. Всем отчетливо видно, что, согласно началам, которые я разделяю, многие возражения, содержащиеся в нем, ведут к ложным выводам.

\*\* Лк 11: 46, 47, 49.

\*\*\* Мф 4: 17.

\*\*\*\* Ин 2: 11. Я даже мысли не допускаю, что кто-либо сочтет в числе прилюдных знамений искушения дьявола и сорокадневный пост.

всю историю его жизни, особенно прислушайтесь к его собственному заявлению: оно столь решительно, что вы не найдете, что на это возразить.

Он уже далеко продвинулся на жизненном поприще, когда ученые мужи, видя, что он пророчествует среди них, вздумали попросить у него знамение. Что же на это должен был ответить Иисус, по мнению ваших господ? «Вы требуете знамения, у вас их множество. Уж не думаете ли вы, что я пришел объявить себя Мессией, не запасшись предварительно свидетельствами, словно я желаю заставить вас отречься от меня и заблуждаться против вашей воли? Нет: Кана, сотник, прокаженный, слепые, парализованные, приумножение хлебов, вся Галилея, вся Иудея свидетельствуют обо мне. Вот мои знамения: почему вы делаете вид, что не видите их?» \*

Вместо этого ответа, которого Иисус не давал, вот, сударь, что он сказал:

Род лукавый и прелюбодейный ищет знамения; и знамение не дастся ему.

Впрочем, он добавляет:

И знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка.

И, повернувшись к ним спиной, ушел <sup>18\*\*</sup>.

Для начала посмотрите как, осуждая это пристрастие к чудесным знамениям, он обходится с теми, кто их требует; и это случается не единожды, а много раз. Согласно взглядам ваших господ, это требование чудес вполне законно: зачем оскорблять тех, кто его предъявлял?

Затем посудите сами, кому мы должны прежде всего доверять: тем, кто утверждает, будто не принимать чудеса Иисуса в качестве знамений, подтверждающих христианское Откровение, означает его отвергать, или самому Иисусу, который объявляет, что он не должен давать знамений?

Они спросят, чем же является знамение пророка Ионы. Я им отвечаю, что это была его проповедь ниневитянам, точно такое же знамение, которое сотворил Иисус перед евреями, как он сам это объ-

\* Мк 8: 12; Мф 16: 4. Ради краткости я слил воедино два отрывка, но сохранил мысль, существенную для решения вопроса.

\*\* Обратите внимание на следующие отрывки: Мф 12: 39, 41; Мк 8: 12; Лк 11: 29; Ин 2: 18, 19; 4: 48; 5: 34, 36, 39.

ясняет\*. Можно рассматривать второй отрывок только в одном смысле, соотносимым с первым; в противном случае оказалось бы, что Иисус противоречит сам себе. Однако в первом отрывке, где у него просят о чуде в качестве знамения, Иисус определенно отвечает, что не будет дано никакого знамения. Таким образом, по смыслу второго отрывка, там нет указания ни на какое чудесное знамение.

Они станут настаивать, что, согласно третьему отрывку воскресение Иисуса есть знамение\*\*. Я это отрицаю; это знамение есть всего-навсего знамение смерти. Однако смерть человека не является чудом; не есть чудо и то, что по прошествии трех дней тело было извлечено из пещеры. В этом отрывке ни слова не говорится о воскресении. Впрочем, что же это за вид доказательства, что позволяют себе привести относительно Его жизни, если оно опирается на знамение, которое свершилось после его смерти? Это означало бы искушать только неверующих и утаивать правду. Коль скоро это поведение несправедливо, то и такое толкование — кощунство.

К тому же, имеется и еще один неопровержимый довод. Смысл третьего отрывка не должен противоречить первому, а в первом утверждается, что не будет дано знамения, совсем не будет. Наконец, как бы то ни было, свидетельство самого Иисуса доказывает, что если он и совершал чудеса в течение своей жизни, то не ради знамения о своем призвании.

Всякий раз, когда евреи настаивали на этом виде доказательств, он с презрением изгонял их и никогда не снисходил до удовлетворения их просьбы. Он не соглашался на это, даже когда у него просили о чуде из милосердия. «Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес», — говорил он тому, кто его просил исцелить сына\*\*\*. Станут ли говорить так, когда хотят творить чудеса ради доказательств?

Стоило ли удивляться тому, что если бы он явил столько доказательств, то люди бы без конца продолжали у него их просить? «Какое же Ты дашь знамение, — говорили евреи, — чтобы мы увидели и поверили Тебе?\*\*\*\* Моисей даровал манну в пустыне нашим от-

\* Мф 12: 41; Лк 11: 30, 32.

\*\* Мф 12: 40.

\*\*\* Ин 4: 48.

\*\*\*\* Ин 6: 30, 31.

цам; но ты, что ты сотворишь?» Это почти во вкусе ваших господ. Пусть, презрев величие короля, кто-нибудь придет к Фридриху и скажет: «Тебя называют “великим полководцем”, а, собственно, почему? Что ты сделал такого, что делает тебя таким? Густав победил при Лейпциге, при Лютцене; Карл при Фрауштадте, при Нарве; но в чем твои памятные деяния? Какую победу ты одержал? Какую крепость взял? Какой марш ты совершил? Какая война покрыла тебя славой? По какому праву ты носишь имя Великий?». Можно ли вообразить себе столь наглую речь? И найдется ли на всей земле человек, который осмелится на нечто подобное?

Однако, не желая пристыдить тех, кто обращался к нему с подобными речами, не дав им никакого чуда, не рассказывая им о тех, что Он уже совершил, Иисус, отвечая на их вопрос, довольствуется аллегорией о хлебе с небес. К тому же, Его ответ не только не увеличил числа Его последователей, но и отнял у него многих старых, кто, несомненно, мыслил так же, как и ваши богословы. Отступничество было таковым, что он спросил, обращаясь к двенадцати апостолам: «Не хотите ли и вы отойти?». Казалось, что он не слишком желал сохранить тех, кого мог удержать при помощи только чудес.

Иудеи требовали знамения с небес. С точки зрения собственных взглядов они были правы. Знамение, которое должно было засвидетельствовать приход Мессии, не стало бы для них чересчур очевидным, решающим, несомненным, основанным на свидетельстве многих, видевших Его воочию; поскольку непосредственное свидетельство Бога имеет несоизмеримо большее значение, чем свидетельства людей, то было надежнее уверовать в него по самому знамению, чем поверить людям, которые говорят, будто видели его; и вследствие этого небесное предпочтительнее земного.

Иудеи были правы с их точки зрения, потому что они желали Мессию зримого и творящего чудеса. Но Иисус сказал, следуя заповеди пророка, что не придет Царствие Божие приметно, что тот, кто возвещает о нем, не станет вести споров, не закричит, и голос его не будет слышен на улицах. Все это не выглядит как желание кичиться чудесами; следовательно, и он ведь не ставил перед собой такую цель. Он не придавал чудесам ни великолепия, ни достоверности, необходимых, чтобы засвидетельствовать истинные знамения, потому что он не выдавал их за таковые. Напротив, он советовал большим, которых он исцелял, хромым, которых он делал ходячими, одержимым, из которых он изгонял бесов, хранить тайну. Можно

было бы сказать, что он опасался, как бы не узнали о его чудотворной силе. Мне скажут, что это странный способ превратить это все в доказательство своего призвания.

Однако все это объясняется само собой, как только мы поймем, что иудеи желали получить это доказательство там, где Иисус не хотел, чтобы оно имело место. «Кто Меня отвергает и не хочет принять Мое Слово, у того уже есть судья», — говорил он. Но разве он добавляет: «Чудеса, сотворенные мной, его осудят?». Нет; но он добавляет: «Слово, которое Я возвестил, — вот судья, что осудит его». Знамение, таким образом, заключается в слове, а не в чудесах.

Видно, что в Евангелии все чудеса Иисуса были полезны; но они были лишены блеска, вычурности, великолепия; они были просты, как и его речи, как и его жизнь, как и все его поведение. Самым очевидным, самым осязаемым чудом, сотворенным им, стало, несомненно, чудо приумножения пяти хлебов и двух рыб, которыми накормили пять тысяч человек. Его ученики не только видели чудо, но оно прошло, если можно так сказать, через их руки; и, тем не менее, они об этом не подумали, они почти не заподозрили, что чудо произошло. Представляете ли вы себе, что во все века можно явить человеческому роду в качестве явного знамения деяния, которым самые непосредственные свидетели едва ли уделяют внимание? \*

Подлинной целью чудес Иисуса вряд ли было стяжание веры, напротив, он начинал с того, что требовал веры, прежде чем сотворить чудо. В Евангелии подобные места встречаются чаще всего. Вот почему нет пророка в своем отечестве \*\*: Он совершил в своем отечестве очень мало чудес; сказано даже, что Он не мог их совершать по причине неверия людей \*\*\*. Как! Ведь именно по причине их неверия ему следовало совершать чудеса, дабы убедить неверующих, если бы их Он творил с подобной целью; но это не так: это были деяния доброты, милосердия, добродетели, которые Он совершал в пользу своих друзей и тех, кто уверовал в него; именно подобные деяния есть деяния милосердия, по-настоящему достойные совершенных Им, и о которых Он говорил, что они свидетель-

\* Мк 6: 52. И сказано, что это случилось по причине неведения их сердца; но кто, кроме учеников Иисуса, смеет похвалиться сердцем, ведающим о священных предметах?

\*\* Мк 6: 5.

\*\*\* Мф 13: 58.

ствуют о Нем. Его деяния означали скорее возможность сотворить добро, нежели желание удивить; это были в большей мере «силы ангельские» \*, чем чудеса. Так каким же образом Высшая Мудрость могла использовать столь противоположные средства для достижения цели, поставленной Ею? Как Она не предусмотрела, что чудеса, которыми Она укрепляла влияние своих посланников, произведут прямо противоположное действие, посеют сомнения в подлинности истории как о чудесах, так и об их призвании, и среди стольких достоверных доказательств доказательство, основанное на знамении, посеет среди людей просвещенных и правдивых еще бóльшие сомнения относительно остальных доказательств? Да, я всегда буду утверждать, что опора, которую хотят придать вере, является для нее самым большим препятствием; уберите чудеса из Евангелия, и вся земля будет у ног Иисуса Христа \*\*.

Вы видите, сударь, что даже в Писании указывается, что чудеса не были знамением о призвании Иисуса Христа, столь уж необходимым для веры, как будто ею нельзя обладать, и не признавая их. Допустим, что прочие отрывки содержат смысл, противоположный этим, а все они вместе взятые содержат смысл, противоположный прочим; таким образом, я, пользуясь своим правом, предпочитаю тот смысл, который мне кажется наиболее соответствующим разуму и наиболее ясным. Возьмем я гордость пожелать все объяснить, я бы мог, как истинный богослов, выбрать любой отрывок и переиначить его на свой лад; но моя искренность не позволяет мне давать подобные софистические толкования; будучи в достаточной степени убежденным в своем мнении \*\*\* относительно того, что

---

\* Это слово употреблено в Евангелии; наши переводчики передают его с помощью слова «чудеса».

\*\* Павел проповедовал афинянам, и его слушали благосклонно до того мгновения, когда он им рассказал о воскресшем человеке. Тогда одни принялись смеяться, другие ему сказали: «Хватит, мы дослушаем остальное в другой раз». Мне достоверно неизвестно, что думают в глубине души добрые христиане нынешней закалки; но они верят в Иисуса, в силу его чудес; я же верю вопреки чудесам, и мне приходит в голову мысль, что моя вера стóит их веры.

\*\*\* Это мнение не столько мое собственное, сколько многих богословов, чье правое верие удостоверено лучше, чем правое верие духовенства города Женевы. Вот что написал мне один из этих господ 28 февраля 1764 года: «Что бы ни говорила шумная толпа современных апологетов христианства, я убежден, что в святых книгах нет ни одного слова, из которого мы смогли бы на законном основании

я понимаю, я спокойно отношусь к тому, чего не понимаю, и к тому, что те кто, мне это растолковывает, еще больше меня запутывают. Авторитет Евангелия для меня не равнозначен толкованиям людей, и у меня нет желания подчинить их толкования моему и самому подчиняться их толкованию. В важных вопросах его заветы обладают общим характером и ясны; разум, который их объясняет, по своему характеру — особенный, и только разум имеет вес в глазах каждого человека в отдельности. Позволить кому-либо руководить собой в этом вопросе означает подменить текст толкованием; это означает покорность людям, но не Богу.

Я возвращаюсь к моему рассуждению и, после того как мы установили, что чудеса не являются знамением, необходимым для веры, я собираюсь доказать в подтверждение этой мысли, что чудеса не есть непогрешимое знамение, о котором люди в состоянии судить.

Чудо — особое событие, непосредственное проявление божественного могущества, осязаемое изменение в порядке природы, одновременно действительное и зримое изъятие из ее законов. Вот мысль, от которой не следует отклоняться, если мы желаем понять друг друга, рассуждая об этом вопросе. Это соображение предполагает разрешение двух вопросов.

Первый вопрос: может ли Бог совершать чудеса? А именно: может ли он нарушать законы, которые сам же и установил? Этот вопрос после серьезного изучения показался бы кощунственным, если бы не был бессмысленным; наказать за отрицательный ответ на него

---

заклЮчить, что чудеса были предназначены для того, чтобы служить знаменами для людей во все времена и во всех странах. Напротив, по-моему, они не казались самым важным тем, кто стал их очевидцем. Когда иудеи требовали чудес от святого Павла, в каждом своем ответе он приводил в пример распятого Иисуса. Несомненно, если бы Гроций, авторы из общества Бейля, Верна, Верне<sup>19</sup> и прочие оказались на месте этого апостола, им следовало бы срочно соорудить подмости, дабы удовлетворить просьбу, которая столь совместима с их убеждениями. Эти люди полагают, что творят достойные удивления вещи с помощью кучи доводов; но я надеюсь, что однажды люди заподозрят, не были ли эти доводы собраны сообществом неверующих. Для того, чтобы в этом убедиться, не нужно быть Ардуэном»<sup>20</sup>.

Пусть впрочем, не думают, что автор этого письма является моим сторонником; вовсе нет, он — один из моих противников. Он лишь считает, что другие не понимают, о чем говорят. Он подозревает даже худшее; ибо вера тех, кто верит в чудеса, всегда окажется подозрительной в глазах просвещенных людей. Таково мнение одного из самых блестящих реформаторов: *Non satis tuta fides eorum qui miraculis nituntur*<sup>21</sup>.

значит оказать слишком много чести тому, кто решил бы его в отрицательном смысле; достаточно было бы его посадить в лечебницу. Но кто когда-либо отрицал, что Господь способен совершать чудеса? Только иудеи спрашивают, мог ли Господь поставить столы посреди пустыни.

Второй вопрос: желает ли Господь творить чудеса? Это другое дело. Этот вопрос сам по себе, если отвлечься от посторонних соображений, совершенно не имеет значения; он не касается величия Бога, чьи намерения нам не дано предугадать. Скажу даже больше: если бы могло иметь место некоторое отличие в способе ответа на него с точки зрения веры, то самые великие мысли о мудрости и величии Бога, которые мы в состоянии усвоить, склоняли бы нас к отрицательному ответу, и только человеческая гордость заставила бы нас утверждать обратное. Вот к чему может привести разум. Наконец, этот вопрос совершенно праздный, и чтобы его разрешить, нужно было бы уметь читать на скрижалях; ибо, как мы вскоре увидим, этот вопрос неразрешим с помощью фактов. Давайте воздержимся от того, чтобы бросить любопытный взгляд на эти тайны. Окажем уважение к Бесконечной Сущности тем, что ничего не скажем о Ней: мы знаем о ней только то, что она необъятна.

Однако, когда смертный отважно нам заявляет, что он видел чудо, он безоговорочно решает этот великий вопрос; посудите, должно ли ему при этом верить на слово. Пусть он наблюдал хоть тысячу чудес, я ему в этом случае не поверю.

Я оставляю в стороне грубый софизм, заключающийся в использовании морального доказательства для удостоверения невозможных по природе фактов, поскольку в этом случае само начало правдоподобия, основанное на признании возможности по природе, оказывается несостоятельным. Если люди пожелают в подобном случае признать это за доказательство в чисто умозрительных вещах или в фактах, достоверность которых почти что не подтверждается, то мы убедимся, что они окажутся менее стоворчивы, если речь пойдет об их земных выгодах. Представим себе, что покойник пришел требовать назад свое имущество у своих наследников, утверждая, что он воскрес, и требуя представить доказательства признания своей личности \*. Поверите ли в вы существование хоть одного

---

\* Но учтите, это предположение касается настоящего воскрешения, а не мнимой смерти.

суда на земле, где ему в этом поверят? Еще одно: не будем здесь начинать спор; оставим за свидетельствами всю их достоверность, которую им придают, и будем довольствоваться различием между тем, что чувство может подтвердить, и тем, о чем разум в состоянии сделать вывод. Поскольку чудо есть изъятие из-под действия законов природы, необходимо знать эти законы, чтобы о них судить; а чтобы судить о них с уверенностью, необходимо знать их все: ибо проявления хотя бы одного неизвестного нам закона достаточно в некоторых незнакомых зрителям случаях, чтобы изменить взгляд на проявление тех законов, которые нам известны. Таким образом, тот, кто утверждает, что то или иное деяние есть чудо, объявляет, что ему известны все законы природы, и знает, что это деяние исключительно.

Но кто тот смертный, кому известны все законы природы? Ньютон не похвалялся тем, что их знал. Мудрый человек, став свидетелем неслыханного деяния, может подтвердить, что он видел это деяние, и ему можно верить; но ни этот человек, ни никакой иной мудрый человек на земле никогда не будет утверждать, что этот факт, сколь бы удивительным он ни был, есть чудо; ибо откуда ему это известно?

Все, что можно сказать о том, кто похваляется, будто творит чудеса, — это то, что он делает крайне необычные вещи: но кто отрицает, что крайне необычные вещи происходят? Я видел эти вещи; более того, я их даже делал\*.

Изучение природы побуждает совершать ежедневно все новые открытия: человеческая деятельность совершенствуется каждый

---

\* В 1745 году я видел в Венеции достаточно новый способ предсказания судьбы, еще более странный, чем в Пренесте. Тот, кто желал получить предсказание, входил в комнату и, если хотел, оставался там в одиночестве. Там из книги, полной листов белой бумаги, он вытягивал один на свой выбор; затем, держа этот листок в руках, он спрашивал, но не вслух, а про себя, то, что он хотел узнать; затем он складывал этот лист белой бумаги, вкладывал его в конверт, запечатывал и помещал в таком виде в книгу; затем, после произнесения нескольких чрезвычайно вычурных фраз и не теряя книги из вида, он подходил к ней, вынимал наугад бумагу, узнавал печать, открывал ее и находил ответ на свой вопрос в письменном виде.

Маг, совершавший это гадание, был первым секретарем посланника Франции, и звали его Ж.-Ж. Руссо<sup>22</sup>.

Я довольствовался ролью колдуна, поскольку я был скромен; но если бы мне взбрело в голову стать пророком, то кто помешал бы мне им стать?

день. Химия изучает преобразования веществ, образование осадка, взрывы, вспышки, люминофоры, пирофорные вещества, землетрясения и тысячи других чудес, которые заставили бы тысячи раз перекреститься людей, увидевших это. Масло бокаутowego дерева и спиртовой раствор этилнитрита не являются такими уж редкими настойками; смешайте их вместе, и вы увидите, что произойдет; но не вздумайте производить этот опыт в комнате, ибо вы рискуете поджечь дом \*. Если бы жрецы Ваала были знакомы с господином Рузлем, их костер загорался бы сам, а Элия показался бы им простофилей.

Вы наливаете воду в воду — и получаются чернила; вы наливаете воду в воду — и вот твердое тело. Пророк из колледжа «Аркур» едет в Гвинею и говорит народу: признайте власть того, кто меня послал: я превращу воду в камень. Средствами, известными каждому школьнику, он готовит лед: и вот негры готовы ему поклоняться.

Некогда пророки заставляли спуститься пламя с небес силой своего голоса; сегодня дети делают то же с помощью маленького кусочка стекла. Иисус Навин заставил солнце остановиться; предсказатель будущего сотворит затмение — и вот дивное явление, еще более впечатляющее. Кабинет господина аббата Нолле представляет собой магическую лабораторию; «Математические развлечения» — это сборник чудес. Да что я говорю! Ярмарки прямо-таки кишат чудесами, Бриошэ<sup>23</sup> там часто встречаются: один только крестьянин с севера Голландии, который на моих глазах двадцать раз зажег свою свечу с помощью ножа, сумеет покорить народ даже в Париже; а что бы он, по-вашему, натворил в Сирии?

Парижские ярмарки выглядят своеобразным спектаклем; нет ни одной, где нельзя было бы наблюдать самые удивительные вещи, их публика почти не удостаивает вниманием, настолько люди привыкли к удивительным вещам и даже к тем, что невозможно и придумать! В то время когда я пишу эти строки, там можно увидеть два переносных механизма, из них один ходит или останавливается в точности по желанию того, кто заставляет работать или останавливаться другую машину. Я видел говорящую деревянную голову, о которой, однако, не рассказывали столько же, сколько о голове Альберта Великого. Я наблюдал еще более удивительную вещь:

---

\* Необходимы меры предосторожности, чтобы добиться успеха в этом опыте; но пусть меня избавят от необходимости приводить здесь рецептуру.

множество людей ученых, академиков, все они поголовно бегали смотреть на невиданные судороги и возвращались оттуда, исполненные восторга<sup>24</sup>.

Каких только чудес не совершишь ради невежд с помощью пушки, оптики, магнита, барометра! Варвары всегда считали европейцев богами, поскольку не владели искусствами. И если бы в лоне тех же самых искусств, наук, колледжей, академий, если бы в сердце Европы (во Франции или в Англии) в прошлом веке появился человек, вооруженный всеми чудесами электричества, с которым сегодня работают наши физики, сожгли бы его как колдуна или стали бы преследовать как пророка? Надо полагать, что с ним сделали бы либо первое, либо второе; достоверно лишь то, что в обоих случаях произошла бы ошибка.

Я не знаю, откроют ли искусство исцелять и будет ли оно когда-либо открыто; я знаю только, что это не противоречит природе. Вполне естественно, что человек выздоравливает, и так же естественно, что он болеет; он может так же внезапно выздороветь, как и внезапно умереть. Все, что можно сказать о некоторых выздоровлениях, так это то, что они удивительны, но не то, что они невозможны; как вы докажете, что это чудеса? Однако, и я это признаю, есть вещи, которые меня бы удивили, если бы я стал их очевидцем: была бы возможность увидеть не только то, как ходит хромым, но и как ходит человек, совсем не имеющий ног; не только то, как парализованный двигает рукой, но как человек, имеющий одну руку, снова обретает владение двумя. Признаюсь, меня даже меньше потрясла бы картина воскрешения мертвого; ибо, в конце концов, мертвый может оказаться и живым\*. Прочитайте книгу господина Брюйе<sup>25</sup>.

\* «Лазарь был уже в земле». Может быть, он первый, кого похоронили заживо? «И прошло уже четыре дня». А кто их сосчитал? Не Иисус, так как он отсутствовал. «От него уже шел запах». Как вы это узнали? Его сестра так сказала; вот и все доказательство. Ужас, отвращение заставили бы сказать то же самое любую другую женщину, но это не было бы правдой. Поостерегитесь ошибиться в суждениях. Речь шла о физической невозможности; она больше здесь не имеет места. Иисус скорее колебался в других случаях, менее затруднительных: посмотрите следующее примечание. К чему же это различие, если все было в одинаковой мере чудом? Сказанное, быть может, преувеличение, но это далеко не самое удивительное, что совершил святой Иоанн, о чем свидетельствует последний стих его Евангелия.

Наконец, сколь бы удивительным ни казалось мне подобное зрелище, я ни за что на свете не хотел бы быть тому свидетелем; ибо как я могу знать, что из этого последует? Вместо того чтобы проявить доверчивость, я бы сильно испугался, и страх превратил бы меня в безумца. Но речь идет не обо мне; вернемся к теме.

Мы только что открыли тайну воскрешения утопших; мы уже пытались узнать секрет оживления повешенных; кто знает, при других обстоятельствах смерти не сумеем ли мы возвращать жизнь телам, которые уже сочли безжизненными? Раньше не умели удалять катаракту; теперь для наших хирургов это — детская игра. Кто знает, не откроют ли когда-нибудь секрет, как одним махом снимать катаракту? Кто знает, не сможет ли обладатель подобного секрета с легкостью сделать так, что несведущий зритель сочтет это чудом и что его искушенный писатель станет выдавать за таковое? \* Все это неправдоподобно, да; однако у нас нет доказательств тому, что это невозможно, а здесь идет речь о физической невозможности. А если ее нет, то, обнаруживая перед нами свою мощь, Господь смог бы явить нам только правдоподобные знамения или просто вещи вероятные; и из этого следовало бы, что, поскольку влияние чудес основано лишь на невежестве тех, ради кого они совершались, то признанное чудом в одном веке или у одного народа не признали бы таковым у другого народа; так что, поскольку у нас нет общепризнанного доказательства, то убеждения, основанные на нем, легко опровергнуть. Нет, покажите мне чудеса, остающиеся чудесами не-

---

\* В подробностях рассказов о деяниях иногда заметна связность, которая совсем не похожа на сверхъестественное исцеление. Иисусу приводят слепого. Вместо того чтобы исцелить его сразу, он его ведет в селение; там он мазет ему глаза слюной, возлагает на него руки, после чего спрашивает, видит ли тот что-нибудь. Слепой отвечает, что видит идущих людей, которые, как ему кажется, напоминают деревья; Иисус посему посчитал, что первого лечения недостаточно, и продолжил его; наконец, человек выздоровел.

В другой раз, вместо того чтобы использовать чистую слюну, он ее смешивает с землей.

Тут я спрашиваю: зачем все это для совершения чуда? Станет ли природа возражать своему господину? Нужно ли ему прилагать усилия, проявлять упорство, чтобы она ему покорилась? Нужны ли ему слюна, земля, иные вещи? Нуждается ли он в словах, разве ему недостаточно просто захотеть? Или мы осмелимся сказать, что Иисус, будучи уверен в себе, все же пользуется проделками, достойными шарлатана, как будто хотел набить себе цену и позабавить зрителей? Согласно взглядам ваших господ, он делает либо первое, либо второе. Выбирайте.

смотря ни на что, во все времена и повсюду. Если многие из тех чудес, о которых говорится в Библии, кажутся таковыми в одном случае, то в другом отнюдь таковыми не кажутся. Ответь мне, богослов. Ты требуешь, чтобы я охватил все сразу, или ты позволяешь мне сделать выбор? Когда ты ответишь на этот вопрос, поговорим.

Заметьте, сударь, что, всего-навсего предполагая некое преувеличение в характеристике обстоятельств, я ни в коем случае не ставлю под сомнение то, что лежит в основе этих деяний. Я уже это говорил и считаю нелишним повторить. Иисус, исполненный духа Божия, обладал познаниями до такой степени превосходными в сравнении с признаниями учеников, что неудивительно, раз он творил множество сверхъестественных вещей, в которых невежество очевидцев заставляло заметить чудо там, где его в действительности не было. Обладая этими познаниями, разве нельзя допустить, что он действовал естественным образом, коль скоро и они, и мы оставались в неведении? \* Вот чего мы вообще не знаем и не сможем узнать. Очевидцы чудесных вещей, естественно, склонны их описывать с преувеличениями. Кроме того, можно совершенно искренне вводить в заблуждение себя самого, тем самым вводя в заблуждение остальных: стоит только хоть одному заявлению оказаться выше наших познаний, как мы сочтем его недоступным для разума, и ум усматривает, в конце концов, чудо там, где сердце заставляяет нас страстно желать его увидеть.

Чудеса, как я уже говорил, являются доказательствами в глазах простаков, которым законы природы оставляют слишком узкое поле зрения. Но оно расширяется, по мере того как люди познают мир и понимают, сколько им еще остается узнать. Взор великого физика простирается так далеко, что за пределами этого поля он вряд ли заметит какое-то чудо. «Этого не может быть», — вот слова, которые редко исходят из уст мудрых; они чаще говорят: «Я не знаю».

Что мы должны думать о стольких чудесах, рассказанных иными авторами, совершенно искренними (в этом я не сомневаюсь), но

---

\* Наши Божьи люди изо всех сил желают, чтобы я превратил Иисуса в самозванца. Они, горячася, хотят возразить на это недостойное обвинение, чтобы люди подумали, будто я его возвел на Него; они предполагают это с уверенным видом, настаивают, к этому охотно возвращаются. Ах! Если бы эти добрые христиане могли исторгнуть из меня, в конце концов, хоть какое-нибудь богохульство, — какой успех, какое удовлетворение, какой поучительный пример для их милосердных душ! С какой вящей радостью они подбросили бы зажженные угли в огонь собственного усердия, чтобы развести подо мной костер!

столь вопиющим образом невежественными и притом исполненными рвения во славу их Господа? Следует ли отбросить эти свидетельства? Нет. Следует ли их признать свидетельствами? Я не знаю \*. Мы должны их уважать, но не высказывая мнения об их природе, даже если нас стократ бросят в тюрьму. Ибо, в конце концов, власть законов не может распространяться до таких пределов, что принудит нас размышлять неверно; и, однако, это именно то, что следует сделать, дабы обязательно обнаружить чудо, взирая на которое, разум может узреть лишь достойное удивления деяние.

Даже если бы католики нашли надежный способ установить это различие между чудом и удивительным деянием, то какое значение это имеет для нас? Согласно их взглядам, если, едва получив признание, Церковь решит, что такое-то деяние есть чудо, то оно действительно чудо; ибо Церковь не может ошибаться. Но сейчас-то речь идет не о католиках, а о протестантах. Они успешно опровергли некоторые части «Исповедания веры викария», которое, будучи направленным исключительно против Римской церкви, не могло, да и не должно было содержать никаких доказательств против их веры. Католики также с легкостью смогут опровергнуть эти «Письма» постольку, поскольку я в них задеваю католиков, а их убеждения не совпадают с нашими. Когда же речь заходит о том, чтобы

---

\* Есть такие чудеса в Евангелии, которые невозможно понимать буквально, не греша против здравого смысла. Таковы сведения о двух одержимых. Мы узнаём дьявола по делам его, и истинные одержимые суть злые люди: разум не признает иного. Но не об этом речь: важнее другое. Иисус спрашивает у толпы демонов, как их зовут. Как! Демоны обладают именем? Ангелы обладают именем? Пречистый Дух обладает именем? Наверное, чтобы называть друг друга в общении между собой или для того, чтобы услышать, когда Господь их призовет? Но кто дал им эти имена? На каком языке произносятся эти слова? Что за уста, произнесшие эти имена, уши, их услышавшие? Это имя — легион; ибо их множество, это то, чего Иисус, очевидно, не знал. Эти ангелы, возвышенные духи как во зле, так и в добре, эти небесные создания, которые посмели взбунтоваться против Господа, бороться с его извечными заповедями, живут скопищем в теле человека. Вынужденные покинуть этого несчастного, они желают переселиться в стадо свиней, и это им было дозволено, и эти свиньи бросаются в море. И здесь заключены доказательства божественного призвания Искупителя человеческого рода, доказательства, которые должны свидетельствовать о Нем перед всеми народами и во все времена, и ни один из них не сможет усомниться под страхом проклятья! Боже праведный! Голова идет кругом; мы пребываем в растерянности. И это, господа, основания вашей веры? Моя вера, как мне кажется, покоится на гораздо более надежных основаниях.

показать, будто я не доказал того, что не хотел доказывать, вот тут-то мои противники и торжествуют.

Из всего только что сказанного я заключаю, что самые надежно подтвержденные деяния, даже когда мы их признаем таковыми, как и все сопутствующие обстоятельства, не доказали бы ничего, и что при этом можно даже заподозрить преувеличения при изложении обстоятельств, не подвергая сомнению чистосердечие тех, кто о них рассказал. Постоянные открытия законов природы; законы, которые, вероятно, еще будут открыты; те, что еще предстоит открыть; прошлые достижения человеческой мысли, а также настоящие и будущие; различные пределы восприятия возможного свойственны народам в зависимости от того, являются ли они более или менее просвещенными, — все это доказывает нам, что мы не в состоянии уяснить себе эти пределы. Однако необходимо, чтобы чудо, коль скоро оно действительно таково, оказалось выше их понимания. Чудеса либо существуют, либо не существуют; мудрый не может быть уверен в том, что некое деяние является чудом.

Независимо от доказательств в пользу подобной невозможности, на наличие которой я только что указал, я усматриваю еще одно доказательство, не менее весомое, в следующем предположении: допустим, что бывают чудеса; но к чему они нам, если бывают ложные чудеса, а их нельзя распознать? И заметьте, что я называю ложным не чудо, которое не существует в действительности, но деяние действительно сверхъестественное, поддерживающее ложное верование. Поскольку слово «чудо» при этом может прозвучать оскорбительно в ушах людей набожных, давайте использовать другое слово: назовем это «прелестью»; но вспомним, что человеческое разумение не в состоянии отличить прелесть от чуда.

Тот же авторитет, что засвидетельствует чудеса, засвидетельствует также и прелесть; и этот авторитет доказывает, что зримая прелесть ничем не отличается от мнимых чудес. Как же отличить одно от другого? И что может доказать чудо, если тот, кто его видит, не в состоянии отличить без помощи достоверного и присущего самой вещи признака, является ли это творением Господа или же творением дьявола? Необходимо второе чудо, чтобы подтвердить первое.

Когда Аарон бросил свой жезл перед фараоном, и жезл превратился в змею, волхвы также бросили свои жезлы, и они превратились в змей. Либо превращение было действительно совершено и те-

ми, и другим, как сказано в Писании, либо существовало только настоящее чудо Аарона и всего лишь прелесть — у волхвов, как это утверждают некоторые богословы; но не это важно; видимость была точно такой же; в книге Исхода не содержится указаний на какое-либо отличие; а если бы оно было, то волхвы не стали бы проводить такого сравнения, а если бы они это сравнение провели, их бы уличили во лжи.

Однако люди могут судить о чудесах только по собственным ощущениям; и если восприятие одинаково, то настоящее отличие, которое они не в состоянии заметить, для них ничего не значит. Таким образом, знамение как таковое не является бóльшим доказательством в пользу одного, чем в пользу другого, и пророк при этом обладает не бóльшими преимуществами, чем маг. Если вы опять скажете, что я здесь пишу красиво, то, согласитесь, нужно написать красивее, чтобы меня опровергнуть.

Правда, что змея Аарона пожрала змей магов; но вынужденный поверить в магию фараон был не вправе сделать иной вывод, кроме того, что Аарон оказался более умелым в этом искусстве, чем волхвы; именно так Симон, придя в восхищение от вещей, которые совершал Филипп, пожелал купить у апостолов секрет, как можно совершить то же, что и они.

Впрочем, унижение волхвов произошло благодаря Аарону; но, не будь там Аарона, они, совершая те же самые знамения, привели бы доказательства наличия у них божественного могущества; знамение же само по себе ничего не доказывает.

Когда Моисей превратил воду в кровь, волхвы тоже превратили воду в кровь; когда Моисей сотворил лягушек, волхвы тоже сотворили лягушек. Они потерпели неудачу во время десяти казней египетских, но остановимся на первых двух случаях, когда сам Господь явил доказательства Божественной власти\*. Волхвы ведь также их явили.

Что касается третьего испытания (исцеление язвы они оказались не в состоянии повторить), то непонятно, в чем заключалась его сложность. И вот мы видим в этом «перст Божий». Почему те, кто смог сотворить животное, не могли сотворить насекомое? И почему, сотворив лягушек, они не смогли бы сотворить вшей? Если

---

\* Ис 7: 17.

верно, что в этих вещах лиха беда начало, то, несомненно, они остановились на полдороге.

Моисей, наученный этими двумя опытами, говорит, что если лжепророк объявит о существовании других богов, то есть создаст ложное вероучение, и если этот лжепророк подтвердит свои слова предсказаниями или чудесами, которые он в состоянии совершить, то его следует не слушать, а предать смерти. Таким образом, можно использовать подлинные знамения для подтверждения ложного вероучения; поэтому знамение само по себе ничего не доказывает.

Допустим, вероучение о знамениях, внушающих прелесть, тысячу раз заявляет о себе в Писании. Далее, после того как Иисус заявил, что не будет больше знамений, он предсказывает лжехристов, которые эти знамения будут совершать; он говорит, «что они совершат великие знамения и чудеса, чтобы прельстить даже избранных» \*. Разве, по этому слову, мы не питаем склонность принимать знамения за ложные доказательства?

Как! Господь, будучи вправе выбирать доказательства, когда он желает обратиться к людям, выбирает преимущественно те из них, что предполагают знания, а ими, как ему известно, те не обладают! Чтобы их просветить, он выбирает путь, который, как ему известно, выберет и дьявол, чтобы их обмануть! Разве это путь, избранный Богом? Не получится ли так, что Господь и дьявол следуют одной и той же дорогой? Вот чего я не в силах понять.

Наши богословы мыслят лучше, но они не столь искренни, как те, что жили в прежние времена, и сильно запутались в этой магии: они желали бы окончательно отделаться нее, но не смеют; они чувствуют, что отрицать ее означало бы отрицать слишком многое. Эти всегда столь решительные люди здесь меняют свою речь; они не отрицают существования магии, но и не признают ее; они решили прибегнуть к уверткам, идти окольными путями; при этом на каждом шагу они останавливаются; они не знают, с какой ноги вступить в танец.

Я думаю, сударь, что дал вам понять, в чем заключена трудность. Вот я выражаю ее в виде дилеммы, чтобы ясность стала полной.

Если мы отрицаем прелесть, то мы не в состоянии доказать существование чудес, потому что и те и другие основаны на одном и том же авторитете.

\* Мф 24; Мк 12: 22.

И если мы допускаем наличие прелести и чудес, то не обладаем никаким надежным, точным и ясным правилом, руководствуясь которым, можно отличить одно от другого; таким образом, чудеса ничего не доказывают.

Я знаю, что наши люди при этом поспешно обращаются к вероучению; но они просто-напросто забывают, что если вероучение уже утвердилось, то чудеса излишни, а если нет, то оно не в состоянии ничего доказать.

Не попадите в ловушку, я вас умоляю; при этом не стоит заключать, что я отрицаю чудеса потому, что не рассматривал их в качестве существенной стороны христианства. Нет, сударь, я их не отвергал и не отвергаю: и если я и высказал доводы, заставляющие в них усомниться, то я ни в коей мере не скрывал доводы в пользу того, чтобы в них верить. Существует большая разница между отрицанием вещи и тем, что ее не утверждают, между ее непризнанием и ее неприятием; и я так мало высказывал свое мнение по этому вопросу, что не боюсь, если в моих сочинениях обнаружат хоть одно место, где я утверждал бы, что чудес не бывает.

Да и как я мог бы подобное утверждать, вопреки собственным сомнениям, поскольку, насколько мне известно, везде, где я выступаю от собственного лица, я ничего подобного не утверждаю? Посмотрите, что утверждает человек, заявляющий уже в предисловии:

В отношении того, что назовут общими взглядами, которые здесь являются не чем иным, как развитием природы человека, именно они больше всего собьют с толку читателей; и несомненно, именно из-за них на меня будут нападать, и, может быть, окажутся правы. Людям покажется, что они читают не трактат о воспитании, а знакомятся с грезами духовидца. Что тут поделаешь? Я излагаю собственные мысли, а не чужие. Мои взгляды отличаются от взглядов других людей; меня давно за это упрекают. Но разве от меня зависит захотеть смотреть на вещи чужими глазами и увлечься чужими мыслями? Нет, от меня зависит не придерживаться иного мнения, кроме моего, и вовсе не считать себя более мудрым, чем остальные; от меня ли зависит не менять мое мнение и не бояться его высказывать: вот и все, что я могу сделать и что я делаю. Если я иногда и говорю уверенным тоном, то не для того, чтобы что-то навязать читателю, но чтобы говорить с ним на языке моих мыслей; зачем же мне излагать в виде сомнения то, в чем я насколько не сомневаюсь? Я точно передаю происходящее в моем уме.

Свободно излагая свое мнение, я нимало не стремлюсь к тому, чтобы оно пользовалось влиянием, а всегда прибавляю свои соображения, чтобы люди взвешивали их и судили обо мне. Однако, хотя я совсем и не желаю упорно защищать мои мысли, я не считаю себя в меньшей мере обязанным их обосновывать; ибо правила, относительно которых мое мнение противоречит мнению остальных людей, не являются чем-то маловажным: это те правила, истинность или ложность которых важно установить: ведь на них покоится счастье или несчастье человеческого рода<sup>26</sup>.

Автор, который сам не ведает, заблуждается ли он, и опасается, как бы все, что он высказал, не оказалось нагромождением грез, будучи в силах изменить свои суждения, в них не сомневается и говорит уверенным тоном вовсе не для того, чтобы его выказать, а говорить то, что он думает; автор, вовсе не желая навязать свое влияние, всегда высказывает свои соображения с тем, чтобы о них судили; автор, который даже не хочет упорствовать в защите своих мыслей и заявляет об этом в начале своей книги, желает ли он пророчествовать подобно оракулу? Желает ли он предложить решение вопросов? И в силу этого предварительного заявления, разве он не относит к разряду сомнений свои наиболее весомые утверждения?

И пусть не говорят, будто я не исполняю своих обещаний, упорно защищая свои мысли. Это было бы верхом несправедливости. И если бы нападки совершали только на мои книги, я бы неизменно хранил молчание; я так решил. Со времени моего заявления, сделанного мной в 1753 году, кто-нибудь видел, как я кому-то возражаю? Или я молчал потому, что никто на меня не нападал? Но когда меня преследуют, когда против меня выносят приговоры, когда меня бесчестят за то, что я якобы сказал, и за то, чего я не говорил, то, чтобы защитить себя, необходимо доказать, что я ничего подобного не утверждал. Мои враги вложили в мои руки перо вопреки моему желанию. Пусть же они оставят меня в покое, и тогда я оставлю в покое публику; даю честное слово.

Все это уже служит ответом на довод, направленный против меня, который я предвосхитил. Он заключается в том, что мне самому хочется сделаться протестантом, совершенно не считаясь с мнениями, которые разделяют сегодня; ибо нет ничего более похожего на хвастовство, чем такие заявления, и вести речь с подобной осмотрительностью вовсе не означает вещать тоном пророка. Я посчитал своим долгом высказать свое суждение относительно важных и по-

лезных вещей; но сказал ли я хоть слово, сделал ли хоть один шаг ради того, чтобы заставить согласиться с ними кого-либо? Заметил ли хоть кто-нибудь в моем поведении попытку завоевать внимание зрителей?

Переписывая необычное сочинение<sup>27</sup>, издание которого внезапно явило столько ревнителей веры, я предупреждал читателя, что ему не следует доверять моим суждениям и именно ему надлежит решить, сможет ли он почерпнуть в нем некоторые полезные мысли, что я не предлагаю ему ни суждение постороннего человека, ни мое собственное в качестве правила, которое я передаю ему на рассмотрение\*.

И когда я снова беру слово, вот что я добавляю в конце:

Я переписал это сочинение, не считая его правилом в суждениях по вопросам веры, которому должно следовать, но в качестве примера того, как можно размышлять о ней со своим учеником, не отходя от того способа воспитания, что я попытался обосновать. Пока мы не признаем ни авторитета людей, ни власти предрассудков в странах, где мы родились, один лишь просвещенный разум в согласии с природой может привести нас только к естественной религии, и именно ею я ограничиваюсь в воспитании Эмиля. И если он захочет принять другую религию, то в этом вопросе я больше не имею права быть его наставником; выбор за ним\*\*.

И после всего этого как же бесстыдно поступит тот, кто осмелится обвинить меня в отрицании чудес, раз их существование вовсе не отрицается в этом сочинении? Я об этом не говорил нигде больше\*\*\*.

Как! Только потому, что автор сочинения, опубликованного другим человеком, включает в него спорщика, с которым он не согласен и который в одном споре отрицает чудеса, из этого следует, что не только сам автор этого сочинения, но также и издатель отрицают чудеса? Какая бессмыслица! Позволять себе подобные предположе-

\* Эмиль. Кн. IV.

\*\* Эмиль. Кн. IV.

\*\*\* С тех пор я говорил об этом в моем «Письме к господину де Бомону»; но, помимо того что это «Письмо» вообще не упоминалось, отнюдь не на его содержание должны быть основаны судебные разбирательства, начатые до того, как оно вышло в свет.

ния в разгар литературного спора есть вещь, достойная порицания и слишком распространенная; но принимать эти предположения за доказательства в суде, — вот пример юриспруденции, способной повергнуть в трепет самого твердого человека, который имеет несчастье жить в стране, где управляют подобные магистраты.

Автор «Исповедания веры» приводит возражения относительно как пользы, так и истинности чудес, но эти возражения не являются их отрицанием. Вот самое серьезное из того, что он сказал по этому поводу: «Вот неизменный порядок природы, лучше всего указывающий на присутствие Высшего Существа. Если бы появилось множество исключений в нем, то я не знал бы, что и думать на этот счет; а сам я настолько верую в Бога, что не могу уверовать в существование стольких чудес, отнюдь не достойных Его» \*.

Но, скажите, что означают эти слова? Что слишком большое количество чудес вызывает подозрения у автора; он не признает всевозможные чудеса без разбора, и его вера в Бога побуждает его отвергнуть все те чудеса, которые недостойны Бога. Вот оно что! Тот, кто не признает все чудеса, отвергает их разом? А следует ли питать доверие ко всем чудесам, о которых узнали из предания, чтобы уверовать в вознесение Христа?

В довершение всего, далеко не все сомнения, содержащиеся во второй части «Исповедания веры», можно считать отрицанием чудес; напротив, это отрицание следует рассматривать лишь как сомнение. Вот самое начало заявления автора о суждениях, с которыми он намерен бороться: «Судите о моих речах, опираясь на авторитет разума. Я не знаю, заблуждаюсь ли я. В споре порой трудно не заговорить тоном убеждения; но помните, что здесь все мои утверждения являются лишь основанием для сомнений». Можно ли высказаться более определенно?

Что касается меня, то я принимаю во внимание деяния, засвидетельствованные Священным Писанием: этого достаточно, чтобы в этом отношении я определился в своих суждениях. Если бы я обнаружил свидетельства о них в другой книге, то я бы их отверг или же не стал бы им называть их чудесами; но поскольку они упомянуты в Писании, я их никоим образом не отвергаю. Но я также не допускаю их существования, поскольку мой разум этому противится, и пусть мое решение по этому вопросу не затрагивает моего спасе-

\* Эмиль. Кн. IV.

ния. Ни один здравомыслящий христианин не может поверить, что все в Библии, вплоть до слов и заблуждений, внушено свыше. То, что мы должны считать внушенным свыше, так это то, что относится к нашим обязанностям; ибо тогда зачем Господь внушил нам все остальное? Но вероучение о чудесах здесь совершенно ни при чем; я это только что доказал. Таким образом, суждение, которое позволительно из всего этого вывести, никак не связано с уважением, которое должно питать к священным книгам.

Впрочем, люди не в состоянии убедиться в том, что какое бы то ни было деяние есть чудо \*; и это я здесь доказал. Итак, принимая на веру все деяния, удостоверенные в Библии, позволительно без какого-либо святотатства и без обвинения в непоследовательности отвергать чудеса. Но я не зашел так далеко.

Вот каким образом ваши господа из чудес, не являющихся достоверными, необходимыми, ничего не доказывающих и которые я не отвергаю, выводят очевидное доказательство того, что я расшатываю основы христианства и что я больше не христианин.

Скука помешала бы вам следовать нити моих рассуждений, если бы я вдавался в подробности относительно других обвинений, которые они нагромождают, чтобы их числом превозмочь несправедливость каждого из них в отдельности. Они меня обвиняют, в частности, в том, что я отвергаю молитву. Посмотрите книгу, и вы встретите молитву именно в том месте, о котором идет речь. Правда, говорящий — набожный человек \*\* и не верит, что безусловно необходимо спрашивать у Господа ту или иную вещь \*\*\*, но он не

---

\* Если эти господа уверяют, будто это определенно сказано в Писании, и я должен признать чудом то, что выдают за таковое, то я отвечаю, что этот вопрос следует обсудить, и добавляю, что в этом рассуждении они попадают в порочный круг: поскольку они хотят, чтобы чудо служило доказательством Откровения, то им не следует использовать авторитет Откровения, чтобы подтвердить существование чудес.

\*\* Один женеvский церковнослужитель<sup>28</sup>, попавший в затруднительное положение, когда попытался судить о моем христианстве, утверждает, что я, Ж.-Ж. Руссо, сказал, что я не молился Господу: он это утверждает многословно, пять или шесть раз подряд, и все время называет мое имя. Я желал бы питать уважение к церкви; однако я бы осмелился спросить, когда же я это говорил? Конечно, любому бумагомарателю позволительно нести вздор и болтать сколько вздумается; однако доброму христианину непозволительно на людях выставить себя клеветником.

\*\*\* «Когда вы молитесь, говорит Иисус, то молитесь так». Когда молятся словами, то правильно предпочесть эти слова; но я здесь не вижу заповеди молиться

осуждает, когда так поступают остальные. «Что касается меня, — говорит он, — то я этого не делаю, убежденный, что Господь является добрым отцом, который лучше знает своих чад и то, что им надлежит делать. Но возможно ли служить ему более достойным образом? Почитание сердца, исполненного усердия, поклонения, восторга; созерцание его величия, признание нашего ничтожества, покорность его воле, покорность его законам, чистая и святая жизнь, — все это разве не дороже корыстолюбивых обетов?» Лучший способ испросить у справедливого Бога — это быть достойным получить просимое. Разве ангелы вокруг трона Его молятся? Что Они должны были бы у Него попросить? Это слово «молитва» часто упоминается в Писании в смысле почитания, поклонения; кто воздаст большее, довольствуется малым. Что до меня, то я не осуждаю какой-либо способ поклонения Господу, я всегда одобрял мысль, что тот, кто Ему молится, должен вступить в лоно Церкви: я так поступаю; савойский священник сам так поступал. Сочинение, столь жестоко подвергнутое нападкам, вдохновлено этой мыслью. Неважно: я, утверждаю они, отвергаю молитву; я заслуживаю костра. И вот меня осудили.

Они к тому же утверждают, будто я обвиняю христианскую мораль в том, что она превратила все наши обязанности в неосуществимые, ибо требует чрезмерного. Христианская мораль есть мораль Евангелия; я никоим образом не допускаю иной морали в том же смысле, как ее понимает мой гонитель, потому что именно из своих обвинений, в которые он помещает эту мораль, он делает вывод (несколькими строками ниже), что я называю Евангелие божественным \* в насмешку.

Однако взгляните, можно ли возвести более черную ложь и более явно проявить недобросовестность, поскольку, судя по отрывку

---

словами. Иная молитва предпочтительней: быть готовым смириться перед волей Господа. «Вот я, Господи, чтобы исполнить волю Твою». Изю всех молитв «Отче наш», несомненно, самая совершенная, но еще совершеннее полное смирение перед волей Господа. «Не то, чего я желаю, Господи, но Ты». Да что я говорю? Это же молитва доминиканцев. Она вся заключается в этих словах: «Да будет воля твоя». Любая иная молитва является излишней и противоречит ей. Допустим, тот, кто думает так, ошибается, это вполне возможно. Но тот, кто прилюдно обвиняет этого человека в том, что именно этим он разрушает христианскую мораль, и в том, что он — не христианин, сам является ли добрым христианином?

\* «Письма из деревни».

из моей книги, из которого почерпнуто это суждение, даже нельзя сказать, что я имел в виду Евангелие.

Вот, сударь, этот отрывок; он находится четвертом томе «Эмиля», страница 64: «Подчиняя порядочных женщин печальным и рабским обязанностям, люди изгнали из брака все то, что могло сделать его приятным для мужчин. Стоит ли удивляться тому, что молчание, царящее в браке, отвращает людей от него, или тому, что они не спешат принять столь неприятные узы? Чрезмерно подчиняя всех обязанностям, христианство превращает их в неосуществимые и бесполезные, запрещая женщинам пение, танцы, иметь мирские радости; оно их делает угрюмыми, ворчливыми, невыносимыми в домах, где они живут».

Однако в каком месте Евангелие запрещает женщинам петь и танцевать? В каких строках оно заставляет их исполнять печальные обязанности? Напротив, там говорится об обязанностях мужей, но ни слова не сказано об обязанностях жен. Таким образом, вынудить меня говорить о Евангелии то, что я говорил только о янсенистах, методистах и прочих нынешних праведниках, которые превращают христианство в столь ужасную и неприятную религию \*, — ошибка, в то время как оно, напротив, приятно и сладостно, если соблюдать истинные заповеди Иисуса Христа.

Я не желал бы усвоить себе тон отца Берюйе, которого я не люблю и даже нахожу крайне бестактным; но я не могу удержаться от того, чтобы не сказать, что одна из вещей, которые меня очаровывают в характере Иисуса, есть не только кротость нрава и простота, но и легкость, грация и даже элегантность. Он не избегал ни удовольствий, ни праздников, он смотрел на женщин, он играл с детьми, ходил на свадьбы, ему нравились благовония, он вкушал пищу у мытарей. Его ученики отнюдь не голодали; его суровость не была невыносимой. Он был снисходителен и справедлив, мягок со сла-

---

\* Первые протестанты поначалу впадали в эту крайность и были крайне жестоки и, как следствие, лицемерны; и первые янсенисты не преминули последовать их примеру. Один женевский проповедник по имени Анри де Мар вещал с кафедры, что идти на свадьбу в более радостном настроении, чем то, в котором Иисус шел на смерть, — грех. Один янсенистский кюре утверждал, будто свадебные празднества являются изобретением дьявола. Некто возразил ему, что Иисус Христос на них присутствовал и даже снизошел до совершения там своего первого чуда, чтобы радость при виде праздника запомнилась надолго. Тот кюре проворчал в ответ немного смущенно: «Это не лучшее, что он сделал».

быми и грозен с негодяями. Его мораль была в чем-то притягательна, ласкова, нежна; у него было чуткое сердце, и он ценил хорошее общество. И если бы он не был самым мудрым из смертных, то оказался бы самым любезным.

Некоторые фанатики искажали и бесчестили христианство, превратно истолковав и плохо усвоив смысл отдельных отрывков из святого Павла. Если бы люди придерживались смысла сказанного учителем, то этого бы не произошло. И пусть меня обвиняют в том, что я не всегда согласен со святым Павлом; меня, конечно, можно заставить привести доказательства того, что я иногда был прав, не соглашаясь с ним; но из этого нельзя сделать вывод, что я считаю Евангелие божественным только смеха ради. Однако именно таким образом рассуждают мои гонители.

Но простите меня, сударь, я уже вам надоел, и я это чувствую, с этими подробностями: я их слишком много привел в свою защиту и уже сам начинаю изнывать от того, что вынужден отвечать с помощью разумных доводов на обвинения, в которых нет ни тени разума.

### *Письмо IV*

Сударь, вы убедились: обвинения в том, что мои книги являются доказательством нападков на религию, ложны: именно на основании этих обвинений я был признан виновным и со мной обошлись как с преступником. Теперь предположим, что я и в самом деле виновен, и посмотрим наказание, которое мне полагалось за мое преступление.

У порока и добродетели есть своя мера<sup>29</sup>.

Раз человек невиновен в одном преступлении, вовсе не обязательно, что он повинен во всех остальных. Правосудие в том и заключается, чтобы точно отмерить наказание за вину; крайняя справедливость сама по себе является несправедливостью, когда она никоим образом не принимает в расчет разумные соображения, которые должны смягчить строгость закона.

Предположим, правонарушение действительно имело место; нам остается выяснить, какова его природа и какие наказания предписываются в подобных случаях вашим законом.

Если я нарушил свою клятву жителя города, как меня в том обвиняют, то я совершил государственное преступление, и дело находится в непосредственном ведении Совета, это бесспорно.

Но если все мое преступление состоит в заблуждениях по поводу вероучения, то эти заблуждения — совсем иной вопрос, будь они даже святотатством. Согласно вашим эдиктам, дело подлежит рассмотрению в другом суде, который рассмотрит дело в первой инстанции.

И даже если мое преступление является преступлением против государства, то, прежде чем объявить его таковым, требуется предварительно суждение о моем вероучении, и Совет не вправе его выносить. Его дело наказать за преступление, а не указывать на него. Как мы убедимся в дальнейшем, ваши эдикты строго придерживаются этого правила.

Сначала речь идет о том, чтобы установить, не нарушил ли я свою клятву жителя города, а именно клятву, принесенную моими предками; ибо, поскольку я не жил в городе и не исполнял никаких обязанностей гражданина, то я вовсе не приносил этой клятвы. Но оставим это.

В тексте клятвы есть только две статьи, которые могли бы иметь отношение к преступлению, якобы мною совершенному. Согласно первой статье, дается обет «жить по законам реформации святого Евангелия»; согласно последней статье, «не поступать и не допускать никаких поступков, не строить никаких козней или ничего не предпринимать против реформации святого Евангелия».

Я не только не нарушал эту первую статью, но с точностью и даже отвагой, коей найдется немного примеров, ее соблюдал, с достоинством исповедуя мою религию среди католиков, хотя я некогда был в их вере; таким образом, нельзя считать это отступничество времен моего детства посягательством на клятву, особенно после моего безоговорочного присоединения к вашей Церкви в 1754 году и восстановления меня в правах жителя города, о чем всем известно в Женеве, и тому, впрочем, есть доказательства бесспорные.

Нельзя также сказать, что я нарушил первую статью своими книгами, которые были осуждены, поскольку я по-прежнему заявлял в них о себе как о протестанте. Впрочем, одно дело — поведение, другое — сочинения. Жить по законам Реформации означает исповедовать протестантизм, хотя можно считать себя вправе от-

ступать от нее в силу заблуждения в сочинениях, достойных порицания, или допускать иные прегрешения, которые оскорбляют Господа, но не наказуемые отлучением провинившегося от Церкви. Если бы представилась возможность поспорить относительно этого различия в общем, то оно заключено в самом тексте клятвы, поскольку там разнесено на две статьи то, что могло бы быть выражено в одной, коль скоро исповедание религии является несовместимым с любым проступком против религии. Там в первой статье клянутся жить согласно законам протестантизма, а в последней статье клянутся ничего не предпринимать против него. Эти две статьи отличаются друг от друга и даже разделены многими прочими статьями. По мысли законодателя, эти две вещи являются весьма различными и даже несовместимыми друг с другом: таким образом, если бы я нарушил эту последнюю статью, то из этого не следует, что я тем самым нарушил первую статью.

Но нарушил ли я эту последнюю статью?

Вот каким образом автор «Писем из деревни» утверждает это на странице 30:

Клятва горожан вменяет им обязанность не совершать, не допускать никакой деятельности, не строить никаких козней или не предпринимать чего-либо против святой евангелической Реформации. Кажется, что это означает слегка \* заниматься вредной деятельностью и строить козни против Реформации, пытаюсь доказать в двух столь исполненных соблазна книгах, что пречистое Евангелие как таковое бессмысленно и вредно для общества. Таким образом, Совет был обязан обратить внимание на того, в отношении кого возникли столь возмущающие сердце предположения о том, что он повинен в этом намерении.

Посмотрите для начала, как приятно изъясняются эти господа! Им кажется, что они завидели издалека «слегка» вредную деятельность и козни. По причине этой едва заметной маленькой уловки они обращают внимание на того, кого заподозрили как человека, питающего подобные замыслы, и это внимание оборачивается для последнего арестом.

\* Поскольку это «слегка», столь забавное и столь отличающееся от серьезного и снисходительного тона оставшейся части «Писем», было устранено во втором издании, то я воздерживаюсь от того, чтобы выяснять, кто допустил это обидное замечание<sup>30</sup>, кому принадлежит этот маленький кончик — нет, не уха, но ногтя.

Верно и то, что тот же автор доволен, доказывая далее, что они выдали приказ о моем аресте по доброте душевной. «Совет, — говорит он, — мог лично вызвать господина Руссо в суд, заслушать его, мог принять решение о его аресте <...> Из этих трех решений последнее было, несомненно, самым мягким <...> в сущности, это предупреждение о том, чтобы он не возвращался на родину, если не хотел оказаться под судебным расследованием, или же, если бы он захотел рискнуть это сделать, то смог бы подготовиться к защите».

Так шутил, говорит Брантом<sup>31</sup>, палач несчастного дона Карлоса, инфанта Испании. Когда принц кричал, желая выступить в свою защиту, он говорил, пока душил его: «Тише, монсеньор, все, что делается, делается только для вашего блага».

Но что это за вредная деятельность и козни, в которых меня обвиняют? Осуществлять такую деятельность, если я правильно понимаю, это значит умело скрывать тайные соображения; строить козни означает вести тайные происки, делать то, что некоторые люди предпринимают против христианства и против меня лично. Однако я не могу понять, что является менее тайным и менее скрытым, чем публикация книги и поставленное на ней имя. Когда я высказывал свое мнение по какому бы то ни было вопросу, то я делал это открыто и прилюдно; я называл свое имя и потом спокойно оставался в своем пристанище; меня весьма трудно убедить, что все это похоже на вредную деятельность и козни.

Чтобы хорошенько разобраться в духе клятвы и сути заключенных в ней выражений, необходимо мысленно перенестись во времена, когда ее текст составляли и когда речь шла в основном о том, чтобы государство не попало под двойное ярмо, только что сброшенное. Каждый день открывались какие-нибудь новые происки Савойского дома или епископов, которые они вели под предлогом спасения религии. Вот к чему, очевидно, относятся слова «вредная деятельность» и «козни», которые с тех времен, как возник французский язык, никогда не употреблялись для обозначения общих рассуждений, опубликованных неким человеком в книге под своим именем без умысла, без особых намерений и видов, не задевая при этом ни одно правительство. Это обвинение кажется столь несерьезным даже тому, кто осмелится это обвинение выдвинуть, что он признает, что я оставался верным долгу гражданина (страница 8 «Писем из деревни»). Однако же как я могу им быть, если я нарушил клятву горожанина?

Таким образом, неправда, будто я нарушил эту клятву. Я добавлю, что если бы это оказалось правдой, то в Женеве не случилось бы ничего более неслыханного в подобном роде, чем расследование, проведенное против меня. Вероятно, еще не существовало горожанина, который никогда не нарушал этой клятвы хоть в одном ее пункте \*, но при этом никто не осмеливался затевать с ним ссору из-за этого, а тем более никто не осмеливался отдавать приказ его арестовать.

Тем более нельзя сказать, что я подвергаю нападкам мораль в книге, где я в меру моих сил отдаю предпочтение благу общему перед благом частных лиц и где устанавливаю связь между нашими обязанностями перед человеком и нашими обязанностями перед Богом; это единственное начало, которое можно положить в основу морали, чтобы сделать ее действительной, а не показной. Нельзя утверждать, что эта книга хоть в какой-то мере пытается нарушить порядок в существующих богослужениях и порядок общественный, ибо, напротив, я настаиваю на необходимости уважать установленные обряды богослужения, на необходимости безусловного повиновения законам также и в вопросах религии, ибо именно по поводу этого предписанного законами повиновения один женеvский пастор меня резко отчитал.

Это столь ужасное преступление, по поводу которого подняли столько шума, если считать его действительно совершенным, сводится, следовательно, лишь к заблуждениям в вопросах веры, хоть и не имеющим отношения к пользе общества, но являющихся, по крайней мере, для него чем-то важным; самое большое зло от этого преступления, — терпимость к инакомыслию в вопросах религии и, следовательно, мир в государстве и по всей земле.

Но я спрашиваю, сударь, вас, которому прекрасно знакомы ваши законы и ваше правление: кому принадлежит право судить, особенно в первой инстанции, за заблуждения в вопросах веры, которые может допустить частное лицо? Совету или консистории? Вот главный вопрос.

Прежде всего следует установить какого рода это правонарушение. Ныне, когда известен род преступления, следует сравнить проведенное расследование с тем, что предписано в тексте закона.

---

\* К примеру, не выезжать за пределы города, дабы селиться вовне без особого на то разрешения. А кто спрашивал подобное разрешение?

Ваши эдикты не устанавливают наказание в отношении того, кто заблуждается в вопросах веры и кто напечатал сочинение, содержащее это заблуждение. Но, в соответствии со статьей 88 Церковного Ордонанса, в разделе, посвященном консистории, говорится о порядке расследования против лица, лжеучительствующего о догматах. Эта статья изложена в следующих выражениях.

Если кто-нибудь лжеучительствует о догматах вопреки общепринятому вероучению, пусть его вызовут для объяснений; если он исправился, пусть его отпустят без огласки и не позоря; если он упорствует в своих заблуждениях, пусть ему несколько раз сделают увещание и тем самым попытаются исправить. Если в конце концов окажется, что с ним следует обойтись с большей суровостью, пусть ему откажут в святом причастии и уведомят об этом магистрата, дабы он принял меры.

Из этого видно:

1. Предварительное расследование в отношении этого рода правонарушения является правом консистории.

2. Законодатель вовсе не считает, что подобное правонарушение непростительно в случае, если тот, кто его совершил, раскаивается и исправляется.

3. Эдикт указывает на путь, следуя которому можно заставить виновного исполнить свой долг.

4. Этот путь исполнен уважения, сострадания, ласкового обращения, ибо так подобает поступать христианам по примеру их Учителя в том, что касается ошибок, которые совершенно не нарушают покоя гражданского общества и касаются только религии.

5. В конце концов, последнее и самое суровое наказание соответствует природе правонарушения, как это и должно быть, и заключается в том, что виновному отказывают в святом причастии и церковном общении, ибо он оскорбил Церковь и продолжает ее оскорблять.

После этого консистория обличает его перед магистратом, которому надлежит принять меры; ибо закон, не допуская в государстве иной религии, указывает, что того, кто упорно желает исповедовать иную и наставлять в ней, должно устранить из государства.

Применение всех пунктов этого закона можно видеть в том расследовании, которое было проведено в отношении Жана Морелли в 1563 году.

Жан Морелли, житель Женевы, напечатал книгу, где он критиковал церковные порядки и которая была подвергнута цензуре синодом Орлеана. Автор, подавший в суд на эту цензуру, был также вызван в Женевскую консисторию по тому же самому поводу; он не пожелал предстать перед ней и скрылся; затем, вернувшись в Женеву с разрешения магистрата, дабы помириться со служителями культа, он не подумал вести с ними речь о случившемся или отправиться в консисторию, пока его опять не вызвали туда; он, наконец, не предстал перед ней; после долгих споров, после того как он отказался дать какого-либо рода объяснения, его дело передали в Совет, и он был вызван туда, но вместо того чтобы предстать лично, он передал через свою жену письменные извинения и снова скрылся из города.

Наконец, против него было начато новое судебное расследование, то есть расследование против его книги, и поскольку приговор, вынесенный в этом случае, весьма важен даже в отношении употребленных в нем выражений и малоизвестен, я перепису здесь его целиком, ибо для нас его содержание бесполезно.

Мы, синдики-судьи по уголовным делам этого города, заслушали доклад достопочтенной консистории церкви города о расследовании, проведенном в отношении Жана Морелли, жителя этого города, и из него следует: принимая во внимание то, что ныне он второй раз покинул город и, вместо того чтобы предстать перед нами и нашим Советом, когда его сюда направили, проявил неповиновение: на этих основаниях и на иных основаниях, относящихся к нашему ведомству, заседаая в судебном присутствии, учрежденном нашими предками, следуя нашим старинным обычаям и после того как мы держали совет с нашими гражданами, призывая в свидетели Господа и Священное Писание, взывая к пресвятому имени Его, дабы вынести правильное судебное решение, произнося: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь», этим окончательным приговором, который мы даем письменно, мы по зрелому размышлению решили провести дальнейшее расследование, ибо названный Морелли в суд не явился: прежде всего для того, чтобы те, у кого в руках находится его книга, остерегались оказаться обманутыми ею. Будучи должным образом уведомлены о содержащихся в ней заблуждениях и бреднях, а в особенности о том, что содержание названной книги сеет раскол, смуту и соблазн в церкви, мы осудили и осуждаем ее как вредную и пагубную, дабы это послужило назиданием, и приказали

и приказываем, чтобы один ее экземпляр был немедленно сожжен, и запрещаем книготорговцам ее хранить или выставлять на продажу, а всем гражданам, горожанам и жителям этого города, какую бы должность они ни занимали, ее покупать или брать для прочтения. Мы повелеваем тем, кто ее имеет, принести ее нам, а тем, кто знает, где хранятся ее экземпляры, в течение двадцати четырех часов уведомить нас об этом под страхом сурового наказания.

Мы повелеваем нашему лейтенанту привести в немедленное и должное исполнение этот приговор.

Приговор вынесен и приведен в исполнение сентября в шестнадцатый день тысяча пятьсот шестьдесят третьего года.

Подписано: Шенеля

По поводу этого документа, сударь, можно привести немало соображений в нужное время и в нужном месте. Но сейчас не будем отклоняться от нашего предмета. Вот каким образом провели расследование и вынесли приговор по делу Морелли, книгу которого сожгли лишь после разбирательства, и при этом и речи не шло о палаче или заклеянии позором, а его самого не сажали под арест, хотя он проявлял упорство и не являлся в суд.

Но каждому известно, как Совет поступил со мной в момент выхода в свет моего сочинения, а о консистории и вообще не упоминалось. Книгу получили по почте, прочитали, передали в суд, сожгли, приговорили меня к аресту, и все это за восемь-десять дней. Трудно себе представить более расторопное судопроизводство!

Надо полагать, мой поступок подпадает под действие закона, под статью, по которой меня следует подвергнуть наказанию, ибо в противном случае по какому праву накажут за ошибки, которые не наносят вреда никому и о которых закон не вообще не упоминает?

А соблюли ли в этом деле требования Эдикта? Вы, люди здравомыслящие и знакомые с делом, можете себе представить, чтобы словно в насмешку нарушили сразу все статьи Эдикта? «Господин Руссо, — пишут сторонники Представлений, — не был вызван в консисторию, но Великолепный Совет<sup>32</sup> все же провел против него расследование. К нему следовало «относиться терпимо и не позорить», но его сочинения прилюдно называли «дерзкими, нечестивыми, возмутительными»; к нему следовало «относиться терпимо и не очернять», но его заклеили позором, очернив самым постыдным образом, а обе его книги разорвали на куски и сожгли рукой палача.

Следовательно, нормы Эдикта не были соблюдены, — писали авторы Представлений, — как в том, что касается юрисдикции консистории, так и в том, что касается лично Руссо, которого следовало вызвать в суд, относиться к нему терпимо и не позорить и не очернять; ему должно было сделать несколько раз выговор, а судить лишь в том случае, если бы он проявил упорство».

Вот это вам, как и мне, должно показаться ясным, как день. Так нет же: сейчас вы увидите, как эти люди умеют выдавать черное за белое.

Обычно уловка софистов заключается в том, чтобы сваливать в кучу все доводы, прикрывая их слабость. Дабы избежать повторений и тем самым выиграть время, давайте выявим доводы, приведенные в «Письмах из деревни»; ограничимся самыми существенными, оставив в стороне те, которые я ранее уже опроверг, и, чтобы не исказить остальные, приведем их буквально.

Автор пишет: «Именно на основании наших законов я должен изучить то, как поступили с господином Руссо». Отлично! Давайте посмотрим дальше.

Первая статья клятвы горожан обязывает их жить в соответствии с протестантским толкованием святого Евангелия. Однако ж позвольте узнать, живет ли согласно Евангелию тот, кто пишет против Евангелия?

Первый софизм. Для того чтобы ясно понять, касается ли сказанное меня, вставьте в меньшую посылку слово «протестантское», которое автор опускает, но необходимое для того, чтобы вывод оказался правильным.

Второй софизм. В первой статье речь идет не о клятве писать согласно взглядам протестантизма, но о том, чтобы жить в соответствии с ними. Эти две вещи, как мы видели раньше, различаются в самой клятве, и мы видели, действительно ли я писал против Евангелия или протестантизма.

Первейший долг синдигов и Совета блюсти чистоту религии.

Третий софизм. Их долг на самом деле состоит в том, чтобы блюсти чистоту религии, но не в том, чтобы решать, что соответствует чистоте религии, а что нет. Да, суверен возложил на них обязанность блюсти чистоту религии, но ради этого он не назначил их судьями

в вопросах вероучения. Он вверил заботу об этом другому организму, и именно с ним они должны советоваться во всех вопросах, относящихся к религии, как это и было всегда до избрания вашего правительства. На случай религиозных правонарушений созданы два судебных присутствия: одно для их установления, другое для наказания за них; это бросается в глаза, если вчитаться в текст Ордонанса. В дальнейшем мы вернемся к этому вопросу.

Далее следуют обвинения, которые я рассмотрел ранее и которые я поэтому повторять не буду. Но я не могу отказать себе в удовольствии привести отрывок, который их завершает. Он очень любопытен.

Действительно, господин Руссо и его сторонники утверждают, что его сомнения не являются нападками на христианство, которое он при этом продолжает называть боговдохновенным. Но если какая-нибудь книга названа боговдохновенной, подобно тому как названо боговдохновенным Евангелие в сочинении Руссо, пусть мне скажут, какой новый смысл приписывают этому слову? По правде сказать, если это противоречие, то оно оскорбительно; если это шутка, то она неуместна в подобном вопросе.

Да, я понял. Духовность, чистота сердца, сострадание, вера, смирение, покорность, терпимость, забвение обид, прощение врагам, любовь к ближнему, всеобщее братство, соединение в милосердии всего человеческого рода — это все порождения сатаны. Не в этом ли заключается мнение автора и его друзей? Судя по его словам и его делам, ничего другого и не скажешь. И правда, если это противоречие в словах и поступках, то оно оскорбительно. Если это шутка, то она неуместна в подобном вопросе.

Добавлю к этому, что шутка в подобном вопросе настолько по вкусу этим господам, что, в соответствии с усвоенными ими правилами, в шутках, если я, конечно, шутил, они должны дать мне фору.

После изложения сути моих преступлений, посмотрите, какие доводы заставили их столь коварно перещеголять в суровости даже закон, преследующий преступника.

Эти книги опубликованы под именем гражданина Женевы. Вся Европа — свидетельница его позора. Главный парламент королевства преследует «Эмиля» и его автора. Что оставалось делать правительству Женевы?

На минутку остановимся на этом. Мне думается, я завидел в этих словах неправду.

По словам автора, позор на всю Европу вынудил женеvский совет сурово обойтись с книгой «Эмиль» и ее автором: но дело в том, что все произошло совсем наоборот. Именно постановления этих двух судебных присутствий об аресте обернулись позором на всю Европу. Прошло лишь несколько дней с того дня, как книга попала в продажу, и вот Парижский парламент ее осудил; она еще не появилась в продаже ни в одной стране, даже в Голландии, где ее печатали; и между постановлением об аресте, вынесенном Парижским парламентом, и постановлением Женевского Совета прошло девять дней, ровно столько, сколько требуется для того, чтобы узнать о случившемся в Париже. Жуткий гвалт, поднятый вокруг этого дела в Швейцарии, вынужденное бегство из дома друга, попытки лишить меня последнего пристанища, предпринятые в Нефшателе и даже при дворе<sup>33</sup>, — все это исходило от Женевы и от ее окрестностей<sup>34</sup> уже после принятия постановления об аресте. Известно, кто был подстрекателем, а кто исполнителем; их предприимчивость оказалась беспримерной; к счастью, не от них зависело лишить меня огня и воды во всей Европе, не оставить мне и клочка земли, чтобы приклонить голову, и камня у изголовья. Не будем же здесь одно принимать за другое и считать поводом для решения об аресте, вынесенного в Женеве, позор, который оказался лишь его следствием.

Главный парламент королевства преследует «Эмиля» и его автора. Что оставалось делать правительству Женевы?

Ответ прост: ничего не делать, или, вернее, он не должен что-то делать. Оно поступило бы прямо противоположным образом относительно судебного преследования, неуважительно отнеслось бы к Парижскому парламенту, и, следуя его примеру, оспорило бы у него судебные права. Именно потому, что меня решили арестовать в Париже, меня нельзя арестовывать в Женеве. Преступление человеком совершается в определенном месте и только в нем, и невозможно оказаться одновременно виновным в одном и том же преступлении в двух странах или в двух разных местах одновременно. Если он захочет явиться в суд и снять с себя обвинения, что же он, по-вашему, должен разорвать себя на части? Да вы сами хоть раз слышали, чтобы человека одновременно сажали под арест в двух

странах за одно и то же? Это, наверное, первый и последний пример. Мои беды — свидетельство достойной сожаления чести, которая мне выпала: быть во многих отношениях единственным примером!

За самые жестокие преступления, даже за убийства нужно привлекать к суду по месту их совершения. Если женевец убил человека, даже женеца, в чужой стране, Совет Женевы не может присвоить себе право расследовать это дело; он может выдать преступника по запросу другой стороны, он может потребовать его наказания, если только ему не передали добровольно право решить дело и все подробности расследования; но не ему надлежит судить, ибо ему не принадлежит право принимать к сведению преступление, подсудное другой суверенной власти, и даже не имеет права приказывать собрать улики, чтобы установить его состав. Вот правило и вот ответ на вопрос: «что оставалось делать правительству Женевы?» Во всем этом заключены самые простые понятия публичного права, которые магистрату стыдно не знать. Что же, мне теперь всегда за свой счет преподавать уроки юриспруденции моим судьям?

«Совету следовало, согласно мнению сторонников Представлений, ограничиться предварительным запретом на распространение книги в Женеве». И правда, это то, что он должен был сделать, чтобы в конце концов успокоиться в своей злобе; он так поступил по отношению к «Новой Элоизе», но, видя, что Парижский парламент смолчал и что нигде не устанавливали никакого запрета на книгу, Совету стало стыдно, и он потихоньку отозвал запрет\*. «Но разве столь слабое выражение неодобрения не было бы похоже на желание потакать?» Но ведь уже давно женевский Совет обвиняют в том, что он так мало скрывает свое желание потакать распространению сочинений, гораздо в меньшей степени достойных терпимого отношения, и при этом его несколько не смущает подобное мнение о нем. «Никто не счел бы оскорбительной сдержанность, с которой с ним бы могли обойтись». Крики людей вам показывают, до какой степени их оскорбило прямо противоположное сдержанности. «Да и, по совести сказать, если бы Совет повел себя так с человеком, который столь же неугоден публике, сколь ей приятен Руссо, разве не

---

\* Согласимся с тем, что если «Эмиля» запретили, то «Элоизу» следовало бы сжечь. Примечания в тексте романа настолько дерзки, что «Исповедание веры викария» и рядом ставить нельзя.

поставили бы ему в упрек безразличие и непростительную мягкотелость, названную сдержанностью?» Но ведь самое большое зло не в этом, таким почтенным словом не называют ни жесткость, с которой со мною обходятся за мои сочинения, ни поддержку, которую оказывают сочинениям другого человека<sup>35</sup>.

Допустим, что я виновен, и допустим даже, что Совет Женевы имел право меня наказать и что разбирательство было проведено в соответствие с законом, и, между тем, не желая порицать мою книгу, они вполне миролюбиво приняли бы меня в Женеве по возвращении из Парижа; что бы тогда сказали эти достопочтенные люди? Да вот что:

Члены совета закрыли глаза на книгу, и они должны были так поступить. Как же они могли поступить иначе? В этом случае проявить суровость означало бы поступить варварски, проявить неблагодарность и даже допустить несправедливость, ибо истинное правосудие находит равновесие между злом и добром. Виновный преданно любил родину, и он заслужил сдержанное отношение; он прославил ее по всей Европе, и в то время как его соотечественники стыдились имени женева, он прославил его и восстановил почтение к ней за рубежом. Прежде он подавал полезные советы, стремясь к благу общества, и если он и ошибся, эта ошибка простибельна. Он воздал высокую хвалу магистратам, он желал возратить им доверие со стороны горожан, он защищал верования церковнослужителей, и взамен он вполне заслужил известную благодарность от всех них. И по какому праву они смеют, пусть даже он допустил немногие ошибки, так сурово обходиться с защитником Бога, с апологетом религии, на которую нападают со всех сторон, тогда как члены Совета терпимо относятся и даже дозволяют распространение самых мерзких, самых неприличных, самых оскорбительных для христианства и для добрых нравов писаний, уничтожающих добродетель, то есть тех самых писаний, на которые Руссо счел своим долгом ответить опровержениями? Люди, наверное, стали бы искать скрытые побуждения столь неприличной предвзятости по отношению к нему; и они бы поняли, что их причина кроется в ревнении обвиняемого к свободе и намерениях его судей, стремившихся его погубить. Руссо сочли бы за мученика, защищавшего законы отчизны. В этом случае его гонителей, надевших маску лицемерия, упрекнули бы в том, что они затеяли игры в религию, превратили ее в орудие возмездия и в орудие своей ненависти. Наконец, благодаря поспешному наказанию человека за то единственное

преступление, что он любит родину, они добились лишь того, что достойные люди испытывают к ним отвращение, горожане заподозрили их в недобросовестности, а иностранцы стали просто презирать.

Вот, сударь, что могли бы сказать люди, вот опасность, которую навлек бы на себя Совет, если мы предположим что Руссо совершил преступление, а Совет воздержался бы от того, чтобы принять его к сведению.

Любой человек оказался бы прав, утверждая, что необходимо выбирать между сожжением Евангелия и сожжением книги Руссо.

Ах, какой удобный способ рассуждений неизменно используют эти господа, выступая против меня! Если им не хватает доводов, они множат голословные утверждения; если им нужны свидетели, то они ссылаются на неизвестных лиц.

Суждение этого неизвестного лица в этом случае имеет отнюдь не непонятный смысл, это — богохульство.

Ибо разве не богохульство полагать, будто Евангелие и мои книги так похожи в отношении содержащихся в них положений, что взаимозаменяют друг друга, и как возможно, без всяких различий, сжечь одно как нечто лишнее, сохранив другое? Без сомнения, я как можно более точно следовал евангельскому вероучению; я возлюбил его, я принял его, изъясненное и во всей его полноте; но меня не останавливали затруднения, неясные места, таинства, я не отвлекался от самого существенного; я прикипел к нему со всем жаром сердца, я глубоко возмущился и стал резко возражать, когда увидел, как оскверняют священное вероучение, оскорбляемое нашими так называемыми христианами, и в особенности теми, кто взялся давать нам наставления в нем. Я даже смею надеяться, что никто, кроме меня, не говорил с таким достоинством о христианстве и его Учителе. В этом отношении на моей стороне свидетельства и восхищение со стороны моих противников, но, по правде сказать, не из Женевы, а тех, у кого ненависть не превратилась в неистовую злобу и кого пристрастия не лишили чувства справедливости. Вот в чем состоит правда, и вот что доказывают и мой ответ королю Польши, и мое «Письмо д'Аламберу», и «Элоиза», и «Эмиль», и остальные сочинения, которые проникнуты истинной любовью к Евангелию и в которых я боготворю Иисуса. Так пусть же из этого сделают вы-

вод, что я вряд ли могу уподобиться Учителю, и что мои книги ни в коем случае не могут заменить данные Им заветы; и сказанное этим автором — ложь, бессмыслица, мерзость, и мне отвратительно это богохульство, и я осуждаю подобную дерзость. Но возвышенная простота Учителя доступна пониманию далеко не всех. И для того, чтобы они смогли ее понять, ее необходимо иногда представлять в разном свете. Необходимо хранить эту священную книгу как завет Учителя, а мои книги как заметки школьника.

Я обсуждал до сих пор этот вопрос немного в общем ключе; теперь же станем рассматривать его с точки зрения фактов, проведя сравнение между расследованиями 1563 года и 1762 года и между доводами, которые приводят в пользу отличия между ними. Поскольку речь идет о решающем для меня вопросе, я не могу, не пренебрегая своей собственной защитой в судебном деле, оградить вас от мелочей, возможно, бесполезных, но во многих отношениях любопытных для вас и ваших сограждан. Но это другой повод для обсуждения, его нельзя прерывать: оно целиком займет длинное письмо. Но, сударь, немного терпения; это будет последнее письмо, в котором я буду говорить с вами о себе.

### *Письмо V*

Вы имели случай убедиться, что после того как автор «Писем» указал на необходимость обращаться со мной по всей строгости, он пытается доказать, что следствие против Жана Морелли, хотя и вполне соответствовало Ордонансу и относилось к делу, похожему на мое, отнюдь не являлось примером, которому необходимо следовать в случае со мной, принимая во внимание, что стоящий выше Ордонанса Совет не обязан им руководствоваться, потому как совершенное мною преступление было серьезнее, чем правонарушение Морелли, а потому со мною следовало обращаться суровее. К этим доводам автор добавляет то, что не соответствует истине: будто меня осудили, не выслушав в суде, поскольку в этом случае достаточно изучить содержание моей книги, а клеймо позора на книге никоим образом не ложится на ее автора; и, наконец, произведения, за терпимое отношение к которым упрекают Совет, в сравнении с моим были вполне невинными, и к ним следовало так относиться.

Что касается первого пункта, то вы, наверное, с трудом поверите в то, что кто-то посмеет считать, будто Совет стоит выше законов.

Для того чтобы убедить Вас, я не нахожу ни одного более надежного средства, кроме как переписать отрывок, в котором автор обосновывает это положение, и я, опасаясь исказить смысл, сократив его, перепишу этот отрывок целиком.

Разве авторы Ордонанса пожелали связать руки гражданской власти и обязать ее пресекать всякое религиозное правонарушение только после того, как консистория примет его к сведению? Если бы это было так, то правительство оказалось бы лишено возможности пресекать подобные вольности и заклеить позором подобного рода книги; ибо хотя Ордонанс и требует, чтобы правонарушитель сначала предстал перед консисторией, он все же предписывает: «Если правонарушитель исправится, его не станут подвергать публичному позору». Таким образом, каковым бы ни было его преступление против религии, обвиняемый, делающий вид, будто исправился, сможет в этом случае уйти от правосудия, а того, кто чернил религию повсеместно, благодаря показному раскаянию оставят в покое, «не позоря публично». Те, кому знакомы суровые нравы времени, когда был составлен этот Ордонанс, смогут ли поверить, что именно таков был смысл его 88 статьи?

И если консистория допустила бездействие, то разве это связывает руки Совету? И разве его полномочия сводятся лишь к тому, чтобы доносить о таких правонарушениях в консисторию? Ордонанс подразумевает не что иное, как следующее: после указаний на права и полномочия консистории его текст заключает, что за гражданской властью остается вся полнота прав, ее власть является нерушимой как в целом, так и в обычном судебном разбирательстве, вопреки представлениям от церковнослужителей. Следовательно, этот Ордонанс не считает, несмотря на утверждения авторов Представлений, что в этом вопросе священнослужители более естественные судьи, чем Советы. Таково начало протестантизма, таково, в особенности, начало нашего государственного устройства, которое в спорных случаях наделяет Советы правом решать вопросы, касающиеся догматов.

Как видите, сударь, в этих последних строках содержится начала, на которых основаны предыдущие рассуждения. Итак, для того чтобы последовательно рассмотреть это рассуждение, следует начать с его конца.

Все, что относится к полномочиям власти в вопросах религии, относится к полномочиям правительства.

Здесь слово «правительство» содержит двусмысленность, которую весьма важно разъяснить, и поэтому я вам советую, если только вы уважаете государственный строй своей отчизны, быть внимательным к тому различию, что я проведу; пользу от него вы вскоре увидите сами.

Слово «правительство» употребляется не в одинаковом смысле во всех странах, потому что государственный строй повсюду различен.

При монархии исполнительная власть соединена с суверенной властью, поэтому правительство есть не что иное, как сам суверен, который управляет с помощью министров, совета или других организмов власти, полностью зависимых от его воли. Иначе дело обстоит в республиках, и в особенности при демократии, где суверен никогда не действует сам. Здесь правительство есть исполнительная власть, совершенно отличная от власти суверенной.

Это различие важно при рассмотрении данных вопросов. Для того чтобы вникнуть в суть различия, следует внимательно прочитать две первые главы третьей книги «Общественного договора», где я постарался выяснить смысл выражений, которые так искусно оставляли неясным, дабы при случае придать им какое угодно значение. Правители республик вообще любят использовать язык монархий. Прячась за выражения, кажущиеся вошедшими в привычку, они мало-помалу умело заменяют слова вещами, которые эти слова означают. Это то, что весьма ловко проделал автор «Писем», истолковавший слово «правительство», само по себе не содержащее никакого пугающего смысла, в значении «осуществление суверенной власти»; этот смысл становится глубоко возмутительным, ибо эта власть приписывается Малому Совету.

И он еще менее скрывает свои мысли в другом отрывке, где после утверждения «Малый Совет и есть правительство» (что верно, если рассматривать слово «правительство» в значении подчинения) он осмеливается добавить, что в силу этого Малый Совет осуществляет власть, которой не наделены иные организмы государства, употребляя таким образом слово «правительство» в значении «суверенитет», как будто все организмы государства, и сам Генеральный Совет, учреждены Малым Советом: оно и понятно, ведь прикрываясь именно этим предположением, Малый Совет может присвоить только себе те полномочия, какими закон не наделяет никого в отдельности. Позднее я вернусь к этому вопросу.

Коль скоро эта двусмысленность выявлена, становится очевидным софизм автора. И действительно, сказать, что все религиозные вопросы находятся в ведомстве правительства — верное утверждение, если под словом «правительство» понимать законодательную власть, или суверена; но оно становится весьма ложным, если под ним понимать власть исполнительную, или власть магистрата; и в вашей республике никогда Генеральный Совет не вручал Малому Совету право в последней инстанции решать все вопросы, касающиеся религии.

Вторая двусмысленность — еще более утонченная, она подкрепляет предыдущую следующим образом: «Таково начало протестантизма, таково, в особенности, начало нашего государственного устройства, которое в спорных случаях наделяет Советы правом решать вопросы, касающиеся догматов». Это право, имеют ли место споры о религии или нет, бесспорно принадлежит Советам, а не Совету. Видите каким образом, убрав или добавив одну букву, можно изменить государственный строй!

Согласно началам, которые разделяют протестанты, нет иной церкви, кроме государства, и нет иного церковного законодателя, кроме суверена. И это бросается в глаза в особенности в Женеве, где Церковный Ордонанс получил от суверена ту же санкцию, что и гражданские эдикты.

Следовательно, под именем Реформации суверен предписал наставление в вероучении и порядок богослужения, который нужно соблюдать, и разделил между двумя организмами заботу о сохранении этого вероучения и богослужения в том виде, в каком они определены в законе. Одному вверены вопросы общественного образования, принятие решений о том, что соответствует или не соответствует установленной в государстве религии, выговоры и предупреждения на этот счет и даже религиозные наказания, в частности, отлучение. Закон возложил на другой организм заботу о его исполнении в этой части, как и во всякой другой, и гражданское наказание для тех, кто постоянно нарушает свой долг.

Когда установлено событие правонарушения и оно по своему характеру заслуживает наказания со стороны гражданской власти, только магистрат должен рассматривать жалобу и назначать наказание. Церковный суд изобличает виновного перед гражданским судом, и именно таким образом определяется круг обязанностей Совета.

Но если Совет пожелает вынести приговор, ставя себя на место богослова и решая, что является догматом, а что нет, или же когда консистория пожелает присвоить себе права гражданского правосудия, каждый из этих организмов выйдет за пределы круга своих обязанностей, оба не станут подчиняться закону и принявшему его суверену; но ведь даже в этом случае суверен не перестает быть законодателем по вопросам церковным и гражданским, и оба организма должны признать его таковым.

Магистрат всегда является судьей священнослужителей в том, что касается гражданских дел, но не в том, что касается догматов. Это дело консистории. Если бы Совет выносил приговоры в церкви, то у него было бы право отлучения, тогда как, напротив, его члены повинуются церкви. Забавное противоречие в моем деле заключается в том, что меня решили арестовать за заблуждения в догматах, но при этом меня не отлучили от церкви; Совет записал меня в число отступников, а консистория считает меня в числе правоверных. Разве это не странно?

Действительно, верно то, что если случатся распри между церковнослужителями и каждая сторона упрямо не пожелает пойти на соглашение ни самостоятельно, ни при посредничестве старейшин, в статье 18 сказано, что дело должно быть передано на рассмотрение магистрата, «дабы он навел порядок».

Но водворить порядок во время распри не значит установить догмат. Ордонанс объясняет условия, при которых следует прибегнуть к вмешательству магистрата, а именно: упорное нежелание одной из сторон. Однако благочиние в государстве, надзор за распрями, поддержание мира и все полномочия государственного управления бесспорно относятся к ведению магистрата. В этом случае он не станет выносить суждения в вопросах вероучения, но восстановит в собрании приемлемый порядок, с тем чтобы оно могло вынести свое решение.

И даже если Совет станет высшей судебной инстанцией в вопросах вероучения, ему все-таки непозволительно выворачивать наизнанку установленный законом порядок, указывающий, что консистории надлежит предварительно ознакомиться с этими вопросами; точно так же ему не позволено, хотя он и является высшим судом, принимать к рассмотрению дело до того, как оно будет рассмотрено в нижестоящих присутствиях.

В статье 18 ясно говорится, что, хотя в случае, если церковно-служители не могут прийти к согласию, дело следует передать на рассмотрение магистрата, которому следует водворить порядок, тем не менее нигде не говорится, что предварительное рассмотрение вопроса о вероучении должно быть отнято у консистории магистратом; нет ни одного примера присвоения такого права с момента возникновения республики\*. С чем, кажется, согласен и автор «Писем», утверждая, что в случае распри Советы вправе решать вопросы о догматах, ибо это означает, что они получают это право только после их изучения консисторией и не получают его в тех случаях, когда консистория не имеет возражений.

Эти различия между ведомством гражданских и церковных дел ясны и основаны не только на законе, но и на разумном суждении, и оба согласны в том, что судьи, от которых зависит участь лиц, должны решать ее не иначе как с учетом содеянного, установленных обстоятельств и доказанного состава преступления, а не на основании обвинений, столь же неопределенных, сколь и произ-

---

\* В XVI веке было много распрей вокруг предопределения, которые, конечно, являлись детской забавой, но их, как водится, не могли не превратить в важное государственное дело. А между тем решение по этому делу вынесли церковнослужители, и даже вопреки желаниям общества. Но, насколько мне известно, со времени издания Эдиктов Совет ни разу не осмеливался решать вопросы, касающиеся догмата, без участия церковнослужителей. Мне известно только одно постановление подобного рода, принятое Советом Двухсот. Это было в 1669 году по весьма важному делу об особой благодати. После долгих и бесполезных споров на церковных собраниях и в консистории проповедники оказались неспособны прийти к общему согласию и передали дело в Малый Совет, который ничего не решил. Дело принял к рассмотрению Совет Двухсот и вынес решение. Важный вопрос заключался в том, умер ли Иисус только ради спасения избранных или же ради спасения и грешников. После многочисленных заседаний и затхлых обсуждений Великолепный Совет Двухсот рассудил, что Иисус умер ради спасения избранных. Легко понять, что тут все зависело от благосклонности публики и что Иисус вполне мог умереть ради спасения грешников, если бы проповедник Троншен получил больше влияния, чем его противник. Все это, без сомнения, смехотворно, однако же можно сказать, что здесь речь не шла о догмате веры, но о единообразии в наставлениях к вере в государстве, блюсти которое есть, бесспорно, право правительства. К тому можно добавить, что этот чудесный спор возбудил такое любопытство, что весь город гудел. Но не это важно. Совет должен был утихомирить распри, не решая вопроса о догмате. Решение всех вопросов, которые ни для кого не имеют значения и в которых никто ничего не понимает, следует предоставить богословам.

вольных, каковыми являются обвинения в заблуждениях по поводу вопросов религии. И на какую безопасность могут рассчитывать граждане, если во множестве непонятных догматов, которые можно толковать по-разному, судья станет по прихоти выбирать тот, что станет поводом для обвинения или снятия ответственности, а обвиняемого либо осудят, либо оправдают?

Доказательства в пользу этого различия можно почерпнуть в установлениях государства, а оно не учредило бы бесполезное присутствие, поскольку, если бы Совет имел полномочия судить, в особенности в первой инстанции, по церковным вопросам, учреждение консистории оказалось бы ненужным.

Это доказательство можно найти в бесчисленном множестве мест в самом Ордонансе, где законодатель старательно различает властные полномочия двух этих чинов. И это различие стало бы вполне бессмысленным, если бы в осуществлении своих полномочий один из них оказался подчинен другому. Обратите внимание на статьи 23 и 24, уточняющие, за какие преступления наказывают по законам и относительно каких «предварительное расследование по праву принадлежит консистории».

Обратите внимание на заключительные строки статьи 24, которая указывает, что в последнем случае, после того как виновный изобличен, консистории надлежит представить доклад в Совет, сопроводив его собственным мнением. «С тем, — гласит Ордонанс, — чтобы судебное решение о наказании осталось за Сеньорией». Из этих слов нужно сделать тот вывод, что осуждение вероучения есть право консистории.

Посмотрите текст клятвы церковнослужителей, которые клянутся, со своей стороны, признать власть закона, повиноваться ему и магистратам в качестве его служителей, также приносящим клятву: это означает, что магистрат не действует в ущерб свободе церковнослужителей наставлять в вере так, как им велит Господь. Но какой бы оказалась эта свобода, если бы в силу закона и в части вероучения они должны были бы подчиняться не своему организму, а другому?

Примите во внимание на статью 80, в которой Эдикт предписывает консистории не только следить за общим и частным порядком в церкви и принимать меры против беспорядков, но он ради этого случая и создает консисторию. Есть ли смысл в этой статье или

нет? Носит ли она безусловный характер или характер условный? А учрежденная законом консистория является ли зависимой и подчиненной прихотям Совета?

Обратите внимание на статью 97 того же Ордонанса, согласно которой в случаях, требующих наказания граждан, сказано, что консистории после заслушивания сторон, сделав увещание и отлучив от церкви, надлежит доложить дело Совету, каковой «на основании ее доклада (заметьте повторение этого слова) должен принять решение в зависимости от характера дела». Посмотрите, что же следует из данной статьи, и не забудьте, что это слова суверена: «Ибо хотя совместны и не отделимы друг от друга такие вещи, как сеньория и власть, установленная над нами Господом и духовным руководством Его Церкви, их никоим образом не следует смешивать, поскольку тот, кто обладает всей полнотой власти и кому мы желаем безоговорочно оказывать повиновение, до такой степени желает, чтобы его признали творцом политического и духовного правления, что в особенности различает как предназначение того и другого, так и управление тем и другим».

Однако каким же образом эти два порядка управления следует отличать, если они находятся под общей властью законодателя, и один из них вправе посягать по своему почину на полномочия другого? Если во всем этом нет противоречия, то где же еще его можно усмотреть?

К статье 88, определенно предписывающей порядок расследования, который должно применять против тех, кто рассуждает о догматах, я бы добавил еще одну статью, не менее важную, а именно статью 53 под заглавием «О катехизисе», где предписывается, чтобы того, кто после сделанного ему внушения нарушит добрый порядок и продолжит упорно придерживаться своих взглядов, вызвали в консисторию, «и если он не внемлет сделанным предостережениям, то об этом следует поставить в известность Сеньорию».

Так о каком же добром порядке идет здесь речь? Об этом говорит название статьи: это порядок в вопросах вероучения, поскольку речь идет о катехизисе, который является их кратким изложением.

Впрочем, поддержание доброго порядка как такового есть право магистрата, а не церковного суда. Но обратите внимание, какую последовательность тут ввели! Во-первых, нужно предостеречь;

если виновный продолжает упорствовать, то его следует вызвать в консисторию; наконец, если он не желает подчиняться, то об этом надлежит доложить в Сеньории. В любом вопросе веры последней инстанцией являются Советы; таков закон; таковы все ваши законы. Хотел бы я найти какую-либо статью, какой-либо отрывок в ваших указах, в силу которого Малый Совет может присвоить себе право рассматривать дело в первой инстанции и разом превратить подобное правонарушение в предмет уголовного преследования.

Подобная последовательность рассмотрения дела не только противоречит закону, но и справедливости, здравому смыслу и обычаям. Во всех странах мира норма права требует, чтобы во всем, что касается наук или искусств, сначала обращались к преподавателям этой науки или к знатокам этого искусства, прежде чем выносить судебное решение; с какой стати магистраты в самой непонятной, в самой трудной из всех наук, когда речь идет о чести и свободе человека, гражданина, пренебрегают теми же мерами предосторожности, которые они принимают, когда речь идет о механических искусствах, о самой что ни на есть низменной выгоде?

И еще. Какой закон, какой эдикт противопоставят они стольким авторитетным законам, стольким доводам, доказывающим незаконность и неправомерность подобного расследования, дабы его оправдать? Единственный отрывок, который смог привести автор «Писем из деревни», это тот, где он поменял местами слова, чтобы исказить их смысл:

Пусть все предостережения церкви производятся таким образом, чтобы консистория ни в чем не посягала ни на власть Сеньории, ни на обычный порядок правосудия, и гражданская власть сохраняет свою полноту\*.

Но вот вывод, который он из этого делает: «Этот Ордонанс во все не имеет в виду, как думают сторонники Представлений, что священнослужители являются в этих вопросах судьями более естественными, чем Советы». Начнем с того, что употребим слово «совет» в единственном числе, и не без оснований.

\* Церковные Ордонансы. Ст. 97.

Но в каком же отрывке сторонники Представлений предполагают, что священнослужители являются в этих вопросах судьями более естественными, чем Совет? \*

Согласно эдикту, консистория и Совет являются естественными судьями, каждые по своему ведомству, один в вопросах вероучения, а другой в вопросах правонарушений. Таким образом, гражданская и церковная власть, каждая в отдельности, обладает собственными полномочиями, находясь всецело под властью суверена: но что же означает здесь само это слово «гражданская власть», если при этом не подразумевается иная власть? По мне, я не вижу в этом отрывке ничего из того, что меняет естественный смысл приведенных мною отрывков. Вовсе нет, строки, которые следуют далее, подтверждают их, указывая на обстоятельства, когда консистория должна провести расследование до того, как оно будет передано Совету. Этот вывод прямо противоположен тому, что желает сделать автор «Писем».

Но посмотрите, каким образом, не решаясь нападать на содержащиеся в Ордонансе выражения, он подвергает нападкам выводы, которые вытекают из него.

Заметно ли в Ордонансе намерение связать руки гражданской власти и обязать ее карать любое правонарушение, направленное против религии, только после того как о нем узнает консистория? Если дело обстоит так, то отсюда следовало бы, что позволительно безнаказанно писать против религии; ибо обвиняемый, делая вид, что изменил свое поведение, может всегда избежать наказания, и к тому, кто клеветает на религию повсюду, следовало бы относиться терпимо из-за его мнимого раскаяния.

Так, значит, для того чтобы избежать этого ужасного несчастья, этой возмутительной безнаказанности, автор не желает, чтобы за-

---

\* «Исследование и обсуждение этого вопроса, — говорят они на странице 42, — есть скорее право священнослужителей, а не Великолепного Совета»<sup>36</sup>. О каком же вопросе идет речь в этом отрывке? Это вопрос о том, не собрал ли я в своей книге под видом сомнения все то, что сможет подорвать, потрясти или уничтожить главные основания христианской религии. Автор «Писем», исходя из этого соображения, хочет приписать сторонникам Представлений мысль, согласно которой в этих вопросах священнослужители являются судьями более естественными, чем Советы. Они, без сомнения, являются более естественными судьями в вопросах богословия, но не в вопросах наказания, которое вынесено за допущенное правонарушение, и ничего такого сторонники Представлений не говорили и не объявляли во всеуслышание.

кон соблюдали буквально. Тем не менее через шестнадцать страниц все тот же автор утверждает следующее:

Политика и философия могут оправдать эту свободу писать все, что заблагорассудится; но наши законы это осуждают; однако речь идет о том, чтобы узнать, не противоречит ли нашим законам решение Совета, вынесенное против произведений господина Руссо, и распоряжение о его аресте, а не установить, согласуется ли то и другое с философией и политикой.

В другом месте этот автор, признавая, что осуждение книги не ведет к опровержению содержащихся в ней доводов и может даже предать их большей огласке, добавляет: «В этом отношении я вполне узнаю мои собственные правила в правилах, которых придерживаются сторонники Представлений. Но это не есть правила, заключенные в наших законах».

Сокращая и связывая воедино все эти отрывки, я нахожу в них приблизительно следующий смысл:

Хотя философия, политика и разум могут одобрить свободу писать все что заблагорассудится, в нашем государстве мы обязаны наказывать за эту свободу, потому что наши законы ее осуждают. Но, однако, не следует соблюдать наши законы буквально, потому что в таком случае не следовало бы наказывать за эту свободу.

По правде говоря, во всем этом я усматриваю Бог весть какую галиматью, которая меня коробит; однако автор кажется мне целовеком умным, а потому я склонен думать, что, изложив все это вкратце, я ошибся, правда, не могу понять, в чем именно. Сравните сами написанное на страницах 14, 22, 30, и вы увидите, прав ли я или нет.

Как бы то ни было, но в ожидании того, что автор укажет нам на другие законы, где не одобряются предписания философии и политики, вернемся к рассмотрению его возражений против закона, о котором идет речь.

Во-первых, из опасения, что правонарушение останется безнаказанным в республике, магистрату не только не позволено толковать закон в смысле большей строгости наказания, но ему также не позволено распространять его на правонарушения, в отношении которых он ничего определенного не говорит; нам известно, сколь-

ко виновных избегают наказания в Англии из-за незначительных тонкостей \* в законодательстве. «Всякий, кто более суров, чем закон, — говорит Вовенарг, — есть тиран».

Но давайте посмотрим, становятся ли последствия безнаказанности вроде правонарушений, о которых идет речь, столь ужасными, как это утверждает автор «Писем».

Чтобы правильно судить о духе закона, следует вспомнить о великом начале, заключающемся в том, что лучшие уголовные законы те, в которых наказания, налагаемые ими, вытекают из природы преступлений. Так, убийц следует наказывать смертью; воров — лишением имущества или же, если такового не имеется, лишением свободы, единственного достояния, остающегося у них. Таким же образом в случае правонарушений, касающихся только религии, наказания должны носить только религиозный характер; таково, например, лишение права приносить присягу в суде, когда это требуется; таково, кроме того, отлучение от церкви, являющееся здесь самым большим наказанием для того, кто лжеучительствовал о догматах, одобренных церковью, если, конечно, не считать случая передачи дела магистрату для применения гражданского наказания за гражданское правонарушение, если таковое произошло.

Однако следует еще раз вспомнить, что речь идет об Ордонансе (автор «Писем» и я говорим здесь только о простом правонарушении, направленном против религии). Если бы правонарушение имело сложный состав, как, например, если бы я напечатал свою книгу в государстве без разрешения, то, несомненно, я получил бы прощение от консистории, но не от магистрата.

Установив это различие, я еще раз возвращаюсь к этому вопросу и утверждаю: есть такое различие между правонарушением против

---

\* Поскольку в Женеве не существует в собственном смысле слова уголовных законов, магистрат произвольно налагает наказания за преступления, что является, конечно же, большим недостатком законодательства и серьезным поводом для злоупотреблений в свободном государстве. Однако эта власть магистрата распространяется только на преступления против естественного закона, признанные таковыми во всем обществе, или вещи, особо запрещенные положительным законом; но закон не позволяет себе ни придумывать мнимое правонарушение там, где его нет, ни нарушать установленный порядок расследования в отношении какого бы то ни было правонарушения из опасения, что виновный избежит наказания.

религии и гражданскими правонарушениями, которое заключается в том, что эти последние наносят ущерб людям и законам, и этот ущерб действителен, и ради безопасности общества обязательно потребуются возместить ущерб от него и наказать; однако прочие правонарушения являются лишь прегрешениями против Божества, которому невозможно причинить никакого ущерба и которое прощает раскаявшихся. Когда покой Божества не нарушается, то более не существует правонарушения, подлежащего наказанию, кроме греха, а грех искупается тем, что раскаяние передают огласке, как и сам факт вины. Христианское милосердие уподобляется таким образом божественному милосердию; и в этом случае было бы бессмысленно и нелогично мстить за религию со строгостью, ею не одобряемой. Человеческое правосудие не рассчитывает, да и не должно рассчитывать на раскаяние, я с этим согласен; и вот почему для того вида правонарушения, которое можно искупить раскаянием, Ордонанс предписывает, чтобы гражданский суд не принимал подобных дел к рассмотрению.

Ужасное неудобство, заключающееся, по мнению автора, в том, что следует оставлять безнаказанными, с точки зрения гражданского союза, правонарушения против религии, таковым в действительности не является, хотя автор склонен так думать, и вывод, который он при этом делает, согласно которому дух закона иной, неверен и противоречит тому, что закон говорит вполне определенно.

«Таким образом, каким бы ни было правонарушение против религии, — добавляет он, — обвиняемый, притворившись, что исправился, всегда сможет избежать наказания». Ордонанс не говорит «если притворяется, что исправился», но говорит: «если он примиряется с религией»; кроме того, имеются, как и во всяком другом случае, вполне определенные правила, руководствуясь которыми можно отличить действительное примирение от напускного, особенно в том, что касается внешних признаков его поведения, которые только и подразумеваются в словах: «если он примиряется».

И если преступник, поначалу примирившийся, затем снова впадает в грех, то он совершает новое, еще более тяжкое правонарушение и заслуживает более сурового наказания. Он — вероотступник, и средства наставления его на путь истинный суть более суровые. Совет, кроме всего прочего, может обратиться к примеру расследо-

ваний, проводимых инквизицией\*, и если автор «Писем» не одобряет свойственной ей мягкости, то он должен, по крайней мере, признать, что она проводит различие между этими случаями; ибо непозволительно относиться к преступнику заранее так, как будто бы он уже снова впал в грех, только из опасения, что он снова впадёт в грех.

Но именно на эти ложные выводы опирается этот автор, чтобы получить возможность утверждать, будто Эдикт в этой статье не ставил перед собой цель установить порядок расследования и определить правомочия судов. Так что же, по его мнению, говорится в Эдикте? А вот что.

Он хотел воспрепятствовать тому, чтобы консистория свирепо наказывала людей, которым вменялось в вину то, чего они, может быть, и не говорили, или чьи прегрешения преувеличены; он хотел, чтобы она не свирепствовала против этих людей, не пообщавшись с ними и не попытавшись их привлечь на свою сторону.

Но что означает: консистория свирепствует? Это означает: отлучает от церкви и передает преступника в Совет. Таким образом, из опасения, как бы консистория не отправила в суд Совета виновного без особых на то оснований, Эдикт сразу передает его дело в Совет. Это совсем другая мера предосторожности. Достоинно восхищения то, что в том же самом случае закон принимает столько мер, препятствуя консистории быстро назначить свирепое наказание, и он не принимает каких-либо мер с целью воспрепятствовать Совету сделать то же самое; что он уделяет столько внимания тому, чтобы не допустить клеветы, и при этом не уделяет никакого внимания тому, чтобы не допускать пытки; что он заботится о многом, дабы человека некстати не отлучили от церкви, и при этом нисколько не заботится о том, чтобы его некстати не сожгли, и он более опасается суровости священнослужителей и так мало опасается суровости судей! Учитывать значение религиозного общения верующих было, конечно, очень правильно; но неправильно не учитывать значение их безопасности, свободы, жизни; и та же самая религия, которая предписывала своим стражам столько снисхождения, не должна потворствовать варварству тех, кто за нее мстит.

Вот, тем не менее, по мнению нашего автора, существенный довод, почему Ордонанс не пожелал сказать того, о чем он умолчал.

\* См., к примеру, «Учебник для инквизиторов»<sup>37</sup>.

Я полагаю, что изложить его содержание означает вполне достаточно разъяснить этот довод. Перейдем теперь к тому, как применяются нормы Ордонанса; и это не менее любопытно, чем его толкование.

Статья 88 касается только тех, кто лжеучительствует о догматах, кто преподает, кто наставляет в них. Она вовсе не имеет в виду простого автора, человека, который всего лишь опубликовал свою книгу и, кроме того, удалился от дел. По правде говоря, это отличие кажется мне в какой-то мере тонким; ибо, как замечательно говорят сторонники Представлений, мы рассуждаем о догматах как письменно, так и устно. Но давайте не спорить об этой тонкости; и тогда мы обнаружим немало отличий, говорящих в пользу смягчения действия закона.

Во всех государствах мира блюстители порядка самым тщательным образом надзирают за теми, кто наставляет в догматах, преподает их, лжеучительствует о них: они доверяют эти полномочия только лицам, облеченным властью; не разрешается проповедовать даже правильное вероучение, если человек не принял сан проповедника. Слепленный народ падок на соблазн; человек, лжеучительствующий о догматах, собирает толпу и в скором времени может взбунтовать ее. Малейшее предприятие в этом отношении всегда считается наказуемым покушением в силу последствий, к которым оно может привести.

С автором книги дело обстоит иначе; если он научает чему-то, то уж совсем не собирает толпу и не пытается ее взбунтовать; он никого не принуждает его слушать или читать; он не пытается с вами сблизиться, он, так сказать, приходит только тогда, когда вы его сами позовете; он дает вам возможность размышлять над тем, что он вам говорит, и совсем не затевает споров, не воодушевляется, не упорствует, не разрешает ваши сомнения, не снимает ваши возражения, не преследует вас; вы не хотите с ним знаться, и он того не хочет; и, что особенно важно, он не обращается к народу.

Итак, ни одно правительство никогда не считало публикацию книги проступком со стороны наставника в догматах. В некоторых странах даже существует полная свобода печати; но нет ни одной страны, в которой всем позволено лжеучительствовать о догматах, как им заблагорассудится. В странах, где запрещено печатать книги без разрешения, те, кто ослушиваются, несут иногда за это наказание; однако доказательством в пользу того, что, в сущности, то,

о чем говорится в книге, не считают чем-то важным, является та легкость, с которой ввозят в страну те самые книги, что там не позволено печатать, чтобы никто не подумал, будто одобряют содержащиеся в них положения.

Все это так и есть, особенно для книг, написанных вовсе не для народа, каковыми всегда были мои книги. Я знаю, что ваш Совет утверждает в своих ответах, что, «согласно намерениям автора, “Эмиль” должен служить руководством для матерей и отцов»: но это утверждение неверно, поскольку я в предисловии и множество раз в самой книге писал о совершенно ином намерении. Речь идет о новых взглядах на воспитание, план которого я вынес на суд мудрых, а не о способе воспитания, предназначенном для отцов и матерей. О последнем я и не помышлял. Если иногда и кажется, что я, используя достаточно привычный оборот речи, обращался к ним, то либо для того, чтобы меня лучше поняли, либо для того, чтобы выразить мысли в немногих словах. Правда состоит в том, что я начал писать мою книгу по просьбе одной матери; однако эта мать, совсем юная и любезная, была не лишена философского склада ума, и ей было знакомо человеческое сердце; ее внешность — украшение женщины, а дарования — редкость. Именно ради женщин с ее складом ума я и взялся за перо, не ради господина такого-то и такого-то, не ради всех прочих господ подобной закваски, которые читают меня, не понимая, и оскорбляют меня, отнюдь тем не огорчая.

Из предположения, сделанного о подобном различии, следует, что если расследование, требуемое Ордонансом в отношении человека, который лжеучительствует о догматах, не применимо в отношении автора книги, то потому, что оно слишком сурово по отношению к этому последнему. Этот вывод, столь естественный, вывод, который вы и все мои читатели наверняка сделаете вместе со мной, вовсе не тот, что делает автор «Писем». Он делает вывод прямо противоположный. Следует послушать, что он говорит: вы бы ни за что мне не поверили, если бы я не привел вам его собственные слова.

«Достаточно лишь прочесть эту статью Ордонанса, и станет очевидно, что в нем подразумевается разряд лиц, которые в своих речах распространяют убеждения, считающиеся опасными. “И если эти люди примирятся с церковью, — говорится там, — пусть их не очерняют”. Почему? Да потому что есть разумная уверенность, что они больше не будут сеять эту сорную траву, и тогда их не следует

опасаться. Но какая разница, чистосердечен или нет отказ от своих слов того, кто печатно распространяет на весь мир свои мнения? Правонарушение совершено, оно останется таковым навсегда; и с точки зрения закона это правонарушение ничем не отличается от прочих, в которых раскаяние бесполезно с того времени, как правосудие в нем уличило».

Есть от чего прийти в волнение; но давайте успокоимся и порассуждаем. Покуда человек имеет возможность лжеучительствовать о догматах, он продолжает творить зло; и до того момента, как он исправится, его следует опасаться; его свобода сама по себе — зло, поскольку он использует ее, чтобы причинять вред, продолжая лжеучительствовать о догматах. Пусть он в конце концов исправится, неважно; ведь уроки, которые он преподнес, остаются действительными, и правонарушение совершено в полной мере. Напротив, как только книга опубликована, автор больше не причиняет зла, его причиняет только книга. Не важно, свободен ли автор или арестован, книга живет своей жизнью. Лишение автора свободы может быть наказанием, назначенным законом; но оно никогда не станет ни средством исправления зла, совершенного им, ни средством остановить его распространение.

Таким образом, лекарства против этих двух зол суть разные. Чтобы устранить источник зла, заключенный в ложном учении о догматах, не существует иного более быстрого и надежного способа, кроме ареста: но арестовать автора означает ничего не исправить; напротив, это означает сделать книгу более популярной и, как следствие, усугубить зло, как на этот счет очень правильно замечает автор «Писем» в другом месте. И это не предварительное расследование, предшествующее основному, не необходимые в подобном случае меры предосторожности, но наказание должно понести лишь в силу судебного решения, и польза от него сводится к каре виновного. Если только его правонарушение не является гражданским правонарушением, то сначала следует провести с ним беседу, предупредить, убедить, призвать его исправить причиненное им зло, призвать его прилюдно отказаться от своих слов, сделать так, чтобы этот отказ стал чистосердечным и произвел свое действие, и заставить его поступить таким образом, чтобы его новые мнения переубедили тех, кого ввели в заблуждение мнения, высказанные ранее. В случае же если он не исправится, если он

упорствует в ошибке, тогда только надлежит поступить с ним по всей строгости. Именно так по-хорошему следует вести дело, и такова цель закона; такова цель мудрого правительства, «которое должно в большей мере стремиться воспрепятствовать распространению влияния его произведения, чем подвергать автора наказанию».

Да разве это правительство не проявит мудрость в отношении автора книги, раз Ордонанс, согласный во всех отношениях с духом христианства, даже не подразумевает арест того, кто лжеучительствует о догматах, до того как будут использованы все возможные средства, чтобы обратить его к исполнению долга? Согласно его статьям, не так страшна опасность того, что он будет продолжать творить зло, как пренебрежение милосердием. Объясните, пожалуйста, каким образом из этого можно заключить: этот самый Ордонанс требует, чтобы первым делом выдали постановление об аресте автора?

Тем не менее автор «Писем», заявив, что обнаружил достаточно правил на этот счет в правилах, которые разделяют сторонники Представлений, добавляет: «Но эти правила не являются правилами, почерпнутыми из наших законов»; и мгновенье спустя он добавляет еще: «Те, кто склоняется к безусловной терпимости, могли бы всего-навсего подвергнуть Совет критике за то, что тот замалчивает закон, применение которого не кажется ему уместным в данном случае». Этот вывод должен вызвать удивление: после стольких усилий, предпринятых для доказательства того, что единственный закон, который, как кажется, следует применить для наказания за мое правонарушение, нет нужды применять. То, за что упрекают Совет, заключается отнюдь не в том, что он замалчивает существующий закон, но в том, что он заставляет говорить не существующий закон.

Логика, используемая автором, кажется мне невиданной. А что вы об этом думаете сударь? Много ли вам известно доводов следующего вида?

Закон заставляет Совет сурово поступать в отношении автора книги.

И какой же закон заставляет Совет сурово поступать по отношению к автору книги?

По правде говоря, он не существует; однако существует другой, предписывающий снисходительное отношение к тому, кто лжеучительствует о догматах и, как следствие, предписывает суровое обхождение с автором, о котором этот закон вообще не упоминает.

Это рассуждение выглядит еще более странным в глазах того, кто знает, что Морелли судили как автора книги, а не как того, кто лжеучительствовал о догматах: он тоже написал книгу, и его за это обвинили. Состав преступления, по мысли нашего автора, заключался в самой книге; показания автора не нужно было заслушивать в суде; однако их заслушали, и не только заслушали, но ждали его прихода; они скрупулезно провели следствие, предписанное этой самой статьей Ордонанса, которая гласит, что не следует обращать внимание ни на книги, ни на автора. Они даже сожгли книгу только после бегства автора; никто не выдавал приказов о его аресте, о палаче и речи не шло\*; наконец, все это было сделано составителями Ордонанса на глазах у законодателя в то самое время, когда этот Ордонанс только что был принят и когда царила та самая суровость, которая, по мнению нашего безымянного автора, побудила к его составлению и на которую он ссылается весьма ясно, оправдывая суровость, проявленную ныне в отношении меня.

Кроме того, посмотрите, какое различие он проводит. Рассказав о том, как мягко обошлись с Морелли, о времени, которое ему дали на исправление, о медленном и скрупулезном расследовании, проведенном в отношении его поступка до того, как сожгли его книгу, он добавляет: «Весь этот порядок расследования благоразумен. Однако можно ли отсюда заключить, что во всех случаях, и в случаях

---

\* Добавьте к этому осторожность магистрата во всем этом деле, медленное и постепенное расследование, доклад консистории, торжественность принятия судебного решения. Синдики входят в судебное присутствие, они взывают к имени Божию, перед ними — Святое Писание; по зрелому рассуждению, выслушав и приняв во внимание советы граждан, они объявляют народу свое решение, чтобы тот знал его основания; они напечатали и обнародовали свое решение, и все это было сделано, чтобы просто осудить книгу, а не ради того, чтобы опозорить ее автора, выдав приказ о его аресте, хоть он и упорствовал в своих заблуждениях и не явился в суд. С тех пор эти господа научились менее церемонно обходиться с честью и свободой людей, и в особенности граждан; ибо следует заметить, что Морелли гражданином не был.

весьма различных, было бы необходимо его использовать? Должно ли вести судебное дело против отсутствующего человека, покушающегося на религию, точно так же, как в отношении присутствующего человека, осуждающего предписания церкви?» Иными словами, это означает: «должно ли вести судебное дело против человека, который совсем не нападает на законы и живет вне их юрисдикции, с той же мягкостью, что и против человека, живущего под их юрисдикцией и на них покушающегося?» В самом деле, как представляется, вопрос не в этом. Я уверен, что никогда раньше в человеческий ум не приходила мысль усугубить наказание виновного только по той причине, что преступление было совершено им вне пределов государства. «По правде говоря, — продолжает он, — авторы Представлений замечают, что в пользу господина Руссо говорит то, что Морелли писал против предписаний церкви, тогда как книги господина Руссо, по мнению судей, направлены против религии. Но хотя с этим замечанием согласны далеко не все, и те, кто считает религию творением Божиим и опорой государственного устройства, рассудили бы, что в меньшей степени разрешено нападать на религию, чем на предписания церкви, которые, будучи всего лишь творением людей, могут содержать ошибки или, по меньшей мере, отличаться бесконечным разнообразием видов и составов».

Эта речь, я это признаю, кажется мне более уместной в устах монаха, но неприятно поразила меня, коль скоро она вышла из-под пера магистрата. Какое значение имеет то, что замечание сторонников Представлений одобряют не все, если те, кто его оспаривает, просто-напросто неверно рассуждают?

Нападки на религию, несомненно, больший грех перед Богом, чем нападки на предписания церкви. Но иначе дело обстоит в суде человеческом, созданном для того, чтобы наказывать за преступления, но не за прегрешения: он творит возмездие не за Господа, а за нарушение законов.

Религия не может быть составной частью законодательства, кроме как в отношении человеческих поступков. Закон предписывает совершать действия или воздерживаться от них; но он не может приказывать верить. Таким образом, тот, кто вообще не совершает нападков на религиозные обряды, вовсе не нападает и на закон.

Однако церковное благочиние, установленное законом, является, в сущности, составной частью законодательства; это благочиние

само становится законом. Тот, кто нападает на религию, нападает и на закон, стремится уничтожить государственный строй. И хотя этот строй, до того как он установлен, отличается бесконечным разнообразием видов и составов, является ли он по этой причине менее уважаемым и священным, когда принимает один из этих видов, отличный от других; с этих пор не становится ли политический закон столь же постоянным и столь же твердо установленным, как и закон Божий?

Те, кто не согласен в этом деле с замечанием сторонников Представлений, были бы не правы еще и потому, что это замечание сделал сам Совет в приговоре против книги Морелли, которую он обвинял, в частности, «в стремлении внести раскол и нарушить спокойствие в государстве путем мятежа»; обвинение это трудно выдвинуть против моей книги.

Все то, что гражданские суды обязаны защищать, касается Господа, а не людей; на них возложено попечение не о душах, а попечение о лицах; они являются подлинными хранителями государства, но не хранителями Церкви; и если они вмешиваются в дела религии, то только в той мере, в какой эти дела относятся к ведомству законов и в какой они важны для поддержания надлежащего порядка и общественного спокойствия. Вот разумные правила, предписанные магистратам. И это, если угодно, учение не о безграничной власти, а о правосудии и разуме. Если когда-нибудь в гражданских судах от них отступят, то в стране возникнут самые пагубные злоупотребления, волнения, а законы и их власть превратятся лишь в самое отвратительное мошенничество. Мне досадно за народ города Женевы, что Совет достаточно часто пренебрегает ими, пытаясь обольстить его подобными речами, которыми не обманешь даже самых ограниченных и самых суеверных жителей Европы. Относительно этой статьи Ордонанса ваши сторонники Представлений рассуждают как государственные мужи, а ваши магистраты — как монахи.

Чтобы доказать, что пример Морелли не является правилом в моем случае, автор «Писем» противопоставляет расследование против него расследованию, которое в 1632 году учинили в отношении Николя Антуана<sup>38</sup>, бедного безумца, приговоренного Советом к сожжению ради спасения его души по настоянию пасторов. Некогда эти аутодафе были нередки в Женеве; и, кажется, ради меня эти господа были бы не прочь их возродить.

Начнем все же с того, что приведем точные выдержки, не подражая способу рассуждений моих гонителей.

Давайте рассмотрим процесс Николая Антуана. Церковный Ордонанс уже существовал, и прошло немного времени с тех пор, как он был составлен, и понять его смысл было нетрудно: было ли дело Антуана передано в консисторию? Однако среди стольких голосов, поднявшихся против этого кровожадного приговора, и среди стольких усилий, приложенных людьми гуманными и умеренными для его спасения, хоть один голос возражал против правомерности расследования? Морелли вызвали в консисторию, Антуана нет; вызов в консисторию, таким образом, в обоих случаях не был обязательным.

Вы полагаете, что Совет сразу повел дело против Николая Антуана так же, как он провел его против меня, и что, значит, речь не шла ни о консистории, ни о священнослужителях: вскоре вы это увидите.

Во время одного из припадков бешенства Николая Антуан был на грани того, чтобы броситься в Рону, и магистрат определил забрать его из его городского жилища, где тот находился, чтобы поместить в лечебницу, где его лечили врачи. Он оставался там в течение некоторого времени, выкрикивая различные богохульства против христианской религии. «Священнослужители посещали его каждый день и пытались заставить его отказаться от заблуждений, поскольку его ярость, казалось, немного утихла; это не возымело своего действия, поскольку Антуан сказал, что он будет упорствовать в своих суждениях до самой смерти и готов пострадать во имя славы великого Бога Израиля. Не преуспев в своем деле, священники поставили в известность об этом Совет и описали его еще хуже, чем Сервета, Жантилиса<sup>39</sup> и всех прочих противников догмата о единосущной Троице, сделав вывод, что его следует заключить под стражу; так и поступили».

Вы понимаете, почему его не вызвали в консисторию: потому что, будучи тяжело больным и находясь на руках у врачей, он не мог перед ней предстать. Но если он не пошел в консисторию, то консистория или ее члены ходили к нему; священнослужители посещали его каждый день, увещевали его. Наконец, ничего не добившись от него, они изобличили его в Совете, охарактеризовав его еще хуже, чем тех, кого наказали смертью, а затем потребовали, чтобы его заключили в тюрьму; и по их требованию это и было исполнено.

Даже в тюрьме священнослужители прилагали все усилия,ставляя его на путь истинный, вступали с ним в спор относительно различных отрывков Ветхого Завета и заклинали его самым трогательным образом, какой только могли придумать, чтобы он отказался от своих заблуждений\*; но тот твердо стоял на своем. Он остался тверд перед лицом магистрата, который подверг его обычному допросу. Когда встал вопрос о том, как решить это дело, магистрат еще раз посоветовался со священнослужителями, явившимися в Совет в количестве пятнадцати человек; среди них были и пасторы, и профессора университета. Их мнения разделились, но согласились с мнением большинства, и Николая казнили. Таким образом, получается, что процесс оказался полностью церковным и Николая был, можно так сказать, сожжен руками священнослужителей.

Таков был, сударь, порядок расследования, во время которого, как уверяет нас автор «Писем», Николая не вызвали в консисторию, из чего он заключает, что этот вызов не всегда является обязательным. Кажется ли вам удачным этот пример?

Предположим, что он таковым и является, но что же из него следует? Сторонники Представлений делали вывод, приняв во внимание факты, и тем подтверждали наличие закона. Автор «Писем» сделал вывод, рассматривая факты, вопреки закону. Если весомость каждого из этих фактов опровергает другой, то закон сохраняет полную силу. Закон этот, хотя его однажды и нарушили, является ли по этой причине двусмысленным? И достаточно ли хоть раз его нарушить, чтобы получить право нарушать его всегда?

Давайте сделаем вывод в свой черед. Если я лжеучительствую о догматах, то мой случай, конечно же, подпадает под действие закона; если же я не лжеучительствую о догматах, то в чем меня можно упрекнуть? Нет закона, который высказался бы на мой счет\*\*.

---

\* Если бы он заявил, что раскаялся, то его все равно бы сожгли? Согласно убеждениям автора «Писем», так и следовало поступить. Тем не менее, как мне кажется, его не сожгли бы, поскольку, несмотря на его упрямство, магистрат постоянно запрашивал мнение пасторов. Он считал Антуана находящимся до некоторой степени в юрисдикции пасторов.

\*\* Ничто из того, что не противоречит природному закону, не становится преступным, кроме случаев, когда это запрещено каким-либо положительным законом. Это замечание ставит целью дать понять поверхностным мыслителям, что моя дилемма точна.

Ведь, таким образом, был нарушен существующий закон или предполагали наличие несуществующего закона.

Допустим, что, осуждая сочинение, не осудили окончательно автора: был всего-навсего издан указ о его аресте, а это не имеет значения. Тем не менее мне это кажется жестоким, но давайте никогда не проявлять несправедливость даже по отношению к тем, кто несправедлив по отношению к нам, и постараемся, насколько это возможно, сами быть справедливыми. Я нисколько не упрекаю ни Совет, ни даже автора «Писем» за то различие, которое они проводят между человеком и его книгой, дабы снять с себя вину за то, что меня осудили, так и не заслушав в суде. Судьи могли рассматривать вопрос в том свете, в каком им его представили; таким образом, здесь я их не обвиняю ни в мошенничестве, ни в вероломстве; я их обвиняю только в том, что они ошиблись в отношении меня в одном очень важном пункте: но ошибиться, освободив от наказания, — вещь простительная; а вот ошибиться и при этом наказать есть ошибка куда более серьезная.

В своих ответах Совет утверждал, что, несмотря на клеймо позора на моей книге, у меня оставалось полное право защищать мою личность и возражать.

Авторы Представлений отвечают, что они не понимают, какие возражения и средства защиты остаются в руках у человека, объявленного безбожником, безрассудным, грешником, книги которого, опубликованные под его именем, заклеены рукой палача.

«Вы предполагаете то, чего на самом деле не существует, — возражает на это автор “Писем”, — а именно: что приговор касается того, чье имя значится на произведении: но этот приговор его еще не коснулся; все возражения и средства защиты остаются в полном его распоряжении».

Вы сами ошибаетесь, сказал бы я этому писателю. Верно то, что приговор, осудивший и заклеивший книгу, еще не затрагивает жизнь ее автора; но он уже погубил его честь; возражения и средства защиты остаются в его полном распоряжении в том, что касается телесного наказания; но он уже понес наказание позорящее: он уже заклеен и обещен, насколько судьям удалось это сделать; и единственное, что осталось им, — решить, сжечь его или нет.

Различие между автором и книгой здесь бессмысленно, поскольку книгу невозможно наказать. Книга не является сама по себе ни безбожной, ни безрассудной; эти эпитеты могут относиться

только к учению, содержащемуся в ней, точнее, к ее автору. Когда сжигают книгу, то что при этом делает палач? Разве он бесчестит страницы книги? Кто-нибудь слышал, что книга имеет честь?

Вот заблуждение; а вот его источник — плохо понятый обычай.

Люди пишут много книг; но мало пишут книг с искренним желанием стать лучше. Из сотни произведений, выходящих в свет, по крайней мере шестьдесят заключают в себе стремление к выгоде или честолюбие. Тридцать прочих, внушены предвзятостью, дышат ненавистью, несут на люди под покровом анонимности яд клеветы и насмешки. Может быть, десяток книг, да и это много, написаны с добрыми намерениями: в них говорят правду, которую знают, и взыскуют добро, которое любят. Да. Но кто же тот человек, кому простят то, что он сказал правду? Нужно ли скрывать свое имя, чтобы ее высказать? Чтобы безнаказанно принести пользу, люди выпускают книгу в свет и исчезают.

Из этих книг немногие — плохие, а почти что все хорошие по навету запрещены судами: причина сего очевидна, и не нужно ее объяснять. Причем это все — условность, к которой прибегают для того, чтобы не оказывать молчаливой поддержки этим книгам. А в остальном — главное, чтобы на книгах не стояли имена авторов, хотя все их знают и называют, главное, чтобы они не были известны магистрату. Принято даже признавать авторство книг, стремясь снискать себе почести, и не признавать его, тем обезопасив себя; один и тот же человек назовет себя автором или не назовет в присутствии одного и того же человека, в зависимости от того, встретится ли он с ним на судебном заседании или на званом ужине. То есть, он скажет «да» или «нет» без всяких затруднений, без лишней щепетильности. Таким образом, тщеславие ни во что не ставит безопасность. Здесь автор «Писем» упрекает меня в отсутствии осторожности и ловкости, которая, впрочем, как мне кажется, не требует слишком большого ума.

Этот способ преследовать книги, напечатанные без имени автора, авторов которых и знать не хотят, стал обычаем в наших судах. Когда хотят сурово обойтись с книгой, то ее сжигают, поскольку никого не вызывают в суд и поскольку вполне понятно, что автор, скрывающий свое имя, не спешит признать свое авторство, кроме случаев, когда он хочет вечерком посмеяться по поводу розыска, объявленного против него сегодня утром. Таков обычай.

Но как только какой-нибудь неопытный автор, а именно автор, осознающий свой долг и желающий его исполнить, считает себя обязанным говорить людям только то, что он готов признать, назвав свое имя, и, не скрываясь, держать ответ, вот тогда справедливость, которая не должна наказывать за неопытность человека чести, требует, чтобы расследование проводилось иначе; она требует, чтобы никоим образом не отделяли судебное дело о книге от судебного дела в отношении человека, поскольку тот заявляет, ставя свое имя, что не желает отделять одно от другого; она требует, чтобы произведение, которое не может держать ответ в суде, судили только после того, как заслушают автора. Таким образом, несмотря на то что осуждение книги без имени автора есть только осуждение книги, осуждение книги, носящей имя автора, есть осуждение самого автора; и когда ему не дают никакой возможности держать ответ — это означает судить без вызова в суд.

Предварительный вызов в суд и даже, если угодно, постановление об аресте является в этом случае совершенно необходимым, прежде чем приступить в суде к рассмотрению дела о книге; и совершенно напрасно утверждать вместе с автором «Писем», что правонарушение, очевидно, заключается в публикации книги: все это никоим образом не освобождает от обязанности соблюдать порядок рассмотрения дела в суде, принятый при исследовании самых серьезных преступлений, наиболее явных и вполне засвидетельствованных. Ибо если бы весь город увидел, что один человек убил другого, то убийцу не стали бы судить, не заслушав его в суде или не предоставив ему такой возможности.

И с какой стати эта смелость автора, не скрывающего свое имя, оборачивается против него? Не заслуживает ли она, напротив, уважения? Не должна ли она внушать судьям больше осмотрительности, чем в случае, если бы он скрывал свое имя? Рассматривая щекотливые вопросы, зачем ему таким образом было бы ставить себя под удар, если он не чувствовал себя в полной безопасности благодаря доводам, которые он мог бы привести в свою защиту и которые, как можно предположить, принимая во внимание его поведение, заслуживают того, чтобы к ним прислушались? Напрасно автор «Писем» назовет это поведение неосторожностью или оплошностью, оно от этого не перестает быть поведением человека чести, соблюдающего свой долг там, где остальные видят лишь неосторожность, понимающего, что ему не следует опасаться, что кто-то

захочет поступить с ним по справедливости, и считающего обновление мыслей, авторство которых не желают признавать, трусостью, заслуживающей наказания.

Если вопрос заключается лишь в добром имени автора, то какая необходимость ставить свое имя на книге? Кто не знает, как люди берутся за дело, чтобы при этом не потерять честь, ничем при этом не рискуя, похвалиться своим поступком, не неся за него ответственности, принимая смиренный вид, за которым скрывается тщеславие? Кому из авторов известного полета не знакомы подобные проделки? Кто из них не знает, что назвать свое имя значит унижить собственное достоинство, как будто никто не догадается, прочитав произведение, кто тот великий человек, который его создал?

Однако эти господа заметили в моем поведении знакомый обычай; и далекие от того, чтобы увидеть в этом исключение из правил, свидетельствующее в мою пользу, они сделали так, чтобы оно обернулось против меня. Им следовало сжечь книгу без упоминания автора или же, если они поставили ее в упрек автору, подождать, пока он явится в суд, или осудить его заочно, а потом книгу сжечь. Но нет; они сжигают книгу так, как если бы ее автор был никому неизвестен, и издают постановление об его аресте так, словно книгу не сжигали. Издать постановление о моем аресте после того, как меня оклеветали! Чего же они еще хотят от меня? Что еще более худшее они приготовили для меня в дальнейшем? Или им не известно, что честь порядочного человека для него дороже жизни? Какое большее зло они задумали ему причинить, раз уж начали с того, что его заклеямили позором? Зачем мне заявлять перед судьями о моей невиновности, когда то, как они со мной обошлись, еще не выслушав меня, является более жестоким наказанием, чем то, которому можно было бы меня подвергнуть, будь я осужден как преступник?

Начали с того, что стали ко мне относиться как к злодею, который и честь уже потерял и которого отныне можно подвергнуть только телесному наказанию; а потом они безмятежно заявляют, что за мной остаются все возможности возражать и средства защиты! Однако каким образом все это смочет бесчестье и зло, а их с самого начала мне предстоит претерпеть как автору книги и как человеку, когда лучники<sup>40</sup> проведут меня по улицам, когда к болезням одолевающим меня, позаботятся добавить тяготы тюремного заключения! Так вот как! Ради того, чтобы быть справедливым, должно поместить в один и тот же разряд и одинаково обходиться со

всеми людьми, совершившими ошибки? Следует ли для начала, словно злодея, заключить в тюрьму безупречного гражданина за чистосердечный поступок, который назвали оплошностью? И какое преимущество будет в глазах судей давать уважение общества и порядочность на протяжении целой жизни, если пятьдесят лет честной жизни без малейшего упрека \* не спасают человека от оскорблений?

Довод о сравнении «Эмиля» и «Общественного договора» с другими произведениями, к которым относились терпимо, и тот упрек в пристрастном отношении, что, пользуясь случаем, бросили Совету, не кажутся мне обоснованными. Было бы неправильно рассуждать так, словно правительство обязано всегда скрывать свои мысли потому, что оно однажды якобы это сделало: если это — небрежность, то ее можно исправить; если это было умолчание в силу некоторых обстоятельств или политических соображений, то не вполне справедливо на этом основании его упрекать. Я далек от того, чтобы оправдывать произведения, перечисленные в Представлениях; но, по совести, разве не существует различий между книгами, где имеют место разрозненные и бестактные уколы в адрес религии, и книгами, где без обиняков, беспощадно нападают на нее и ее догматы, на мораль, на то влияние, которое она производит на гражданское общество? Давайте же беспристрастно сравним эти произведения, давайте судить о них по тому впечатлению, которое они произвели на всех: одни печатаются и распродают везде; известно, какой прием там был оказан иным книгам.

Я счел своим долгом для начала привести этот параграф полностью; теперь я снова вернусь к его рассмотрению, но уже по частям: он немного заслуживает отдельного рассмотрения.

---

\* При тщательном исследовании можно было бы опровергнуть множество предположений, которые автор «Писем» якобы собрал против меня. Например, он утверждает, что принятые к рассмотрению суда книги выходили в том же самом формате, что и прочие мои произведения. Правда заключается в том, что их напечатали в восьмую и двенадцатую долю листа: в каком формате выходят книги прочих авторов? Он добавляет, что они были напечатаны тем же самым книгоиздателем; а вот это — неправда. «Эмиль» был напечатан не моим книгоиздателем и шрифтом, который не встречается в публикациях моих сочинений. Таким образом, замечание, основанное на этом сравнении, ко мне не относится, одно оно уже содержит мое оправдание.

Чего только не печатают в Женеве! К чему только там терпеливо не относятся! Произведения, при чтении которых едва сдерживаешь возмущение, продаются там свободно; все их читают, всем они нравятся; магистрат молчит, священники улыбаются; суровый вид уже не в ходу. Один только я и мои книги заслужили порицание Совета; и какое порицание! Нельзя даже и представить себе что-то более жестокое и более ужасное. Бог мой! Я никогда и не думал, что я — самый отъявленный злодей!

«Сравнение “Эмиля” и “Общественного договора” с другими произведениями, к которым относились терпимо <...> не кажется мне обоснованным». Ах! Я на это надеюсь.

«Было бы неправильно рассуждать, что правительство обязано всегда скрывать свои мысли». Допустим; но примите во внимание время, обстоятельства, лица; примите во внимание сочинения, мысли о которых скрывают, и сочинения, выбранные для того, чтобы их не скрывать; примите во внимание авторов, чествуемых в Женеве, и посмотрите на тех, кого там преследуют.

«Если это — небрежность со стороны правительства, то ее можно исправить». Можно было так и сделать, и даже должно, но ведь так не сделали! Эти сочинения и их автора заклеили позором незаслуженно, а к тем, кто это заслужил, относятся не менее терпимо, чем прежде. Исключение сделано только для меня одного.

«Если это умолчание в силу некоторых обстоятельств или политических соображений, то не вполне справедливо на этом основании бросить ему упрек». Если вас вынуждают терпимо относиться к сочинениям, достойным наказания, то сообразуйте терпимо относиться к тем, которые таковыми не являются. Приличия требуют, чтобы по крайней мере от народа скрывали это неприличное отношение к лицам: наказывают слабого и невинного за ошибки сильного и виноватого. Ну и ну! Являются ли доводами эти позорные различия и будут ли с их помощью и в дальнейшем обманывать людей? Не скажут ли в таком случае, что участь немногих непристойных сатиров в глазах властителей важнее и что ваш город будет уничтожен, если в нем не станут терпимо относиться, не будут печатать и свободно продавать произведения, которые запрещены на родине их авторов?<sup>41</sup> Народы! Как же часто вас в этом уверяют, прибегая к вмешательству держав<sup>42</sup>, дабы узаконить зло, о котором они ничего не знают и которое хотят от их имени позволить творить!

Когда я приехал в этот край, можно было подумать, что все королевство Франции гналось за мной по пятам: мои книги сжигают в Женеве с целью угодить Франции; здесь объявляют о моем аресте: Франция тоже этого хочет; меня изгоняют из Бернского кантона: Франция этого потребовала; меня преследуют вплоть до этих гор; если бы меня смогли изгнать и отсюда, то это было бы опять по настоянию Франции. Я вынужден написать оправдательное письмо под грузом тысячи оскорблений. На этот раз все пропало. Я находился в тисках, под надзором. Франция посылала своих шпионов следить за мной, своих солдат, чтобы меня похитить, разбойников с целью меня убить; даже выходить за дверь стало опасно. Все опасности исходили от Франции, от парламента, от духовенства, даже от двора; никогда в жизни бедный бумагомаратель, на беду свою, не становился столь значимым лицом. Устав совершать глупости, я еду во Францию; я знал французов, и в их обществе я был несчастлив! Меня принимают, я обласкан тысячью любезностей, и лишь от меня зависело пользоваться ими еще дольше. Я спокойно возвращаюсь к себе домой. Люди были просто изумлены, глазам своим не верили, осуждали мое легкомыслие, но мне перестали угрожать Францией. Они правы. Если когда-нибудь убийцы соизволят положить конец моим страданиям, то, конечно же, они явятся не из этой страны.

Я нисколько не ошибаюсь насчет различных причин моих напастей; я достаточно умею отличать те из них, которые являются следствием обстоятельств, следствием печальной необходимости, от тех, которые проистекают исключительно от ненависти моих врагов. Ну, дай Бог, чтобы у меня этих врагов в Женеве было не больше, чем во Франции, и чтобы в ней они не оказались более непримиримыми! Сегодня всем известно, откуда наносили по мне наиболее чувствительные удары. Люди в ваших краях упрекают меня самого в моих бедах, как будто они не приложили к этому руку. Какая коварная жестокость — предъявлять мне обвинения за преступления в Женеве на том основании, что против меня возбудили преследования в Швейцарии<sup>43</sup>, и обвинять меня в том, что меня нигде не принимают, изгоняя отовсюду? Должен ли я винить дружбу, позвавшую меня в эти края, за то, что они находятся по соседству с ней? Смеем призвать в свидетели все народы Европы: есть ли хоть один народ, за исключением швейцарцев, где меня не принимали бы с почестями? Тем не менее должен ли я сетовать, избрав себе убежище? Нет, несмотря на столько жестокостей и оскорблений,

я больше выиграл, чем проиграл; я встретил человека, великую и благородную душу. О, Джордж Кейт! Мой покровитель, мой друг, мой отец! Где бы вы ни были, где бы я ни окончил мои грустные дни, и даже если я никогда в жизни больше вас не увижу, нет, я никогда не упрекну небо в моих несчастьях: благодаря им я заслужил Вашу дружбу.

Но, по совести, разве не существует различий между книгами, где имеют место разрозненные и бестактные уколы в адрес религии, и книгами, где без обиняков, беспощадно нападают на нее и ее догматы, на мораль, на то влияние, которое она производит на гражданское общество?

По совести!.. Не стоит напоминать о совести такому безбожнику как я... особенно в присутствии этих добрых христиан... таким образом, я умолкаю... однако это странная совесть заставляет магистратов говорить: «Мы охотно терпим богохульство, но мы не терпим, когда лжеучительствуют!» Давайте, сударь, не станем принимать во внимание это различие, ведь размышляя именно таким образом, афиняне аплодировали кощунственным речам Аристофана и казнили Сократа.

Одно только вызывает у меня доверие к установленным мною началам, а именно: возможность найти им верное применение в тех случаях, которые я менее всего мог предвидеть; о таком случае здесь идет речь. Одно из правил, вытекающих из исследования, которое я провел о религии и о существенно важном в ней, есть то, что людям позволительно вмешиваться в верования другого человека лишь в вопросах, затрагивающих только их; отсюда следует, что они никогда не должны наказывать за оскорбления Господа \*, который

\* Заметьте, что я не употребляю выражение «оскорбить Бога» в обычном значении, хотя я и очень далек от мысли согласиться с его употреблением в прямом значении и нахожу это неуместным; как будто любое существо, кем бы оно ни было, человеком, ангелом, даже дьяволом, в состоянии оскорбить Господа! Слово, которое мы переводим как «оскорбление», является переводом, как и все остальное в Священном Писании; этим все сказано. Люди, запудрившие себе голову богословием, перевели и исказили эту замечательную книгу в угоду своим недостойным мыслям; и так они поощряют безумства и фанатизм народа. Я нахожу крайне благоразумной сдержанность Римской церкви во всем, что связано с переводами Писания на доступный народу язык; и если уж нет необходимости все время обращать внимание народа на сладострастные созерцания «Песни Песней», ни на постоянные проклятья Давидовы в адрес его врагов, ни на тонкости в текстах свято-

может сам за них наказать. «Следует почитать Божество и никогда не мстить за него», — говорят сторонники Представлений вслед за Монтескье: и они правы. Тем не менее, смешные, оскорбительные, грубые, кощунственные речи, богохульства, направленные против религии, подлежат наказанию, но ни в коем случае не следует наказывать за рассуждения. Почему же? Потому что в первом случае нападкам подвергается не только религия, но и те, кто ее исповедует; уязвляют их чувства, бесчинствуют во время богослужения, выказывают возмутительное пренебрежение к тому, что они уважают, и, как следствие, к ним самим. Подобные бесчинства подлежат наказанию по закону, поскольку они касаются людей, и люди имеют право возмущаться. Но какого смертного на земле может оскорбить рассуждение? Кто вправе обижаться на то, что к нему относятся как к человеку, которого считают разумным? И если мыслитель ошибается или обманывает нас, и если вы готовы принять участие в нем или в нас самих, то укажите ему на его ошибку, откройте нам глаза, сражайтесь с ним его же оружием. А если вы не желаете утруждать себя, то ничего не говорите, не слушайте его, позвольте ему размышлять или нести вздор, и все кончится мирно, без ссор, без каких бы то ни было оскорблений в чей-либо адрес. Но чем можно подкрепить правило противоположное, а именно: терпимое отношение к насмешкам, презрению, бесчинствам, наказывая при этом за правоту? Мне это непонятно.

Эти господа так часто видятся с господином де Вольтером. И как это он им не внушил терпимость к чужим взглядам, которую он неустанно проповедует и в которой он иногда так нуждается сам? Если бы они посоветовались с ним по этому поводу, то, мне кажется, он смог бы обратиться к ним приблизительно с такими словами:

Господа, зло причиняют не любители порассуждать, а святоши. Философия может, ничего не опасаясь, следовать своей дорогой, народ ее не поймет или просто махнет на нее рукой; он платит ей тем же самым пренебрежением, с которым она относится к нему. Из всех безумств и страстей человека размышление причиняет наименьший вред человеческому роду; а иногда даже бла-

---

го Павла, когда он рассуждает о милосердии, то опасно обращать его внимание на возвышенную мораль Евангелия, изложенную в выражениях, которые в точности не передают смысл, вложенный в него его Автором; ибо стбит только сойти с прямой дороги, избрав иную, и мы зайдем очень далеко.

горазумные люди питают пристрастие к этому безумству. Я не размышляю, это правда, но другие размышляют: какое же зло от этого следует? Вот то или иное произведение: разве в этих книгах есть что-то, кроме насмешек? В конце концов, даже я, если и не рассуждаю, то поступаю еще лучше: я заставляю размышлять моих читателей. Взгляните на написанную мною главу о «Евреях»<sup>44</sup>; взгляните на ту же самую главу, но более пространную, в «Проповеди Пятидесяти»: там имеется рассуждение или, как я думаю, нечто подобное. Вы согласитесь также, что там мало «обиняков» и там есть нечто большее, чем «разрозненные и бестактные» уколы.

Мы с вами договорились, что мое значительное влияние при дворе и мое, так сказать, всемогущество являются в ваших глазах веским основанием не вмешиваться в забавы моей старости; это хорошо; но не сжигайте за то же самое более серьезные произведения, ибо это уж чересчур неприлично.

Я столько раз проповедовал терпимость! Не всегда следует требовать ее от остальных и никогда не следует проявлять ее по отношению к ним. Этот бедняга верит в Господа? Бог с ним, он ведь не создаст секту. А если он скучен? Все, кто мыслит, скучны; просто не будем накрывать ему на званом ужине. В конце концов, какое нам до него дело? Если бы сжигали все скучные книги, то что случилось бы с библиотеками? И если бы сжигали всех скучных людей, то следовало бы отправить на костер целую страну. Слушайте, давайте позволим размышлять всем тем, кто нам позволяет шутить; давайте не будем сжигать ни людей, ни книги, будем миролюбивы; таково мое мнение.

Вот что мог бы, как я думаю, сказать, правда, еще лучше, господин де Вольтер; и это был бы, как мне кажется, далеко не худший совет из тех, что он способен дать.

«Давайте же беспристрастно сравним эти произведения, давайте судить о них по тому впечатлению, которое они произвели на всех». Я соглашаюсь с этим всем сердцем. «Одни печатаются и распродаются везде; известно, какой прием там был оказан иным книгам».

Эти слова, «те» и «иные», являются двусмысленными. Не знаю, к каким книгам автор причисляет мои сочинения, но я могу сказать, что их печатают во всех странах и переводят на все языки, что одновременно сделали два перевода «Эмиля» в Лондоне — честь, которую никогда не оказывали ни одной другой книге, за исключением «Элоизы», по крайней мере, насколько мне известно. Я скажу вдо-

бавок, что во Франции, в Англии, в Германии, даже в Италии оплакивают мою участь, что меня любят, что желали бы меня принять и что повсюду слышен крик возмущения в адрес Совета Женевы. Вот что я знаю о судьбе моих сочинений; участь других произведений мне неизвестна.

Но вот пора заканчивать. Вы видите, сударь, что в этом письме, да и в предыдущем, я предположил, что я виноват: но в трех первых письмах я доказал, что я невиновен. Но судите сами, каким бы несправедливым стало расследование против виновного, если теперь подобное расследование направлено против невинного!

Тем не менее эти господа, исполненные решимости продолжить расследование, во всеуслышание заявили, что благо религии не позволяет им признать свою вину, а честь государства — исправить допущенную несправедливость. Потребовалось бы целое произведение, чтобы указать на последствия применения этого правила, которое освящает и превращает в приговор судьбы все беззакония блюстителей законов. Но речь еще идет не об этом, и до сих пор я ставил перед собой задачу лишь исследовать, была ли допущена несправедливость, а не ответить на вопрос, должно ли ее исправить. В случае утвердительного ответа на первый вопрос мы в дальнейшем увидим, какое средство оставляют за собой ваши законы, чтобы предотвратить их нарушение. А пока спросим, что же следует думать о сих непреклонных судьях, которые с такой легкостью выносят приговоры, как если бы их последствия не оказались столь серьезными, и которые отстаивают их правомерность с таким упорством, как будто изучили этот вопрос самым тщательным образом?

Каким бы продолжительным ни было обсуждение, я полагаю, что сам его предмет нуждается в терпеливом внимании; я даже осмелюсь сказать, что вам следует его проявить, ибо это внимание в равной мере является оправданием ваших законов и меня самого. В свободной стране и при разумной религии закон, объявляющий книгу, подобную моей, преступной, оказался бы пагубным, и его следовало бы поспешно отменить ради блага и к чести государства. Но, хвала Небу, не существует ничего подобного в вашей стране, как я это только что доказал, и гораздо лучше, если несправедливость, жертвой которой я являюсь, стала бы деянием магистрата, а не законов; ибо ошибки людей преходящи, но ошибки в законах существуют до тех пор, пока существуют сами эти законы. Я далек от мысли, что ostracism, навсегда изгнавший меня из моей страны, явился

наказанием за мои ошибки, я никогда прежде не исполнял свой долг гражданина лучше, чем теперь, когда я перестаяю им быть, и я заслужил бы звание гражданина в силу решения, которое ныне вынуждает меня от него отказаться.

Вспомните, что произошло недавно, несколько лет назад, после публикации статьи «Женева» господина д'Аламбера. Сочинение, опубликованное пасторами, не только не уняло ропот недовольства, который поднялся из-за этой статьи, но, наоборот, оно лишь усилило его; и всякий знает, что мое произведение принесло им больше пользы, чем их собственное<sup>45</sup>. Недовольная пасторами протестантская партия не взбунтовалась, но могла взбунтоваться с минуты на минуту; но, к несчастью, правительство столь мало волнуют эти вопросы, что ссоры между богословами, едва возникнув, оказываются забытыми, но они всегда приобретают лишь то значение, которое желают им придать.

Мне казалось, что следовало считать счастьем и благом для отчизны наличие духовенства, наделенного столь редким для своего звания здравым рассудком, которое, проявляя приверженность не к одному лишь умозрительному вероучению, все рассматривает с точки зрения морали и обязанностей человека и гражданина. Я полагал, что оправдать его, не восхваляя напрямую, означало оказать услугу государству. Указывая на то, что те вещи, которыми духовенство пренебрегало, не были ни бесспорными, ни полезными, я надеялся обуздать тех, кто хотел бы вменить им это пренебрежение в преступление: не называя духовенство по имени, не упоминая его, не пороча правоверность его убеждений, я ставил его в пример другим богословам.

Предприятие казалось отчаянным, но не безрассудным; и при обстоятельствах, которые трудно было предусмотреть, оно, естественно, должно было удался. Я был не единственным, кто разделял это мнение; люди очень образованные, даже знаменитые члены городского управления, думали так же, как и я. Примите во внимание положение религии в Европе тогда, когда я опубликовал свою книгу, и вы поймете, что (с большой долей вероятности) ее одобрили бы повсюду. Благодаря философии религия повсюду утратила свое влияние, и превосходство религии перестали признавать даже в народе. Церковнослужители, упорно стремившиеся обосновать ее со слабой стороны, позволили подточить остальные ее основы; и все

здание, находившееся в подвешенном состоянии, готово было обрушиться. Ученые споры прекратились, потому что все проявляли к ним безучастность; и между различными партиями воцарился мир, поскольку больше никто не помышлял о собственной партии. Убирая сухие ветки, срубили дерево целиком; чтобы вновь его вырастить, необходимо было оставить лишь ствол.

И можно ли было найти лучшее время для того, чтобы утвердить прочный мир, чем то, когда враждебность партий утихла и давала им возможность прислушаться к голосу разума? Кому могло бы не понравиться произведение, в котором, никого не осуждая или, по крайней мере, не делая исключений для кого-либо, его автор отмечал, что, в сущности, все они были между собой согласны; что столько разногласий возникло и столько крови было пролито только лишь в силу недоразумения; что каждый должен мирно жить, исповедуя свою религию, не вмешиваясь в дела чужой; что надлежит повсюду служить Господу, любить ближнего своего, подчиняться законам, и что только в этом и состоит суть любой доброй религии? Это означало бы одновременно водворить и философскую свободу, и религиозность; это означало бы примирить любовь к порядку с уважением к предрассудкам других людей; это означало бы привести различные партии к общему пониманию человечности и к разумности, не уничтожая эти партии; это означало бы, не разжигая ссор, пресечь в корне те, что еще только намечались и неизбежно когда-нибудь возникли бы вновь тогда, когда пробудилась бы пока еще дремлющая ярость фанатизма; одним словом, это означало в этот миролюбивый в силу равнодушия век дать каждому очень веские основания неизменно оставаться тем, кем он является теперь, не отдавая себе отчета, почему.

Сколько бед, которые могли бы вновь случиться, удалось бы предотвратить, если бы ко мне прислушались! Какие неудобства сопутствовали бы этим преимуществам? Никакие, нет, никакие. Я готов биться об заклад: будет ли при всем этом существовать хоть одно вероятное и даже мыслимое неудобство, если не считать безнаказанности невинных заблуждений и бессилия гонителей. И как же это так случилось, что после стольких печальных событий, в столь просвещенный век правительства так и не поняли, что нужно выбросить и сломать это ужасное оружие, для владения которым требуется так много ловкости, чтобы не поранить руку, жела-

ющую его пустить в ход? Аббат де Сен Пьер желал, чтобы уничтожили богословские школы и религия получила поддержку. Какое же решение принять для достижения без всякого шума этой двойной цели, которая, как это отлично видно, по сути есть одна и та же? То, которое принял я.

Одно несчастное обстоятельство, уничтожив плоды моих благих намерений, навлекло на мою голову все те беды, от которых я желал избавить человеческий род. Родится ли когда-нибудь еще один друг истины, которого не испугает моя участь? Не знаю. Пусть он будет более благоразумным; обладая таким же рвением, может быть, он будет более удачлив? Сомневаюсь. То благоприятное время, которое я улучил, не вернется, поскольку оно упущено. От всего сердца я желаю, чтобы парламент Парижа в один прекрасный день не раскаялся в том, что вложил в руки суеверия кинжал, выбитый мною из них.

Однако давайте оставим в стороне отдаленные страны и времена и вернемся к Женеве. Именно на нее я хочу обратить ваш взор на последнее наблюдение, которое вы и сами в состоянии сделать и которое, конечно же, должно вас поразить. Оглянитесь на происходящее вокруг вас. Кто те люди, что меня преследуют? Кто те люди, что меня защищают? Вы увидите среди сторонников Представлений избранных граждан: можно ли отыскать в Женеве более достойных? Я ничего не скажу о моих гонителях; Боже упаси меня когда-либо осквернить свое перо и свое дело насмешкой! Я без сожаления оставляю это оружие в руках моих врагов. Вам самим следует сравнивать и судить. На чьей стороне нравы, добродетели, безупречная набожность, истинный патриотизм? Как! Я оскорбляю законы, а их самые рьяные защитники являются и моими защитниками! Я нападаю на правительство, и лучшие граждане поддерживают меня! Я нападаю на религию, а за меня вступаются те, кто ей более всего привержен! Одно только это наблюдение говорит само за себя; оно одно указывает на то, в чем заключается мое истинное преступление и причина моих невзгод. Те, кто меня ненавидит и меня оскорбляет, восхваляют меня вопреки собственному желанию. Их ненависть объясняется сама собой. Способен ли в этом всем ошибаться женевец?

## Письмо VI

Вот, сударь, еще одно письмо<sup>46</sup>, и я избавлю вас от внимания к моей персоне. Но, приступая к нему, я нахожусь в весьма странном положении: я обязан его написать и не знаю, чем его заполнить. В состоянии ли вы понять, что должно оправдываться в преступлении, которое тебе неведомо, и защищаться, не зная, в чем тебя обвиняют? Однако это именно то, что мне предстоит сделать в вопросе о правлениях. Не предъявив обвинения, меня судят, клеймят позором за то, что я опубликовал два сочинения, «дерзких, возмутительных, нечестивых, направленных на уничтожение христианской религии и всех правлений»<sup>47</sup>. В том, что касается религии, у нас была, по крайней мере, некая нить, следуя которой, мы поняли, что они хотели сказать, и мы это уже рассмотрели. Но что касается правлений, здесь нет ни малейшего указания. По этому вопросу постоянно избегали давать какого-либо рода разъяснения; они нигде ничего не пожелали сказать ни о том, где я собирался уничтожить правления, ни каким образом, ни с какой целью, ни также что-либо, позволяющее доказать, что преступление это не является мнимым. Дело обстоит так, как если бы судили кого-нибудь за то, что он убил человека, не признаваясь, где, кого, когда: за убийство вообще. Только при инквизиции обвиняемому оставляют возможность лишь догадываться, в чем его обвиняют, но его не судят, не сказав ему, за что именно.

Автор «Писем из деревни» так же старательно избегает давать объяснения относительно этого так называемого преступления; он одинаково соединяет религию и правления в одном общем обвинении; затем, приступая к вопросу о религии, он заявляет, что желает этим ограничиться, и держит свое слово. Как же мы сможем проверить обвинение в том, что я уничтожаю правления, если те, кто его предъявляют, отказываются признаться, по какому поводу его выдвигают?

Обратите внимание, как одним росчерком пера этот автор меняет постановку вопроса. Совет выносит приговор, в котором говорится, что содержание моих книг направлено на разрушение всех правлений; автор «Писем» утверждает только то, что правления подвергаются в этих книгах самым дерзким нападкам. Но это далеко не одно и то же. Нападки, как бы дерзки они ни были, отнюдь не являются заговором. Совершать нападки на какие-либо законы

и порицать их — это не значит ниспровергать все законы. Это все равно как если бы кого-либо стали обвинять в том, что он убивает больных, указывая на ошибки врачей.

Повторяю: что же можно возразить против доводов, которые не желают высказать? Как можно оправдать себя, если приговор вынесен без указания мотивов осуждения? Пусть без всяких доказательств эти господа говорят, что я хочу ниспровергнуть все правления, и пусть я скажу, что не хочу ниспровергнуть все правления; эти утверждения имеют совершенно одинаковую доказательную силу, если не считать того, что первое внушено предубеждением против меня: ибо следует предположить, что я знаю лучше, чем кто-либо другой, что именно я намерен сделать.

Но последствия наших утверждений неравноценны. На основании их утверждений моя книга сожжена, и издан указ о моем аресте, а то, что утверждаю я, никоим образом не исправляет положения. Только если я докажу, что обвинение ложно и приговор незаконен, позор, который они на меня навлекли, падет на них самих; постановление о моем аресте, палач — все должно обернуться против них; ибо никто столь решительным образом не разрушает правление, как тот, кто пользуется им прямо противоположно той цели, ради которой оно учреждено.

Недостаточно, однако, одних моих утверждений, нужно, чтобы я привел доказательства; и в этом видно, насколько плачевна участь частного лица, подчиненного несправедливым магистратам, когда им нечего страшиться суверена и когда они ставят себя выше законов. Уверяя, но не приводя доказательств, они строят свое обвинение; и вот невиновный наказан. Более того, они считают новым преступлением даже его защиту, но не в их власти еще и наказать его за то, что он доказал свою невиновность.

Как же мне поступить, чтобы показать, что они не сказали правды, как доказать, что я отнюдь не стремился уничтожать правления? Какое бы место из своих сочинений я ни стал защищать, они скажут, что это не то, которое они осудили, хотя они и осудили (без всякой разницы) все — как хорошее, так и плохое. Дабы не потерпеть поражения, им следовало перебрать все, просмотреть все с начала и до конца, книгу за книгой, страницу за страницей, строку за строкой и даже едва ли не слово за словом. Пришлось бы, кроме того, рассмотреть все правления мира, ибо мои противники говорят, что я ниспроверг их все. Какое предприятие! Сколько лет при-

шлось бы потратить на это! Сколько фолиантов пришлось бы написать! И после всего этого, кто стал бы их читать?

Требуяте же от меня лишь того, что осуществимо. Всякий здравомыслящий человек должен довольствоваться тем, что я вам скажу: вы, конечно же, большего и не желаете.

Из двух моих книг, сожженных одновременно на основании одних и тех же обвинений, только лишь в одной обсуждается политическое право и вопросы правления. Если во второй книге эти вопросы и обсуждаются, то лишь в виде выдержки из первой<sup>48</sup>. Таким образом, я предполагаю, что обвинение касается только лишь первой книги. Если это обвинение относилось к какому-либо отдельному отрывку, то его, несомненно, привели бы; из него, по крайней мере, извлекли бы какое-либо положение, переданное более или менее верно, как это сделали с положениями, касающимися религии.

Следовательно, на уничтожение правлений направлена совокупность взглядов, изложенных в этом труде; нужно, поэтому, лишь изложить эти взгляды или провести разбор этой книги; и если мы там с очевидностью не обнаружим тех разрушительных начал, о которых идет речь, то будем, по крайней мере, знать, подражая способу рассуждения автора, где их искать в этом труде.

Но, сударь, если, приводя этот разбор, по необходимости краткий, вы сочтете нужным сделать какой-либо вывод, то, пожалуйста, не спешите. Подождите, чтобы мы это обсудили вместе. После чего вы вернетесь к этому, если пожелаете.

Что составляет единство государства? Единение его членов. Но из чего возникает единение его членов? Из связующего их обязательства. До этого момента все согласны.

Но каково основание этого обязательства? Вот где мнения авторов расходятся. По мнению одних, это — сила<sup>49</sup>; по мнению других, это — отцовская власть<sup>50</sup>; по мнению третьих, это — воля Божия<sup>51</sup>. Каждый обосновывает собственное начало и обрушивается на остальных. Не иначе поступил и я: придерживаясь наиболее здоровой части рассуждений тех, кто обсуждал эти вопросы, я признал основанием политического организма соглашение между его членами; и я опроверг начала, отличные от моих.

Независимо от истинности этого начала, оно превосходит все остальные надежностью обоснования, которое дано, ибо что может служить более верной основой обязательства между людьми, чем

добровольная взятая на себя обязанность? Можно оспаривать любое иное начало \*, но это начало оспаривать нельзя.

Но без этого условия, в силу которого существует свобода, заключающая в себе все прочие условия, всякого рода обязанности оказываются недействительными, даже перед судом людским. Таким образом, для того чтобы выяснить суть этой обязанности, нужно объяснить ее природу, обнаружить цель и назначение; нужно доказать, что она подходит для людей и не содержит ничего противного природным законам. Ибо столь же непозволительно нарушать природные законы, заключив общественный договор, как непозволительно нарушать положительные законы соглашениями частных лиц; и лишь благодаря этим самым законам и существует свобода, сообщающая силу этой обязанности.

В результате этого рассмотрения я обнаруживаю, что заключение общественного договора представляет собой согласие особого рода, в силу которого каждый обязуется перед всеми; отсюда вытекает взаимная обязанность всех перед каждым, что и является непосредственным предметом общественного союза.

Я утверждаю, что эта обязанность — обязанность особого рода, потому что, будучи безусловной и безоговорочной, не имеющей ограничений, она не может, однако, быть несправедливой, и ею нельзя злоупотреблять; ибо невозможно, чтобы организм желал вредить самому себе, до тех пор пока все вместе желают лишь пользы для всех.

Эта обязанность особого рода еще и потому, что связывает участников договора, не ставя их в подчинение никакому лицу, и потому, что только их воля является для них нормой, эта обязанность оставляет им ту самую свободу, какой они пользовались ранее.

Воля всех — это, следовательно, приказ, высшая норма; и эта общая и одновременно олицетворенная норма является тем, что я называю сувереном.

Из этого следует, что суверенитет неделим, неотчуждаем и что он, по сути, принадлежит всем частям организма.

---

\* И даже начало, заключающееся в воле Бога, по крайней мере в том, что относится к его проведению в жизнь. Ибо хотя и ясно, что то, что угодно Богу, должно быть угодно и человеку, из этого отнюдь не следует, что Господу угодно предпочесть одно правление другому, и тем более если повинуются не Вильгельму, а Якову<sup>52</sup>. Вот о чем идет речь.

Но как действует это собирательное существо? Оно действует посредством законов, и оно не в состоянии было бы действовать иначе.

Но что же такое закон? Это публичное и торжественное провозглашение общей воли относительно того, что составляет выгоду для всех.

Я говорю «относительно того, что составляет выгоду для всех», потому что закон утратил бы свою силу и перестал быть правомерным, если бы его предмет не был важен для всех.

Закон не может, по своей природе, быть принят ради какого-либо частного или особого случая, но применение закона распространяется на частные и особые случаи.

Законодательная власть, которая есть суверен, нуждается, следовательно, в другой власти, исполняющей закон, то есть переводящей закон в решения частного характера. Эта вторая власть должна быть учреждена таким образом, чтобы она всегда исполняла закон, и только лишь закон. Отсюда и возникает необходимость учреждения правительства.

Что такое правительство? Это — опосредующий организм между подданными и сувереном ради сообщения между ними, уполномоченный приводить в исполнение законы и поддерживать свободу, как гражданскую, так и политическую.

Правительство в качестве составной части политического организма участвует в выражении общей воли, которая его образует; являясь также организмом, оно имеет свою собственную волю. Эти две воли иногда бывают между собой согласны, а иногда противостоят друг другу. Следствием этого взаимодействия и этой борьбы является работа всего механизма.

Начало, положенное в основу различных образов правления, заключается в числе членов, которые его составляют. Чем меньше это число, тем большей силой обладает правительство; чем больше это число, тем правительство слабее; и так как верховная власть всегда склонна к ослаблению, то правительство всегда стремится стать сильнее. Таким образом, организм исполнительной власти с течением времени берет верх над организмом власти законодательной; и когда закон в конце концов оказывается подчиненным людям, остаются лишь рабы и хозяева, а государство разрушается. До того, как это разрушение произойдет, правительство должно благодаря своему естественному развитию изменить свой образ и постепенно менять свой состав от большего числа членов к меньшему.

Различные образы, которые может принимать правление, сводятся к трем главным. Сравнив эти образы сообразно их преимуществам и недостаткам, я отдаю предпочтение тому из них, который является промежуточным между двумя и носит имя аристократии. Здесь нужно помнить, что устройство государства и устройство правительства суть вещи весьма различные, и я их не смешивал. Наилучший из видов правления — аристократический; наихудший вид суверенной власти — также аристократический.

Эти рассуждения влекут за собой еще и другие относительно того, каким образом вырождается правление, и относительно средств, с помощью которых можно замедлить разрушение политического организма.

Наконец, в последней книге я рассматриваю путем сравнения с наилучшим правлением, когда-либо существовавшим, а именно с правлением Рима, благочиние, присущее наилучшему государственному устройству; затем я заканчиваю эту книгу и всю работу разысканиями о том, каким образом религия может и должна быть составной частью государственного строя политического организма.

Что думали вы, сударь, читая этот краткий и точный разбор моей книги? Я догадываюсь. Вы говорили самому себе: «Вот история правления Женевы». Это то, что сказали при чтении этого труда все, кому знакомо ваше государственное устройство<sup>53</sup>.

И в самом деле, этот первоначальный договор, эта сущность суверенитета, эта власть законов, это учреждение правительства, этот способ постепенно сократить число его членов на различных уровнях, чтобы заменить власть на силу, это стремление к присвоению власти, эти периодические собрания, эта ловкость, с которой их устранили, и близкое разрушение вашего правления, которое вам грозит и которое я хотел предотвратить, — не есть ли все это точь-в-точь картина вашей республики с момента ее рождения и до сего дня?

Я, следовательно, взял ваше государственное устройство, которое нахожу прекрасным, за образец политических установлений; и, ставя вас в пример Европе, далекий от того, чтобы стремиться уничтожить ваше правление, изложил средства для его сохранения. Это устройство, как бы хорошо оно ни было, не лишено недостатков: можно было предотвратить те искажения, что оно претерпело, и оградить его от опасности, которой оно подвергается сейчас.

Я предвидел эту опасность, я дал понять, что она существует, я указал на средства оградить его от нее: было ли это с моей стороны желанием уничтожить его, если я обращал внимание на то, что нужно сделать для его укрепления? Ради привязанности к нему я и желал, чтобы ничто не могло его исказить. Вот в чем заключается все мое преступление; я, возможно, был неправ; но если любовь к отечеству меня ослепляла в этом отношении, то отечеству ли следовало меня за это наказывать?

Как мог я стремиться ниспровергать все правления, считая их началами то, что является началом вашего правления? Одно это опровергает обвинение. Раз уже существует правление, устроенное по образцу, который я описал, я не мог, следовательно, стремиться разрушать все существующие правления. Ах, сударь, если бы я создал некую совокупность взглядов, не сомневайтесь, об этом не стали бы говорить: удовольствовались бы тем, что «Общественный договор» вместе с «Государством» Платона, «Утопией» и «Историей Севарамбов» сочли бы плодом воображения. А я описывал то, что существует, а люди пожелали, чтобы оно изменило свой облик. Моя книга свидетельствовала о готовящемся покушении на государство: вот чего мне не простили.

Но вот что покажется вам странным. Моя книга обрушивается на все правления, и она не запрещена ни одним из них!<sup>54</sup> В ней обосновываются преимущества одного правления, в ней оно ставится в пример, и это-то правление и приказывает ее сжечь! Не странно ли, что правительства, на которые обрушиваются, молчат, а правительство, которому выказывают уважение, поступает сурово? Как же так? Магистрат Женевы встает на защиту других правлений, при этом выступая против своего собственного! Он наказывает гражданина за то, что он оказал предпочтение законам своей страны перед всеми остальными? Постижимо ли это? И поверили бы вы этому, если бы сами это не видели? Во всех остальных странах Европы разве кто-нибудь осмелился бы заклеить позором это сочинение? Нет. Этого не сделало даже и то государство<sup>55</sup>, в котором оно было напечатано \*. Даже во Франции, где магистраты в этом отношении столь строги, разве там запретили эту книгу? Ничего подоб-

\* В разгар воплей, поднятых после судебных расследований в Париже и Женеве, один растерявшийся магистрат запретил обе книги, но, изучив их внимательно, этот мудрый магистрат изменил свое мнение, особенно в отношении «Общественного договора».

ного: сперва наложили запрет на ввоз голландского издания, но оно было перепечатано без разрешения авторов<sup>56</sup> во Франции, и это издание там распространяется беспрепятственно. Следовательно, это дело касалось торговли, а не благочиния. Предпочли, чтобы доход от книги получил французский издатель, а не иностранный; вот и все.

«Общественный договор» не был сожжен нигде, кроме Женевы, где он не был напечатан; только женевский магистрат обнаружил в нем начала, ведущие к разрушению всех правлений. В действительности, этот магистрат так и не объяснил, что это за начала; и тут, как я думаю, он поступил весьма осмотрительно.

Результат неразумных запретов заключается в том, что сами они не соблюдаются и ослабляют силу власти. Моя книга в Женеве у всех в руках, и разве не живет она там также во всех сердцах! Прочтите ее, сударь, эту книгу, сколь очерченную, сколь и значимую; и вы повсюду увидите, что закон в ней ставится выше людей; вы там всюду увидите требования свободы, но не выходящей из-под власти законов, без которых свобода не может существовать, и, подчиняясь им, мы остаемся свободными, каким бы образом нами ни управляли. Тем самым я, говорят, не угождаю властям. Тем хуже для них; ибо я защищаю их подлинные выгоды, если бы только они могли знать, в чем они заключаются, и блюсти их! Но пристрастия делают людей неспособными понять, в чем заключается даже их собственное благо. Те, кто подчиняет законы человеческим пристрастиям, суть те, кто уничтожают правления: вот люди, которых следовало бы наказывать.

Основы государства одни и те же при всех правлениях, и эти основы определены в моей книге лучше, чем в какой-либо другой. Когда затем речь заходит о сравнении различных образцов правления, нельзя не взвесить преимущества и недостатки каждого из них в отдельности; я думаю, что именно это я беспристрастно сделал. Все взвесив, я отдал предпочтение правлению моей страны. Это вполне естественно и разумно; меня бы стали порицать, если бы я поступил иначе. Но я не исключил из рассмотрения другие правления, напротив, я показал, что каждое из них имеет право на существование и потому может быть предпочтительнее всякого другого в зависимости от характера людей, времени и обстоятельств. Таким образом, я отнюдь не разрушал все образы правления, я указал на их основания.

Говоря, в частности, о монархическом правлении, я выявил его преимущества, но не скрывал все же и его недостатков. Таково, я полагаю, право мыслящего человека. И если бы я его исключил, чего, конечно, не сделал, то разве следовало бы из этого, что меня должны были бы за это наказать в Женеве? Отдавали ли в каком-либо монархическом государстве приказ об аресте Гоббса за то, что обоснованные им начала оказались разрушительными для республиканского правления? И судят ли там, где правят короли, тех авторов, которые осуждают и унижают республики? Разве это право не взаимное? И разве республиканцы не суверены в своей стране, подобно тому как короли являются таковыми у себя? По-моему, я не отбрасывал в сторону ни одного из правлений и не отзывался пренебрежительно ни об одном из них. Рассматривая их, сравнивая их между собой, я держал в руках весы и высчитывал вес: ничего другого я не делал.

Нигде не следует наказывать за пользование разумом и разумное суждение; это наказание было бы слишком ярким свидетельством против тех, кто его наложил. Сторонники Представлений твердо установили, что мою книгу, в которой я не выхожу за пределы рассмотрения вопроса в общем виде, отнюдь не посягая на правление Женевы, книгу, изданную за пределами ее территории, следует считать в числе тех, в которых обсуждаются вопросы естественного и политического права и относительно которых законы не предоставляют Совету никакой власти судить; эти книги всегда открыто продавались в городе, какое бы начало в них ни обосновывалось и какое бы мнение в них ни высказывалось. Я не единственный, кто, обсуждая отвлеченно вопросы политики, мог осуждать их до известной степени дерзко. Не всякий так поступает, но всякий человек вправе это делать. Многие пользуются этим правом; но я единственный, кого наказывают за то, что он им воспользовался. Несчастный Сидней<sup>57</sup> думал так же, как и я, но он действовал: именно за свои действия, а не за свою книгу он имел честь пролить свою кровь. Альтузий<sup>58</sup> в Германии нажил себе врагов, но его не подвергали преследованию в уголовном порядке. Локк, Монтескье, аббат де Сен Пьер рассматривали эти вопросы, и нередко чуть ли не столь же вольно. Локк, в частности, рассматривал их на основе тех же начал, что и я. Все трое родились под властью королей, спокойно жили и умерли в почете в своих странах. Вам известно, как обошлись со мной в моей стране.

Поэтому будьте уверены, что это клеймо позора не заставляет меня краснеть; напротив, я горжусь им, ибо оно служит лишь выяснению повода, из-за которого на меня его наложили, а этот повод заключается в том, что у меня большие заслуги перед моей страной. Поведение Совета<sup>59</sup> в отношении меня, конечно, меня огорчает, ибо разрывает узы, которые были для меня столь дороги. Но, может ли оно меня унижить? Нет, оно меня возвышает, оно меня ставит в ряды тех, кто пострадал за свободу. Мои книги, что бы с ними ни сделали, всегда будут свидетельствовать сами за себя; и то, как с ними обошлись, лишь спасет от позора те сочинения, которые удостоятся чести быть сожженными вслед за моими.

*Конец первой части*

## **Вторая часть**

### **Письмо VII**

Вы скажете, сударь, что я слишком многословен, но я был вынужден таковым быть; да и рассматриваемые мною темы не должны обсуждаться с помощью эпиграмм. Кроме того, темы эти не уводят меня столь далеко, как это может показаться, от той, которая вызывает в Вас участие. Говоря о себе, я думал о вас; и заданный вами вопрос связан с вопросом обо мне, и первый решен с помощью второго. Мне остается лишь сделать вывод. Там, где невиновность не чувствует себя в безопасности, никто не может считать себя невиновным. Всюду, где законы нарушаются безнаказанно, свободы больше нет.

Однако, поскольку возможно отделять соображения выгоды частных лиц от соображений выгоды общества, ваши мысли в этом вопросе еще не ясны. Вы настаиваете на том, чтобы я помог вам их уточнить. Вы спрашиваете, каково нынешнее положение вашей республики и как следует поступать гражданам. Легче ответить на первый вопрос, чем на второй.

Этот первый вопрос вас, конечно, меньше затрудняет сам по себе, чем противоречивые решения, которые предлагают окружающие вас люди. Люди весьма здравомыслящие вам говорят: «Мы самый свободный из всех народов»; а другие люди, также весьма здравомыслящие, утверждают: «Мы живем в самом жестоком рабстве».

«Кто же из них прав?» — спрашиваете вы меня. И те, и другие, сударь, но в различных отношениях: их примиряет одно очень простое различие. С точки зрения права ваше положение — это положение совершенно свободных людей, но ваше нынешнее положение стало воистину рабским.

Сила ваших законов зависит только от вас. Вы признаете лишь те из них, которые создаются вами. Вы платите лишь те подати, которые устанавливаете сами. Вы избираете правителей, которые вами правят. Они имеют право судить вас лишь в соответствии с установленным порядком. В Генеральном Совете вы являетесь законодателями, суверенами, независимыми от какой-либо человеческой власти. Вы утверждаете договоры, объявляете войну и заключаете мир. Сами ваши магистраты называют вас *сиятельнейшими, высокогтимыми и владетельными сеньорами*. Вот в чем ваша свобода, а теперь вот в чем заключается ваше рабство.

Организм, на который возложено исполнение ваших законов, является их истолкователем и высшим судьей. Он истолковывает их на свой лад. Он может заставить их умолкнуть. Он может даже их нарушить, а вы при этом не можете навести здесь порядок: этот организм стоит выше законов.

Избираемые вами, независимо от ваших предпочтений, правители обладают другими властными полномочиями, полученными не от вас, и они расширяют эти полномочия за счет тех, что получают от вас. Вынужденные ограничить себя выбором из малого числа людей, которые все придерживаются одинаковых начал и движимы одними и теми же соображениями выгоды, вы в весьма торжественной обстановке совершаете маловажный выбор. В этом деле важно было бы иметь возможность отвергнуть всех тех, из кого вас вынуждают выбирать. При видимости свободы выбора вы оказываетесь столь стесненными со всех сторон, что не можете даже избрать ни первого Синдика, ни Синдика стражи; главу республики и главнокомандующего вам также не дозволено избирать.

Вас не вправе облагать новыми налогами, однако же и вы не вправе отменять прежние. Финансы государства так устроены, что и без вашего участия их хватает для всего необходимого. Поэтому с вами в этом деле не нужно церемониться, и ваши права при этом оказываются частично упраздненными и совершенно ненужными.

Правила судопроизводства, которые нужно соблюдать, когда вас судят, предписаны; но когда Совет не желает их соблюдать, никто не

может ни принудить его к этому, ни обязать исправить допущенные им нарушения. Относительно этого я могу представить вам доказательства, и вы знаете, что не только я могу это сделать.

В Генеральном Совете ваша суверенная власть скована: вы можете действовать лишь только тогда, когда это угодно вашим магистратам, и выступать только тогда, когда они вас спрашивают. Если они даже вовсе не пожелают собирать Генеральный Совет, то ваша власть, ваше существование окажутся ничтожными, а вы сможете лишь тщетно роптать против этого, тогда как они вполне могут с презрением отнестись к этому ропоту.

Наконец, если на этом собрании вы — суверенные государи, то выйдя из него, вы — уже ничто. Четыре часа в год вы остаетесь участниками суверенной власти, но вы являетесь подданными остальную часть вашей жизни, и вы полностью зависите от произвола других людей.

С вами произошло, господа, то, что происходит со всеми правлениями, подобными вашему. Поначалу законодательную власть и власть исполнительную, которые составляют суверенитет, не различали. Суверенный народ сам выражал свою волю и сам делал то, что пожелает. Вскоре неудобство этого участия всех во всяком деле вынуждает суверенный народ возложить на нескольких своих членов исполнение своей воли. Эти должностные лица после выполнения данного им поручения представляют отчет и снова оказываются равны со всеми остальными. Мало-помалу эти поручения стали частыми и, наконец, постоянными. Незаметно образуется организм, действующий постоянно. Постоянно действующий организм не может отчитываться по каждому решению. Он отдает отчет лишь по главнейшим. И вскоре дело доходит до того, что он не отчитывается ни в чем. Чем предприимчивее становится действующая власть, тем более она ослабляет власть волеизъявляющую. Волю вчерашнюю считают за волю, выраженную сегодня, тогда как решение, принятое вчера, не освобождает от необходимости действовать сегодня. Наконец, бездействие власти волеизъявляющей ведет к ее подчинению власти исполнительной. Действия последней, а вскоре и ее воля становятся независимыми ни от кого. Вместо того чтобы действовать, подчиняясь волеизъявляющей власти, она оказывает на нее воздействие. Тогда в государстве остается лишь одна действующая власть: это — власть исполнительная. Исполнительная власть является лишь силой, а там, где царит одна только сила, го-

сударство распадается. Вот, сударь, каким образом в конце концов уничтожаются все демократические государства.

Просмотрите летопись вашего государства с того времени, когда ваши синдики, простые доверенные лица, учрежденные общиной для выполнения того или иного дела, сняв шапку, отдавали ей отчет в выполнении поручения и возвращались тотчас же в разряд частных лиц, до того времени, когда эти же самые синдики, пренебрегая правами правителей и судей, которые они получили при своем избрании, стали им предпочитать произвольную власть организма, члены которого не избираются общиной, и, вопреки законам, ставят себя выше нее. Проследите за изменениями, которые произошли в промежутке между тем временем и нынешним, и вы поймете, в каком положении вы оказались и какие ступени вы прошли, чтобы в нем оказаться.

То, что происходит с вами, мог бы предвидеть какой-нибудь политик два века тому назад. Он бы сказал: «Установление, создаваемое вами, хорошо в настоящее время, но плохо для будущего. Оно хорошо для того, чтобы установить политическую свободу, но плохо для ее сохранения; и то, что составляет сейчас вашу безопасность, в скором времени станет вашими оковами. Эти три организма, которые настолько входят один в другой, что от самого маленького зависит действие самого большого, находятся в равновесии, пока действие самого большого остается необходимым и пока законодательство не может обойтись без законодателя. Но когда созданы эти учреждения, организму, образовавшему их, не хватает власти для их укрепления, и тогда ваши учреждения погибнут, и именно ваши законы станут причиной их уничтожения. Итак, сами ваши законы станут причиной вашей гибели». Вот именно это с вами и произошло. Это же, с учетом разницы в размерах, стало причиной падения и польского правительства, но в силу другой крайности. Государственный строй Польской республики хорош лишь как образ правления, в котором нечего больше менять. Ваш же, наоборот, хорош только до тех пор, пока в нем постоянно действует законодательный организм.

Ваши магистраты всегда и без усталости старались передать высшую власть от Генерального Совета к Малому Совету, постепенно передавая ее Совету Двухсот, но их усилия имели различные последствия в зависимости от того, как они действовали. Почти все их блестящие предприятия проваливались, потому что они встречали

сопротивление и потому что в таком государстве, как ваше, сопротивление общества вообще непреодолимо, когда оно основывается на законах.

Причина тому очевидна. Во всяком государстве закон говорит от имени суверена. Однако при такой демократии, когда народ является сувереном, когда внутренние распри приостанавливают порядок работы и заставляют умолкнуть все виды власти, остается одна только власть народа; и на чью сторону склоняется тогда наибольшее число, на той стороне закон и власть.

Если граждане и горожане, собравшись вместе, не есть суверен, то Советы без граждан и горожан оказываются им еще в меньшей мере, ибо они по своей численности составляют всего лишь его наименьшую его часть. Как только речь заходит о высшей власти, все в Женеве становятся равны, как гласит Эдикт: «Пусть все довольствуются положением граждан и горожан, не пытаясь получить привилегии для себя и присваивать себе какую-либо власть и господство над другими». Вне Генерального Совета нет иного суверена, кроме закона; но когда на закон покушаются его служители, то укрепить его должен законодатель. Вот почему всюду, где царит подлинная свобода, в важных предприятиях следует почти всегда предпочесть мнение народа.

Но с помощью едва заметных предприятий ваши магистраты привели дела в то состояние, в каком они оказались ныне. Это было сделано путем умеренных, но непрерывных усилий, путем почти незаметных изменений, последствия которых вы не могли предвидеть и которые вы с трудом даже могли заметить. Народ не может непрестанно сохранять бдительность во всем, что происходит; и эта бдительность была бы поставлена ему даже в упрек. Его обвинили бы в беспокойном и мятежном настрое, в том, что он постоянно готов бить тревогу по пустякам. Но в силу этих-то пустяков, которые замалчиваются, Совет смог со временем что-то предпринять. Доказательство этому — то, что происходит в настоящее время у вас перед глазами.

Вся власть в республике находится в руках синдиков, избираемых в Генеральном Совете. Они там приносят присягу, потому что он один стоит выше их. И они приносят эту присягу лишь в этом Совете, потому что только ему одному они обязаны давать отчет в своем поведении, в точности исполнения присяги, которую они там принесли. Они клянутся честно и нелицеприятно вершить пра-

восудие. Они — единственные магистраты, приносящие такую присягу на этом Собрании, потому что они суть единственные, кому это право предоставляется сувереном\*, и кто его осуществляет, подчиняясь только власти суверена. При публичном суде над преступниками только они одни клянутся перед народом, вставая со своих мест\*\* и поднимая свои жезлы, «в том, что будут судить праведно, без ненависти и лицепрятия, моля Бога их покарать, если они поступили иначе». И в прошлом приговоры по уголовным делам выносились от одного лишь их имени, без упоминания иного Совета, кроме как Совета Граждан, как это видно из приговора по делу Морелли, который приводится выше, и из приговора по делу Валентина Жентийя, упоминаемого в сочинениях Кальвина.

Однако вы прекрасно понимаете, что эта исключительная власть, получаемая таким образом непосредственно от народа, весьма мешает притязаниям Совета. Поэтому, естественно, чтобы освободиться от этой зависимости, он старается мало-помалу ослабить власть синдигов, растворить в Совете судебную власть, полученную ими, и незаметно передать этому постоянно действующему организму, члены которого не избираются народом, большую, но временную власть магистратов, им избираемых. Сами синдики не только не противятся этому изменению, но им следует даже его приветствовать, потому что они бывают синдиками только раз в четыре года и могут даже ими не быть, тогда как, что бы ни случилось, они становятся пожизненными советниками, ибо *грабо*<sup>60</sup> превратились уже в ненужный обряд\*\*\*.

\* Это право предоставляется их Лейтенанту лишь как нижестоящему должностному лицу, и поэтому-то он не приносит никакой присяги в Генеральном Совете. «Но, — говорит автор "Писем", — разве менее обязательна присяга, которую приносят члены Совета, и исполнение обязательств, взятых перед самим Божеством, зависит ли от места, где они даются?» Нет, конечно. Но следует ли из этого, что безразлично, в каком месте и кому приносить присягу? И не указывает ли этот выбор либо только на то, кто наделяет этой властью, либо кому нужно отдавать отчет в ее употреблении? С какими государственными мужами имеем мы дело, если им нужно напоминать об этом? Разве они не знают об этом или притворяются, что не знают?

\*\* Совет здесь также присутствует, но члены его не клянутся и не встают со скамьи.

\*\*\* Согласно первоначальному установлению, четыре вновь избранных синдика и четыре прежних синдика выводили ежегодно восемь из шестнадцати остающихся членов Малого Совета и предлагали восемь новых, кандидатуры которых

Когда это удалось, избрание синдиков также превратилось в обряд, столь же ненужный, как и созыв Генерального Совета; и Малый Совет будет весьма спокойно взирать на неприязнь или предпочтение, выказанные народом его членам, а не синдикам, когда все это потеряло полностью все свое значение.

Для достижения же этой цели существует, прежде всего, одно важное средство, народу неизвестное. Это — внутренний распорядок, установленный в Совете, вид которого, хотя он и регламентируется эдиктами, Совет может устанавливать по своему усмотрению\*, без какого-либо надзирателя, который мог бы ему в этом помешать; ибо, что касается должности Генерального прокурора, то ее в этом отношении нужно считать ничего не значащей\*\*. Но этого

---

ставились затем на голосование в Совете Двухсот и либо одобрялись, либо отвергались им. Но незаметно из состава старых советников стали выводить лишь тех, чье поведение давало повод для порицания; и в случае совершения ими какого-нибудь тяжкого проступка не ожидали выборов, чтобы их наказать, а заключали их сразу же в тюрьму и судили как самое обычное частное лицо. Благодаря этому правилу — не откладывать наказание и делать его суровым, — все оставшиеся советники оказывались безупречными, не давали никакого повода для изгнания из Совета, что и превратило этот обычай в торжественный и ненужный обряд, ныне называемый «грабо»; замечательный результат свободного управления, когда получить власть можно только благодаря добродетели. К тому же, только взаимное право обоих Советов могло бы помешать одному из них осмелиться воспользоваться грабо против другого (разве что сговорившись с ним) из опасения возмездия со стороны другого. В сущности, грабо служит лишь для поддержания их единства против горожан и изгонять одного члена при помощи других, а именно того, кто не станет разделять мнение всего организма.

\* Таким образом, начиная с 1665 г., Малый Совет и Совет Двухсот установили у себя баллотировку и билеты вопреки Эдикту<sup>61</sup>.

\*\* Генеральный прокурор<sup>62</sup>, должность которого учреждена как должность знатока закона, ввергается лишь в лицо, заседающее в Совете. По двум причинам эта должность почти всегда исполняется противно духу ее установления. Одна из них — порок самого этого установления, превращающий эту магистратуру в ступень для вхождения в Совет; тогда как Генеральный прокурор по закону должен довольствоваться своей должностью, и ему должно бы быть воспрещено законом помогать какой-либо другой. Второй причиной является неосмотрительность народа, доверяющего эту должность людям, имеющим родственные связи в Совете<sup>63</sup>, или принадлежащим к семьям, члены которых могут входить в Совет, не учитывая, что они не преминут применить против него же самого то оружие, которое он им дает для его защиты. Я слышал, что женеvцы проводят различие между человеком из народа и знатоком закона; как будто это не одно и то же. Генеральные прокуроры должны были бы в течение шести лет своей службы быть

оказалось недостаточно. Нужно еще приучить народ к такой передаче судебной власти. Для этого при разбирательстве важных дел начинают с не учреждения судов, состоящих из одних советников, а учреждают поначалу менее значительные суды для разбирательства дел менее важных. Обычно председательство в этих судах поручается какому-либо синдикку, которого заменяют иногда бывшим синдиком, а затем советником, причем никто не обращает на это внимания. Этот прием повторяют без шума до тех пор, пока он не становится обычаем. Затем это привносят в уголовные дела. Для какого-либо более важного случая учреждается суд, чтобы судить граждан. В силу закона об отводах председательствовать в этом суде поручается какому-нибудь советнику. Тогда народ видит это и начинает роптать. Ему возражают: «На что вы жалуетесь? Посмотрите на эти примеры; мы не предлагаем нововведений».

Вот, сударь, политика ваших магистратов. Они вводят свои новшества мало-помалу, медленно, так, чтобы никто не заметил их последствий. И когда, наконец, новшества замечают и хотят внести исправления, сами же магистраты начинают кричать, что здесь желают вводить новшества.

И в самом деле, обратите внимание, имея перед глазами пример, что эти самые магистраты сказали по данному поводу. Они ссылаются на закон об отводах<sup>64</sup>, им возражают: «Основной закон государства гласит, что граждане должны быть судимы только своими синдиками. В случае противоречия между этими двумя законами второй должен исключать первый. В подобном случае для соблюдения их обоих нужно было бы скорее избирать Синдика *ad actum*». Как только произнесли это слово, все пропало. Синдик *ad actum*! Какое новшество! По мне, так я в этом не вижу никакого новшества, о котором они говорят. Если это касается самого слова, то его употребляют каждый год на выборах; а если это касается сути, то тут тоже нет ничего нового, ибо первыми синдиками, которые существовали в городе, являлись лишь синдикки *ad actum*. Когда Генеральный прокурор подлежит отводу, не нужен ли другой Генеральный прокурор *ad actum* для осуществления его полномочий? А заседатели, избранные из Совета Двухсот для образования судов, разве по сути не являются советниками *ad actum*? Когда появляется какое-

---

начальниками горожан, а потом давать им советы. Но получили ли эти горожане от своих прокуроров надежную защиту и добрые советы; стоит ли им сильно радоваться такому выбору?

либо новое злоупотребление, отнюдь не станет новшеством предложить против него новое средство. Напротив, это будет означать стремление восстановить прежнее положение вещей. Но эти господа не любят, чтобы копались таким образом в древностях их города. Только ссылаясь на древности Карфагена и Рима, они позволяют искать объяснения вашим законам.

Я не буду проводить никакого сравнения между теми их замыслами, которые потерпели неудачу, и теми, что удались: даже если по количеству они одинаковы, то это отнюдь не так в отношении общего результата. Удачно осуществив замысел, они выигрывают в силе, а при неудаче лишь теряют время. Вы же, которые стремитесь и можете лишь стремиться к укреплению вашего государственного строя, наоборот, в случае проигрыша многое теряете, а в случае выигрыша ничего не приобретаете. При подобном развитии событий как же можно сохранить прежнее положение вещей?

Из всех времен, над которыми заставляет задуматься поучительная история вашего правления, самым замечательным по причинам, обусловившим его характер, и самым значительным по своим последствиям было время, когда возник Устав о Посредничестве. Начало этому славному времени положило одно неосторожное предприятие, несвоевременно осуществленное вашими магистратами. Они потихоньку присвоили себе право облагать налогами и, не укрепив еще в достаточной степени свою власть, пожелали уже злоупотребить этим правом. Вместо того чтобы приберечь этот удар напоследок, они, движимые жадностью, нанесли его прежде других, а именно после одного волнения<sup>65</sup>, которое тогда еще окончательно не утихло. Эта ошибка повлекла за собою другие, более существенные, которые трудно было исправить. Каким же образом столь тонкие политики могли не знать простого правила, которое они нарушили в данном случае? В любой стране народ лишь тогда замечает, что на его свободу покушаются, когда покушаются на его кошелек, а поэтому-то ловкие самозванцы весьма остерегаются это делать, пока все остальное не сделано. Ваши же магистраты пожелали нарушить этот порядок, за что и заплатились\*. В дальнейшем

\* Налоги, установленные в 1716 году, ввели для покрытия расходов, связанных с возведением новых укреплений. План этих новых укреплений был весьма обширный, и его исполнили лишь частично. Столь огромные укрепления делали необходимым содержание большого гарнизона; и целью создания этого большого гарнизона было держать в ярме граждан и горожан. Таким образом, за их же счет

это дело привело к движению 1734 г., а оно породило ужасный заговор.

Это стало второй ошибкой, худшей, чем первая. Обладая всеми преимуществами, которые дает время, они, однако, лишают себя этих преимуществ вследствие поспешности своих действий, и приводят весь механизм в такое состояние, что он внезапно сам начинает работать; это то, что чуть было не случилось. События, предшествовавшие Посредничеству, заставили их потерять столетие и произвели еще другой неблагоприятный для них результат, заключавшийся в том, что Европа узнала, что эти горожане, которых магистраты желали погубить, изображая их в виде разнuzданной черни, умели, пользуясь перевесом в силах, соблюсти умеренность, ту, что магистраты, пользуясь преимуществами, никогда не проявляли.

Я не могу сказать, следует ли считать обращение с просьбой о Посредничестве третьей ошибкой. Это Посредничество было предложено или казалось, что его предложили. Я не могу и не хочу вникать в то, было ли оно действительно предложено или его исходатайствовали. Я знаю только одно, что когда вы подверглись самой большой опасности, все хранили молчание, и что это молчание было нарушено лишь тогда, когда этой опасности стала подвергаться другая сторона. Впрочем, я тем более не думаю обвинять ваших магистратов в том, что они якобы умоляли Посредников вмешаться, потому что даже осмеливаться говорить об этом является в их глазах самым большим преступлением.

Один гражданин<sup>66</sup>, жалуясь на незаконный, несправедливый и позорящий его арест, спросил, как ему следует поступить, чтобы ходатайствовать о взятии на поруки<sup>67</sup>. Магистрат, к которому он обратился, осмелился ему ответить, что за один уже этот запрос он заслуживает смерти. Однако это преступление Совета перед сувереном оказалось бы значительным и, возможно, более значительным, чем преступление частного лица перед сувереном. И я не вижу, в чем заключается преступление, заслуживающее смертной казни, если человек подал повторное ходатайство, ставшее законным благодаря взятию на поруки на основе первого ходатайства.

Добавлю, что я отнюдь не собираюсь обсуждать столь щекотливый и столь трудно разрешимый вопрос. Относительно того, что

---

выковывали готовящиеся для них цепи. Этот замысел был хорошо продуман, но осуществляли его в обратном порядке, и поэтому-то он и не удался.

нас здесь занимает, я рассматриваю только состояние, в котором находится ваше правление, определенное ранее Уставом полномочных представителей посредников, но исковерканное ныне новыми предприятиями ваших магистратов. Я вынужден сделать длинное отступление, чтобы прийти к цели; сообразуйте же следить за моими размышлениями, и мы благополучно придем к ней.

Я вовсе не беру на себя смелость критиковать этот Устав. Напротив, я восхищаюсь его мудростью и уважаю его беспристрастность. Я полагаю, что он содержит самые справедливые намерения и самые разумные постановления. Когда знаешь, сколь много обстоятельств было против вас в этот сложный момент, сколь много предрассудков вы должны были победить, какие влияния преодолеть, сколько неверных отчетов уничтожить; когда вспоминаешь, с какой уверенностью ваши противники рассчитывали раздавить вас чужими руками, — то можно лишь воздать хвалу усердию, постоянству и талантам ваших защитников, справедливости держав-посредников и неподкупности их полномочных представителей, завершивших этот труд, целью которого был мир. Что бы ни говорили, Устав о Посредничестве оказался спасительным для республики; и если его не нарушат, то он послужит ее сохранению. Даже если этот труд и несовершенен сам по себе, то он относительно совершенен. Он совершенен в данное время, в данном месте и при данных обстоятельствах. Он является для вас наилучшим. Он должен стать для вас неприкосновенным и священным, исходя из соображений благоразумия, даже если бы он не оказался таковым в силу необходимости. И вам не следует вычеркивать из него ни единой строчки, даже если бы в вашей власти было его уничтожить. Более того, один только довод, в силу которого он необходим, делает Устав необходимым в целом. Так как все его взвешенные статьи образуют устойчивое равновесие, то изменение хотя бы одной из них его уничтожит. Насколько этот Устав полезен, настолько же он будет и вреден, если его таким образом искалечить. Нет ничего опаснее, чем брать по отдельности и вынимать из свода статьи, которые вместе взятые составляют его единство. Уж лучше скрыть здание целиком, чем расшатывать его. Только позвольте вынуть хотя бы один камень из свода, и оно раздавит вас под своими развалинами.

Это можно легче всего понять, если рассмотреть те статьи, из которых Совет извлекает пользу для себя, и те, что он не желает соблюдать. Вспомните, сударь, в каком ключе я предпринял свое ис-

следование. Будучи далек от того, чтобы советовать вам касаться Устава о Посредничестве, я хочу вам дать понять, насколько важно не позволить на него посягнуть. Если и кажется, что я высказываю замечания на некоторые статьи, так это для того, чтобы показать, каковы были бы последствия изъятия других, которые их исправляют. Если кажется, что я предлагаю неподходящие здесь средства, так для того, чтобы показать недобросовестность тех, кто считает трудности непреодолимыми, тогда как их очень легко устранить. После этого разъяснения я со спокойной совестью перехожу к сути дела, будучи уверен, что говорю с человеком, слишком правдивым для того, чтобы приписывать мне намерения, совершенно противоположные моим собственным.

Я хорошо понимаю, что если бы я обращался к иностранцам, мне следовало бы начать, дабы меня лучше поняли, с описания вашего государственного устройства. Но это описание уже в достаточной для них мере дано в статье «Женева» г-на д'Аламбера, и более подробное изложение было бы для вас излишним, ибо вам известны лучше меня ваши политические законы или, по крайней мере, вы лучше наблюдали их в действии; я, следовательно, ограничусь тем, что бегло коснусь тех статей этого Устава, которые относятся к настоящему вопросу и наилучшим образом могут послужить его разрешению.

Уже из первой статьи я вижу, что правление у вас состоит из пяти разрядов, подчиненных друг другу и в то же время независимых, т. е. таких, каждый из которых непременно должен существовать; из этих разрядов ни один не может посягать на права и полномочия другого, и из этих пяти разрядов состоит Генеральный Совет. Исходя из этого, я нахожу, что в каждом из пяти разрядов заключена особенная частица правления; но я вовсе не вижу здесь учредительной власти, которая их вводит, связывает и от которой они все зависят; я вовсе не вижу здесь суверена. Но во всяком политическом положении необходимо наличие высшей власти, центра, где все сходится, начала, из которого все исходит, суверена, обладающего всей полнотой власти.

Вообразите, сударь, что кто-либо, описывая вам государственное устройство Англии, скажет следующее: «Правление Великобритании состоит из четырех разрядов, из которых ни один не может посягнуть на права и полномочия остальных, а именно: Король, Верхняя Палата, Нижняя Палата и Парламент». Разве не возразили ли

бы вы тотчас же: «Вы ошибаетесь: здесь налицо только лишь три разряда. Парламент, когда в нем заседает Король, включает их все; он является не четвертым разрядом, а единым целым. Парламент же есть единственная и высшая власть, от которой каждый разряд получает свои права и существование. Облеченный законодательной властью, он вправе изменять даже основной закон, в силу которого существует каждый из разрядов. Он может это делать, и более того — он это делал».

Этот ответ правильный, а пример понятен. И, однако, существует еще та разница, что английский парламент — суверен лишь в силу закона, благодаря предоставленному ему праву и возможности избирать представителей, тогда как Генеральный Совет Женевы не учрежден и не состоит из выборных лиц. Он суверен сам по себе. Он — живое воплощение основного закона, который сообщает жизнь и силу всем остальным частям государства и обладает собственными правами. Генеральный Совет не является каким-либо разрядом в государстве; он сам и есть государство.

Статья вторая гласит, что синдики могут быть избраны только из состава Совета Двадцати пяти. Однако синдики являются магистратами с годичным сроком полномочий, на которых народ указывает и затем их избирает не только для того, чтобы они стали его судьями, но и, в случае надобности, его защитниками против постоянных членов Советов, им не избираемых\*.

Действенность этого ограничения зависит от различия, существующего между властью членов Совета и властью синдиков. Ибо если это различие окажется не слишком велико и какой-либо синдик не расценит свою власть синдика, избранного на годичный срок, выше своей постоянной власти советника, то такие выборы почти не будут иметь для него значения. Он не слишком постареет-

---

\* Предоставляя право выбора членов Малого Совета Совету Двухсот, очень легко согласовать это право с основным законом. Достаточно лишь добавить, что войти в состав Совета нельзя иначе, как после отправления должности аудитора. Иерархия должностей тогда лучше соблюдалась бы, и все три совета участвовали бы в выборах того, кто все приводит в действие; это было бы не только важно, но и необходимо для сохранения единства государственного устройства. Женевцы могут не понять преимущества этой оговорки, если учесть, что выбор аудиторов не имеет в настоящее время большого значения; но эта должность рассматривалась бы совсем иначе, если бы только после ее отправления открывали доступ в Совет.

ся получить такую власть и ничего не сделает, чтобы ее заслужить. Если все члены Совета, проникнутые одним и тем же сознанием, будут следовать одним и тем же правилам, то народ при одинаковом поведении не сможет сделать исключения в отношении кого-либо из них и, имея возможность выбирать лишь тех синдиков, которые уже являются советниками, путем такого избрания не только не обеспечит себе защитников от посягательств Совета, но лишь откроет перед Советом новые возможности притеснять свободу.

Хотя сходный порядок избрания по обычаю имел место с самого начала существования этого установления, но, поскольку он оставался свободным, то не приводил к сходным результатам. Когда народ сам избирал советников или же когда он избирал их косвенным образом через назначенных им синдиков, ему казалось безразличным, а порой даже выгодным выбирать своих синдиков из числа уже избранных им советников \*, и тогда было вполне разумно оказывать предпочтение правителям, уже имевшим опыт в делах. Но в настоящее время над этим соображением берет верх иное, более важное. Вот насколько верно, что один и тот же обычай будет иметь иные последствия в силу изменений в обычаях, связанных с ним, и в подобном случае отказ от новшеств сам по себе окажется новшеством.

Статья 3 Устава более значима. В ней говорится о Генеральном Совете, созываемом на законном основании. Она упоминает о нем с тем, чтобы определить его права и обязанности, и возвращает ему многие из тех прав, которые были незаконно присвоены нижестоящими Советами. Эти права в своей совокупности, конечно, велики и прекрасны. Но, во-первых, они уточнены и уже тем самым огра-

---

\* Малый Совет вначале состоял только лишь из нескольких нотаблей или сведущих людей, избираемых из народа синдиками. Эти нотабли или сведущие люди должны были служить помощниками синдикам. Каждый синдик избирал себе четыре или пять помощников, срок полномочий которых истекал вместе с его собственным; иногда даже он их сменял на протяжении своей службы. Генрих, именуемый Испанцем, стал первым пожизненным советником в 1487 году; его поставил на эту должность Генеральный Совет. Не нужно даже было быть гражданином, чтобы занимать эту должность. Закон относительно этого издали лишь по случаю дела некоего Мишеля Гийе де Тонон, которого, после того как его ввели в состав Совета с ограниченным числом членов, изгнали оттуда из-за множества его ультрамонтанских ухищрений, принесенных с собой из Рима, где он вырос<sup>68</sup>. Магистраты города, бывшие в то время истинными женеvцами и отцами народа, питали отвращение ко всем этим ухищрениям.

ничены. То, что закрепляют, исключает то, что не закрепили; и даже само слово «ограничены» имеет место в этой статье. Однако сама сущность суверенной власти заключается в том, что ее нельзя ограничить; она может все или ничего. Ввиду того, что суверенная власть содержит в себе в наивысшей степени все действительные полномочия государства, и потому, что само существование государства определяется ею, она не может в нем признавать наличия иных прав, кроме принадлежащих ей и тех, что она сообщает. Иначе обладающие этими правами вообще не входили бы в состав политического организма. Они оказались бы чужды ему в силу отсутствия этих прав, и нравственное лицо, не обладая единством, распалось бы.

Это ограничение установлено в отношении налогов. Сам Суверенный Совет не имеет права отменять те их них, которые были установлены до 1714 г. Он, следовательно, зависит от высшей власти. Какова же эта власть?

Законодательная власть состоит из двух неотделимых друг от друга частей: принимающей законы и укрепляющей их, то есть имеющей право надзора за исполнительной властью. Нигде в мире не существует такого государства, где суверен не наделен правом подобного надзора. Иначе из-за отсутствия всякой связи, всякого взаимного подчинения этих двух властей исполнительная власть окажется совершенно независимой от законодательной; исполнение утратит всякую необходимую зависимость от законов; закон станет всего лишь ничего не значащим словом. Генеральный Совет во все времена обладал правом оберегать свое собственное творение, и он всегда осуществлял это право. Однако об этом совершенно не говорится в данной статье; и если бы это не восполняла другая статья, то в силу одного такого умолчания ваше государство было бы разрушено. Этот пункт важен, и я вернусь к нему в дальнейшем.

Если ваши права, с одной стороны, в этой статье ограничены, то, с другой — расширены в параграфах 3 и 4, но восполняется ли одно другим? Начала, обоснованные в «Общественном договоре», показывают, что, вопреки общему мнению, заключение союзов между государствами, объявление войны и заключение мирных договоров не являются решениями суверенной власти, но решением правительства, и эта точка зрения соответствует обычаям тех наций, которые наилучшим образом узнали истинные начала политического права. Осуществление державной власти вовне страны не является

делом народа. Высокие правила управления государством недоступны его пониманию. Он должен в этом отношении полагаться на своих правителей, которые, будучи гораздо более просвещенными в этих вопросах, едва ли заинтересованы в том, чтобы заключать договоры, невыгодные для отечества. Порядок требует, чтобы народ предоставил им наружный блеск, сосредоточивая свое внимание только на существенном. Для каждого гражданина важны главным образом соблюдение законов внутри страны, охрана права собственности и безопасности частных лиц. Пока в государстве будут соблюдаться эти три статьи, можно предоставить Советам вести переговоры и заключать соглашения с иностранными государствами, ибо не отсюда будут исходить опасности, которых вам следует более всего бояться. Права народа сосредоточены в отдельных лицах; и если можно посягнуть на права отдельных лиц, то всегда можно поработить народ в целом. Я мог бы сослаться на мудрость римлян, которые, предоставляя сенату большую власть во внешних сношениях, заставляли его уважать в самом городе последнего из его граждан. Но не будем искать образцов для подражания так далеко: горожане Невшателя вели себя гораздо более мудро, находясь под властью своих государей, чем вы под властью ваших магистратов \*. Они не заключают мира и не объявляют войны, не утверждают договоров, но пользуются своими вольностями, не опасаясь их потерять. И так как закон вовсе не предусмотрел, что в маленьком городе некоторые почтенные горожане могут оказаться негодьями, то внутри стен этого города отнюдь не отстаивают внушающего отвращение права заключать в тюрьму без соблюдения предписанного порядка, каковое право там даже неизвестно. Вас всегда привлекала видимость прав, а не суть дела. Вы слишком большое внимание уделяли Генеральному Совету и недостаточно его отдельным членам. Нужно было меньше думать о власти и больше о свободе. Вернемся же к Генеральному Совету.

Помимо ограничений в статье III, в статье V и в статье VI содержатся еще гораздо более странные ограничения: суверенный организм не вправе ни образоваться, ни задумать какое-либо действие самостоятельно, и он находится в полном подчинении у нижестоящих присутствий в том, что касается его деятельности и вопросов,

---

\* Я упоминаю об этом, оставляя в стороне нарушения, которые, конечно, отнюдь не оправдываю.

подлежащих его рассмотрению. Поскольку эти присутствия, несомненно, не утверждают предложений, которые станут для них особенно вредны, то если выгоды государства окажутся в противоречии с их выгодами, этим последним будет всегда оказано предпочтение, ибо законодателю позволительно знать лишь то, что они одобрили.

Стремясь подчинить все нормам, уничтожают главную из них — а именно: справедливость и общее благо. Когда же люди поймут: ничто не порождает смут столь пагубных, как произвольная власть, при помощи которой хотят от них избавиться. Такая власть сама по себе является наихудшей из смут. Применение такого средства, дабы предотвратить их возникновение, равносильно тому, как если бы людей стали убивать, чтобы они не страдали от лихорадки.

Большое и беспорядочное собрание людей может причинить много вреда. На многолюдном собрании, хотя в нем и сохраняется порядок, если все-таки каждый может говорить и предлагать то, что он хочет, теряется много времени на заслушивание разных глупостей и может даже возникнуть опасность совершения таковых. Вот несомненные истины. Но разумно ли предотвращать злоупотребление, ставя это собрание в зависимость только от тех, кто желал бы его упразднить, дозволяя выступать с предложениями лишь тем, кому только и выгодно ему вредить? Ибо, сударь, не так ли именно обстоит здесь дело, и найдется ли хоть один женевец, который станет сомневаться в том, что Генеральный Совет упразднит навсегда, если он станет полностью зависеть от Малого Совета?

Этот последний, однако, и есть тот самый организм, который только и созывает эти собрания и предлагает там все, что ему угодно. Ибо Совет Двухсот лишь повторяет распоряжения Малого Совета; и если последний избавится от Генерального Совета, Совет Двухсот почти ни в чем не будет его стеснять и пойдет вместе с ним по пути, проложенному при вашем участии.

Какого неудобства мне следует опасаться со стороны вышестоящего лица, в котором я не нуждаюсь, способный заявить о себе лишь тогда, когда я ему это позволю, и отвечать лишь тогда, когда я его спрашиваю? Низведя его до такого положения, разве я не вправе считать, что от него освободился?

Если возразят, что закон государства предотвратил упразднение Генерального Совета, сделав его созыв необходимым при выборах магистратов и для утверждения новых эдиктов, то я отвечаю, по

первому пункту, что, раз вся сила правления перешла из рук магистратов, избираемых народом, в руки Малого Совета, который он не избирает и из состава которого назначают главных из этих магистратов, то и избрание и собрание, где оно происходит, являются просто бессмысленным, ни на чем не основанным обычаем, и собрания Генерального Совета, созываемые только для этой цели, могут считаться ничтожными. Я отвечаю еще, что по тому, как складывались обстоятельства, было бы даже легко обойти этот закон, причем порядок решения дел не изменился бы. Ибо предположим, что либо из-за отвода всех выдвинутых кандидатов, либо под каким-нибудь другим предлогом избрание синдиков не производится, и тогда Совет, в котором незаметным образом растворяется их власть, не станет ли осуществлять эту самую власть без них, как он ее уже теперь осуществляет независимо от них? Не осмеливаются ли вам уже говорить, что Малый Совет, даже без синдиков, есть правительство? Следовательно, и без синдиков управление государством будет продолжать осуществляться. А что касается новых эдиктов, то я ручаюсь, что они никогда не окажутся настолько необходимы, чтобы этот Совет не мог при помощи прежних эдиктов и путем присвоения власти легко найти средство обойтись без новых эдиктов. Тот, кто ставит себя выше старых законов, легко может обойтись без новых.

Приняты все меры для того, чтобы никогда не возникала необходимость в ваших общих собраниях. Дело не только в том, что периодически созываемый Совет, учрежденный или, скорее, воссозданный в 1707 г. \*, заседал всего лишь один раз, и только для того, чтобы себя упразднить \*\*, но и в том, что в силу параграфа 5 статьи III Устава расходы на управление определили без вас и навсегда.

---

\* Периодические советы столь же древни, как и законодательство, как это видно из последней статьи Церковного Ордонанса. В Указе 1576 года, напечатанном в 1735 году, сказано, что созыв этих советов производится раз в пять лет, но в Указе 1561 года, напечатанном в 1562 году, сказано, что они созываются раз в три года. Неверно утверждать, что цель этих советов состояла лишь в заслушивании этого Указа, ибо то, что он был отпечатан именно в это время, давало каждому возможность с легкостью и в удобное время познакомиться с ним, и при этом не было никакой нужды в созыве Генерального Совета. К сожалению, приложили много усилий для того, чтобы изгладить из памяти также многие старинные обычаи, которые теперь оказались бы весьма полезны для объяснения эдиктов.

\*\* Эдикт об упразднении я подробно рассмотрю позднее.

Только лишь в одном-единственном и невероятном случае какой-нибудь неминуемой войны Генеральный Совет обязательно следует созвать.

Малый Совет мог бы совершенно упразднить созыв Генерального Совета без какой-либо иной помехи, чем те немногие представления, что он в состоянии отклонить, или же пробудить некий тщетный ропот, которым он может, ничего не опасаясь, пренебречь. Ибо, согласно статьям VII, XXIII, XXIV, XXV, XLIII, в любом случае всякого рода сопротивление запрещено; а средства, не предусмотренные государственным устройством, не есть его часть и не могут исправлять его недостатки.

Однако Малый Совет так не поступает, потому что, в сущности, все это ему весьма безразлично и потому, что видимость свободы приучает терпеливее сносить рабство. Он с малыми издержками для себя забавляется с вами либо выборами, которые он вам жалуется без последствий для власти и избранных лиц, либо законами, кажущимися важными, но которые он старается сделать бесполезными, соблюдая их лишь насколько, насколько это ему угодно.

Впрочем, на этих собраниях ничего нельзя ни предлагать, ни принимать каких-либо решений. Малый Совет председательствует на них как сам, так и через синдигов, привносящих туда нрав, свойственный их организму. Он является в них, кроме того, магистратом и господином своего суверена. Не противоречит ли всякому здравому смыслу то, что организм исполнительной власти направляет порядок работы законодательного организма и предписывает, чем тот должен ведать, лишает его права высказывать свое мнение, осуществляя свою неограниченную власть даже в решениях, призванных ее обуздать?

То, что столь многочисленный организм \* нуждается в определенных правилах благочиния и в порядке — я с этим согласен. Но

---

\* Генеральный Совет в Женеве в прошлом созывался очень часто, и на его собраниях обсуждалось все то, что приобретало какое-либо значение. В 1707 году синдик Шуэ сказал в одной из речей, ставшей знаменитой, что эти частые созывы были в прошлом причиной слабости государства и несчастий в нем. В дальнейшем мы увидим, что следует думать на этот счет. Он настаивает на том, что чрезмерное увеличение числа членов этого Совета сделало в настоящее время невозможным столь частый его созыв, и утверждает, что в прошлом численность этого собрания не превосходила 200—300 человек, а в настоящее время оно состоит из 1300—1400 человек. С обеих сторон допустили много преувеличений.

пусть эти благочиние и порядок не меняют цели, ради которой он был создан. Разве установить порядки, не влекущие за собой поражения нескольких сот человек, по своей природе степенных и хладнокровных, труднее, чем сделать это в Афинах, где, как нам рассказывают, собрание состояло из нескольких тысяч граждан, горячих, порывистых и почти необузданных; труднее, чем в той столице мира, где народ, собравшись вместе, осуществлял частично исполнительную власть, — и труднее, чем в наши дни в Большом

На самых ранних собраниях Генерального Совета участвовало по меньшей мере от 500 до 600 членов. Было бы, возможно, затруднительно назвать хотя бы одно из таких собраний, которое насчитывало бы лишь 200 или 300 членов. В 1420 г. там насчитывалось 720 имеющих право голоса наряду со всеми остальными<sup>69</sup>; а вскоре туда вошло еще более двухсот горожан.

Хотя город Женева и стал торговым и богатым, от этого количество населения в нем не выросло, так как укрепления не давали возможности его расширить за пределы городской стены, и это стало причиной сноса домов в пригородах. Впрочем, почти не имея земли и находясь в зависимости от соседей из-за недостатка продуктов питания, он вообще не смог бы расширить свои границы, при этом себя не ослабив. В 1404 г. в нем было 1300 домов, где насчитывалось по крайней мере 13 000 душ. В настоящее же время их едва ли наберется более 20 000, что далеко не равно отношению 3 к 14. Однако из этого числа нужно исключить еще уроженцев, жителей, иностранцев, не входящих в Генеральный Совет, число которых очень увеличилось по отношению к числу горожан со времени, когда предоставили убежище французам и стали развивать ремесла. Число участников некоторых Генеральных Советов в наше время доходит до 1400 и даже 1500 человек, но обычно оно не приближается к этой цифре. Если численность некоторых из них и доходит до 1300, то это лишь в крайних случаях, когда все добрые граждане, по видимому, считают, что своим отсутствием они нарушают присягу, или же когда магистраты, со своей стороны, призывают извне тех, кто от них зависит, для того чтобы обеспечить себе их поддержку в своих происках. Однако эти происки, неизвестные в XV в., отнюдь не требовали подобных мер. В большинстве случаев обычное число участников Генеральных Советов колебалось между 800 и 900. Иногда оно бывает меньше числа участников 1420 г., в особенности когда собрание Совета заседает летом и когда речь идет о делах маловажных. Я сам присутствовал в 1754 г. на заседании Генерального Совета, на котором, без сомнения, не присутствовало и 700 членов.

Взвесив все эти различные соображения, надо признать, что Генеральный Совет в настоящее время по своей численности приблизительно соответствует численности Совета два или три века тому назад, или же, по крайней мере, что его состав мало чем отличается от прежнего. Однако все в нем тогда выступали. Порядок и благочиние, которые царят в нем ныне, не были тогда еще заведены. Иногда на Совете раздавались крики. Но народ был свободен, магистрат пользовался уважением, а Совет собирался часто. Следовательно, г-н синдик Шуэ ложно обвинял и рассуждал неверно.

Совете Венеции, столь же многочисленном, как и ваш Генеральный Совет? Жалуются на беспорядки, царящие в английском парламенте, но, однако, в этом собрании, состоящем более чем из семисот членов, где обсуждаются столь важные дела, где сталкивается столько соображений выгоды, где переплетается столько интриг, где люди проявляют горячность, где каждый член имеет право выступать, — все дела вершатся, все поручения выполняются; и дела в этой великой монархии следуют своим чередом. А у вас стремления людей столь просты, столь незамысловаты, и дела следует вести, так сказать, по-семейному, — но вас пугают бурями, как если бы все оказалось на грани гибели! Сударь, как установить добрый порядок в вашем Генеральном Совете? Как только все искренне захотят сделать это ради общего блага, — тогда они станут там свободными, и все будет проходить более спокойно, чем сейчас.

Предположим, что в Уставе использовали бы иной способ рассуждения в сравнении с тем, что приняли; и вместо закрепления прав Генерального Совета, закрепили бы права других Советов, что позволило бы указать на права последнего. Согласитесь, тогда Малый Совет соединил бы в своих руках все виды властей, что весьма странно в свободном и демократическом государстве, и обладателями власти оказались бы правители, которых народ отнюдь не выбирает, и остающиеся пожизненно на своих должностях. Тогда получилось бы следующее: прежде всего, возникло бы соединение двух вещей, несовместимых во всех прочих странах, а именно: соединение управления делами государства и осуществления высшего правосудия в отношении имущества, жизни и чести граждан; разряд граждан, нижестоящий по своему положению, оказался бы высшим по своему могуществу; без нижестоящего совета все оказалось бы безжизненным в республике, ибо он один предлагает решения и главным образом их принимает, и один только его голос, даже в его собственном деле, позволяет наделить правом голоса вышестоящие Советы; появился бы организм, признающий власть другого организма, но один только этот первый организм имел бы право назначать членов второго организма, которому он, однако, подчинен; либо возник бы высший суд, решения которого обжалуют, или же, наоборот, появился бы нижестоящий судья, председательствующий в вышестоящих судах, и этот судья, после того как он заседал в качестве нижестоящего судьи в суде, решения которого обжаловали, не только заседал бы как высший судья в суде, куда подана жа-

лоба, но и в этом Верховном Суде сам выбирал бы себе заседателей. Наконец, возник бы разряд граждан, действующий самостоятельно и направляющий все остальные разряды в их деятельности, поддерживающий при голосовании решения, принятые им самим, подающий свое мнение дважды, а голосующий три раза \*.

Обжалование решений Малого Совета в Совете Двухсот — это поистине детская забава. Это невиданный в политике фарс. Поэтому нужно ли, собственно, называть это обжалование обжалованием, или же мольбой о помиловании перед лицом правосудия, или же это — обжалование приговора в кассационном порядке. Непонятно, что это такое. Позволительно ли думать, что если бы Малый Совет отлично не сознавал, что это последнее обжалование остается без последствий, разве он добровольно отказался бы от права на него, как он это сделал? Такое бескорыстие не в его правилах.

Если решения Малого Совета не всегда поступают на утверждение Совета Двухсот, то это бывает по делам частных лиц с прениями сторон, когда магистрату совершенно безразлично, какая из них проиграет или выиграет судебное разбирательство. Но в делах, возбуждаемых в обязательном порядке, в каждом из тех дел, в которых заинтересован сам Малый Совет, исправлял ли когда-либо Совет Двухсот несправедливость, допущенную Малым Советом? Защищал ли он когда-либо обиженного? Осмеливался ли он когда-нибудь не утвердить то, что содеял Малый Совет? Использовал ли он хоть раз и с честью свое право помилования? Я с горечью вспоминаю времена, память о которых ужасна и неизгладима. Некий

---

\* В государстве, где образ правления республиканский и где говорят по-французски, нужно было бы создать особый язык для ведения дел управления. Например, «обсуждать», «подавать мнение», «голосовать» — это три весьма различные понятия, которые французы недостаточно различают. «Обсуждать» — это значит взвешивать доводы за и против; «подавать мнение» — значит выражать свое мнение и обосновывать его; «голосовать» — значит подавать свой голос, когда остается только подсчитать голоса. Сначала какой-либо вопрос ставится на обсуждение, в первую очередь по этому вопросу высказываются мнения, а в последнюю очередь его ставят на голосование. У судов повсюду приблизительно один и тот же облик, но ввиду того что при монархии народу нет нужды знать эти выражения, они известны только адвокатскому сословию. Допуская другую неточность в этом языке, г-н де Монтескье, которому был отлично знаком этот язык, всегда говорил «исполняющая власть», нарушая, таким образом, аналогию и образуя причастие от слова «исполнитель», являющегося существительным. Это такая же ошибка, как если бы он сказал «законодательствующая власть».

гражданин<sup>70</sup>, которого Малый Совет сделал жертвой своего мщения, обжалует приговор перед Советом Двухсот; несчастный унижается до того, что просит о помиловании; его невиновность известна всем; все правила были нарушены в этом разбирательстве, но ему отказывают в помиловании, и невинный погибает. Фацио столь хорошо сознавал бесполезность обжалования в Совет Двухсот, что не стал пользоваться этим правом.

Я ясно вижу, что представляет собой Совет Двухсот в Цюрихе, в Берне, во Фрибурге и в других аристократических государствах, но я не могу сказать, что он представляет собой в вашем государственном устройстве и какое место он в нем занимает. Является ли он высшим судом? В таком случае бессмысленно, если во время его собрания в нем заседает нижестоящий суд. Является ли он организмом, представляющим суверена? В таком случае тот, кого представляют, должен назначать своего представителя. Учреждение Совета Двухсот не может иметь иной цели, чем умерить огромную власть Малого Совета; а он, наоборот, только и придает больше силы этой самой власти. Однако всякий организм, постоянно действующий вопреки смыслу своего учреждения, — плохое учреждение.

К чему настаивать здесь на общепризнанных вещах, которые известны каждому женеvcу? Совет Двухсот сам по себе ничего из себя не представляет. Это лишь Малый Совет, проявляющий себя в несколько ином виде. Один-единственный раз он попытался сбросить иго своих хозяев и обрести независимое существование, и из-за этой единственной попытки чуть было не произошло крушение государства. Только лишь благодаря Генеральному Совету Совет Двухсот сохраняет еще видимость власти. Это было отчетливо заметно в тот период времени, о котором я говорю; это станет еще более заметно впоследствии, если Малому Совету удастся достичь своей цели. Таким образом, когда в согласии с Малым Советом Совет Двухсот способствует ущемлению прав Генерального Совета, он тем самым готовит собственное крушение; и если он думает, что идет по стопам Совета Двухсот в Берне, то в этом он жестоко заблуждается. Но почти всегда на этом Совете наблюдалось мало мудрости и еще менее мужества; иначе и не может быть, если принять во внимание, каким образом этот Совет пополняется\*.

\* Сказанное распространяется на Совет Двухсот вообще и на дух этого организма; ибо я знаю, что среди членов Совета Двухсот есть весьма просвещенные лица.

Вы видите, сударь, насколько, вместо того чтобы уточнить права суверенного Совета, было бы полезнее уточнить полномочия, предоставленные подчиненным ему организациям; и, даже не вникая во все остальное, вы более отчетливо понимаете, что в силу некоторых статей, взятых в отдельности, Малый Совет становится вершителем судеб закона, а потому и частных лиц. Когда принимают во внимание права граждан и горожан, собравшихся в Генеральном Совете, то эти права выглядят блестяще. Но взгляните на этих же самых граждан и горожан за пределами собрания как на отдельных лиц, и что же тогда они собой представляют? Кем они становятся? Рабы произвольной власти, они оказываются беззащитными перед произволом двадцати пяти деспотов<sup>71</sup>. У афинян их было по крайней мере тридцать. Но что я говорю — двадцать пять. Достаточно девяти для вынесения судебного решения по делам гражданским и тринадцати — по делам уголовным \*\*. Достаточно, если семь или восемь человек из этого числа выразят согласие, и они превратятся в децемвиры. Но ведь децемвиры избирались народом, тогда как ни один из этих судей вами не избирается. И это называется быть свободными!

### *Письмо VIII*

Я, сударь, исследовал ваше нынешнее правление согласно Уставу о Посредничестве, благодаря которому оно учреждено. Однако я далек от мысли, чтобы обвинить Посредников в желании низвести вас до рабства; я, напротив, доказал бы, что они во многих отношениях улучшили ваше положение по сравнению с тем, которое было до волнений, заставивших вас принять их добрые услуги. Они

---

у которых нет недостатка в усердии. Но, постоянно находясь на виду у Малого Совета, будучи предоставлены его произволу, не имея поддержки, не получая помощи и хорошо сознавая, что их Совет в случае чего от них отступится, они поддерживаются от бесполезных попыток, которые только опорочили бы их и погубили. Подлый сброд шумит и торжествует. Мудрец молчит и втайне вздрагивает.

Впрочем, Совет Двухсот не всегда терял доверие к себе, как это случилось теперь. Некогда он пользовался уважением общества и доверием граждан. Поэтому граждане спокойно давали ему возможность осуществлять права Генерального Совета, которые Малый Совет постарался косвенным путем присвоить себе. Еще одно доказательство в пользу того, о чем будет сказано далее: горожане Женывы малопредприимчивы и почти совсем не вникают в государственные дела.

\*\* Гражданские эдикты. Раздел I. Ст. 36.

нашли город вооруженным; по их прибытии все находилось в состоянии развала и смущения, и подобное положение не давало им возможности отыскать правила, в соответствии с которыми они должны были действовать. Они обратили взгляд на мирные времена, они изучили изначальное устройство вашего правления. И, с учетом пройденного им пути, его следовало полностью перестроить для того, чтобы восстановить; разум, справедливость не позволили им учредить у вас новое правление, да вы его бы и не приняли. Таким образом, не имея возможности исправить недостатки, они ограничились тем, что укрепили завещанное вашими предками; они его даже исправили в некоторых отношениях; среди злоупотреблений, о которых я только что говорил, прежде чем посредники узнали об их существовании в вашей республике, не было ни одного, сохранявшегося продолжительное время. И как мне кажется, единственная ваша ошибка заключалась в том, что вы отобрали у законодателя всю полноту исполнительной власти и возможность использовать силу для укрепления правосудия. Однако, давая вам в руки столь надежное и более законное средство, они превратили это очевидное зло в истинное благодеяние; ручаясь за ваши права, они избавили вас от необходимости защищать их самостоятельно. Ах! В суетности человеческих забот какая из них стоит того, чтобы из-за нее проливать кровь наших братьев? Даже свобода не стоит такой цены.

Посредники могли ошибаться; ведь они — люди. Но они не имели ни малейшего желания вас обманывать; они лишь желали быть справедливыми. Это понятно само собой, это даже доказуемо; и в самом деле, все то, что можно счесть двусмысленным или неудачным в сделанном ими, было таковым по необходимости, иногда в силу заблуждений, но вовсе не по злему умыслу. Им пришлось совместить вещи, почти несовместимые: права народа и требования Совета, власть законов и власть людей, независимость государства и обеспечение прав в Уставе. При все этом нельзя было избежать некоторых противоречий; и именно в силу этих противоречий ваш магистрат получает преимущество, обращая все в свою пользу и заставляя использовать половину ваших законов для того, чтобы нарушать другую половину.

С самого начала было ясно, что Устав сам по себе не является законом, навязанным республике по воле Посредников, но всего лишь соглашением, которое они заключили с ее жителями, и что они,

следовательно, никоим образом не посягали на его суверенитет. Это ясно, говорю я, в силу статьи 44, оставляющей за Генеральным Советом, законным образом созданным, право вносить в статьи Устава любые угодные ему изменения. Так, Посредники никоим образом не считали свою волю выше воли Совета; они вмешивались только в случае разногласий. В этом суть статьи 15.

Однако отсюда следует также и ничтожность оговорок и ограничений в отношении прав и полномочий Генерального Совета в статье 3. Ибо если Генеральный Совет решит, что эти ограничения и оговорки более не устанавливают рамки его власти, то этих рамок больше не будет<sup>72</sup>; и когда все члены суверенного сосударства осуществляют власть самостоятельно, то кто же окажется вправе этому противодействовать? Исключения, которые можно вывести из статьи 3, означают, таким образом, не что иное, как то, что Генеральный Совет будет придерживаться этих рамок до тех пор, пока он не сочтет нужным выйти за них.

Именно в этом заключается одно из противоречий, о котором я говорил и причину которого легко понять. Впрочем, полномочным представителям, усвоившим иного рода правила, касающиеся правления, было трудно вникнуть в истинные начала вашего правления. Демократическое государственное устройство до настоящего времени еще плохо изучено. Все те, кто об этом говорили, либо были с ним не знакомы, либо мало проявляли к нему внимания, либо ставили перед собой цель представить его в невыгодном свете. Никто из них не мог в достаточной мере отличить суверена от правительства, законодательную власть от власти исполнительной. Ведь не существует ни одного государства, в котором эти две власти можно было бы таким образом отделить друг от друга и где не имело бы места весьма сильное желание их смешивать. Одни воображают, что демократия и есть правительство, в котором весь народ является магистратом и судьей; другие видят свободу только в праве избирать своих правителей, и поскольку правители подчиняются лишь государям, то эти люди считают, что тот, кто руководит, тот и является во всех случаях сувереном. Демократическое государственное устройство есть, несомненно, образец политического искусства: однако чем больше в нем восхищаются искусством, тем меньше оказываются способны это искусство понять. Разве не правда, сударь, что главная предосторожность заключалась в том, что-

бы допускать созыв законного Генерального Совета не иначе как по инициативе Малого Совета, а вторая предосторожность заключалась в том, чтобы не допускать рассмотрения никаких предложений, прежде не одобренных Малым Советом, а этих предосторожностей было бы достаточно для обеспечения высшей степени независимости Генерального Совета? Третья предосторожность, которая заключается в том, чтобы определить предмет ведения этого Совета, была самой бесполезной вещью в мире. И в чем заключалось бы неудобство оставить за Генеральным Советом полноту высшей власти, поскольку он сможет ею воспользоваться настолько, насколько ему позволит Малый Совет? Не ограничив права суверенной власти, мы, по сути, поставим ее в меньшую зависимость, но при этом избежим противоречия; все это доказывает, что напрасные сами по себе и противоречивые по своей сути меры предосторожности были приняты в силу отсутствия точного знания о характере вашего государственного устройства.

Скажут, что эти ограничения имели целью только указать на случаи, когда нижестоящие Советы обязаны созвать Генеральный Совет. Я это хорошо понимаю; но не проще и не естественнее ли было бы указать на права, предоставленные им и осуществляемые без участия Генерального Совета? Разве ограничения стали бы менее четкими в отношении как одной, так и с другой стороны, если бы нижестоящие Советы пожелали бы нарушить эти ограничения? Неужели не ясно, что для этого им потребовалось бы особое разрешение? При этом, признаюсь, Посредники имели в виду сосредоточить больше власти в одних и тех же руках; но они представили вещи в их истинном свете, вывели из природы вещей средство закрепить взаимные права различных организмов государства, и они понимали всю противоречивость положения дел.

Правда, автор «Писем» настаивает на том, что Малому Совету, собственно правительству, надлежит в этой должности осуществлять всю власть, не принадлежащую другим политическим организациям; но это означает предположить, что его власть возникла раньше Эдиктов. Это означает предположить, что Малый Совет есть основной источник власти и сохраняет все те права, которые не отчуждает. Узнаете ли вы, сударь, в этом начале начало вашей конституции? Столь любопытное доказательство стоит того, чтобы на нем ненадолго остановиться.

Для начала заметьте, что здесь речь идет о власти Малого Совета \*, противопоставленной власти синдиков, а именно, о каждой из этих двух властей, отделенных друг от друга. В Уставе говорится о власти синдиков без Совета. Почему? Потому что Совет без синдиков есть правительство. Таким образом, само умолчание Эдиктов о власти Совета, никоим образом не доказывая ничтожность этой власти, является доказательством ее размеров. Вот, без сомнения, вывод совершенно необычный. Тем не менее согласимся с ним до тех пор, пока не будет доказано противоположное.

И если в силу того, что Малый Совет и есть правительство, Эдикты вовсе не упоминают о его власти, то они, по крайней мере, утверждают, что Малый Совет и есть правительство; если только, следуя цепочке доказательств, не прийти к выводу, что их умолчание не подтверждает противоположное сказанному в них.

Однако я требую, чтобы мне показали в ваших Эдиктах место, где говорится о том, что Малый Совет является правительством; а пока я вам сам покажу, где сказано прямо противоположное. В политическом Эдикте 1568 года я нахожу вводную часть, написанную с этой целью:

Пусть правление и государство этого города состоят из четырех синдиков, Совета Двадцати Пяти, Совета Шестидесяти, Двухсот, Общего Совета и Лейтенанта отправляющего обычное правосудие, с прочими должностями, как для нужд благочиния, так и для управления общественным достоянием и правосудием, мы приняли порядок, который до сих пор соблюдается <...> чтобы он сохранился и в будущем <...> как и в дальнейшем!

С самой первой статьи Эдикта 1738 года, я вижу, что еще «пять разрядов составляют правительство Женевы». Однако из этих пяти разрядов четыре синдика образуют один из них, а Совет Двадцати Пяти, в который, несомненно входят все четыре синдика, образует другой разряд; и синдики входят в состав еще трех остальных. Малый Совет без синдиков не является правительством.

Я открываю Эдикт 1707 года, и я вижу там статью 5, дословно: «Господа синдики осуществляют руководство и составляют правительство государства». В то мгновение, когда я закрыл книгу, я говорю: «Определенно, согласно Эдиктам, Малый Совет без синдиков

\* «Письма из деревни». С. 66.

не является Правительством. Хотя автор «Писем» утверждает обратное».

Скажут, что я сам часто приписываю в этих «Письмах» Малому Совету правительственные полномочия. Я это признаю; однако именно Малому Совету под председательством синдиков; и тогда становится очевидным, что выражение «частичное правительство» употребляется в том смысле, который я придаю этому слову «частичное». Но этот смысл не тот, который подразумевает автор «Писем», поскольку, согласно моему пониманию, правительство обладает только теми полномочиями, которыми его наделил закон; а согласно его пониманию, наоборот, правительство обладает всеми полномочиями, которых его не лишает закон.

Во всей своей силе остается возражение сторонников Представлений, согласно которому в тексте Устава в разделе о синдиках речь идет об их власти, а в разделе о Совете говорится только лишь о его долге. Я считаю, что это возражение остается во всей своей силе, поскольку автор «Писем» отвечает на него только утверждением, опровергаемым всеми текстами Эдиктов. Вы доставите мне удовольствие, указав, сударь, каким недостатком грешит мое рассуждение.

Тем не менее этот автор, очень довольный своим рассуждением, спрашивает: «Если законодатель не рассматривал Малый Совет с такой точки зрения, как понять тот факт, что нигде в Эдиктах он не давал перечня его прав, наличие которых предполагается повсюду и которые он нигде не определил?»

Смею проникнуть в эту глубокую тайну. Законодатель никоим образом не определяет властные полномочия Совета, потому что он не наделяет его никакой властью, независимой от синдиков; он предполагает ее наличие лишь тогда, когда в нем председательствуют синдики. Он наделил властью синдиков, и, следовательно, излишне было наделять властью Совет. Синдики имеют некоторые полномочия вне Совета, но Совет без синдиков не получает каких-либо полномочий. Без них он ничто; он значит еще меньше, чем Совет Двухсот в то время, когда в нем председательствовал аудитор Саразен<sup>73</sup>.

Вот, как я полагаю, единственное разумное объяснение умолчания Эдиктов по вопросу о власти Совета; но это не то объяснение, с которым угодно согласиться магистратам. Возможно было бы избежать странных толкований Устава с их стороны, если бы в нем

воспользовались противоположным способом и, вместо того чтобы указать на права Генерального Совета, указали бы на права Малого Совета. Однако, отнюдь не желая говорить то, о чем и речи не было в Эдиктах, члены Малого Совета стали намекать на допущения, отсутствующие в Эдиктах.

Как много здесь противоречащего общественной свободе и правам граждан и горожан! И сколько я мог бы еще к этому добавить! Однако все эти недостатки, которые возникали или, кажется, возникают в вашем государственном устройстве и которые невозможно было бы устранить, не разрушая его, были бы вполне уравновешены и исправлены путем взаимных уступок, возникающих при этом; таковым и было в точности намерение посредников, заключавшееся, согласно их собственному заявлению, «в сохранении у каждого его прав, особых полномочий, вытекающих из основного Закона государства». Господин Мишели Дюкре<sup>74</sup>, озлобленный невзгодами и выступавший против этого труда посредников, где о нем не упомянули, обвиняет Устав в попытке опрокинуть основное установление вашего правления и в том, что Устав лишает граждан и горожан их прав, не желая при этом видеть, в какой мере эти права, как публичные, так и частные, охранялись этим Уставом, например, в статьях 3, 4, 10, 11, 12, 22, 30, 31, 32, 34, 42 и 44, и не задумываясь о том, что значимость всех этих статей зависит от одной-единственной статьи. Ее тоже сохранили. Эта статья основная, составляющая одинаковый противовес всем тем, что вам не нравятся, и при необходимости всем тем, к применению которых вы относитесь благосклонно и которые оказались бы бесполезны, если бы удалось обойти эту главную статью, что и постарались сделать. Вот мы и подошли к важному пункту, но чтобы понять его значение, следовало оценить весомость всего того, что я только что изложил.

Не следует путать независимость со свободой. Эти две вещи так отличаются, что даже взаимно исключают друг друга. Когда каждый делает то, что ему нравится, то часто он делает то, что не нравится другим; но это не есть состояние свободы. Свобода не столько заключается в том, чтобы проявлять свою волю, сколько в том, чтобы не поступать по воле другого человека; она заключается еще и в том, чтобы не подчинять волю остальных людей нашей воле. Всякий, кто является господином, несвободен; и царствовать — означает подчиняться. Ваши магистраты знают это лучше, чем кто бы то ни было; они, подобно Отону, не упускают случая раболепствовать,

ради возможности властвовать \*. Мне известна только одна по-настоящему свободная воля: это та, которой никто не имеет права оказать сопротивление, когда речь идет о свободе всех, никто не вправе делать то, чему препятствует свобода другого человека; и истинная свобода сама по себе не может быть разрушительной. Таким образом, свобода без справедливости есть подлинное противоречие; ибо, с какой стороны ни посмотри, все стесняет исполнение намерений разнузданной воли.

Итак, не существует никакой свободы без законов и никого, кто стоял бы выше законов; даже в природном состоянии человек свободен только по закону природы, который царит над всеми людьми. Свободный народ повинуетя, но не прислуживает; у него есть правители, но нет господ; он повинуетя законам, исключительно законам, и именно благодаря законам он не повинуетя людям. Все ограничения власти магистратов в республиках установлены только для того, чтобы защитить от их посягательств священноеместилище законов. Они являются исполнителями законов, но не господами; они должны охранять их, но не нарушать. Вне зависимости от образа правления, народ свободен тогда, когда в том, кто им управляет, он видит вовсе не человека, а проводника власти. Одним словом, свобода всегда зависит от участия законов, она царит или погибает вместе с ними; по моему мнению, нет ничего более верного.

У вас добрые и мудрые законы, либо сами по себе, либо в силу того, что они просто-напросто законы. Любое требование, предписанное каждому всеми, не может быть в тягость никому; и худший из законов не чета лучшему хозяину: ибо всякий хозяин оказывает предпочтение, а закон этого не делает никогда.

---

\* «В общем, — говорит автор "Писем", — люди не столько любят повелевать, сколько боятся повиновения». Тацит судил об этом иначе, а ему было ведомо человеческое сердце. Если бы это правило было верным, слуги вельмож не вели бы себя нагло с горожанами, и мы наблюдали бы меньше бездельников, пресмыкающихся при дворах государей. Мало найдется людей с достаточно чистым сердцем и способных любить свободу. Все желают властвовать, и ради этого никто не страшится оказывать повиновение. Мелкий выскочка становится слугой ста господ, дабы распорядиться десятком лакеев. Стоит только посмотреть, как гордо ведет себя знать при монархии, с какой напыщенностью произносит эти слова: «слуга», «служить», сколь великими и уважаемыми они почитают себя, когда их удостоивают чести сказать вслух: «король», «мой господин», «мой владыка»; сколь пренебрежительно они относятся к республиканцам, обладающим всего лишь свободой, которые, несомненно, благороднее их.

С того момента как строй вашего государства приобрел законченный вид и устойчивость, истекает срок полномочий Законодателя. Безопасность здания требует, чтобы возникло столько же препятствий на пути тех, кто хотел бы на него покуситься, сколько поначалу было необходимо благоприятных возможностей для его постройки. Право Совета давать отрицательный ответ, истолкованное в этом смысле, является опорой республики. Статья 6 Устава ясна и точна; в этих рассуждениях я встаю на точку зрения автора «Писем»: я считаю их безупречными. И когда это право, на которое столь справедливо ссылаются ваши магистраты, будет противоречить вашей выгоде, то вам следует терпеливо к этому относиться и не возражать. Честные мужи никогда не должны ни закрывать глаза на очевидное, ни оспаривать истину.

Работа завершена; теперь речь идет только о том, чтобы сделать созданное нерушимым. Однако творение Законодателя меняется к худшему и уничтожается не иначе как одним способом: лишь тогда, когда те, кто призван хранить это творение, совершают над ним насилие и заставляют повиноваться законам, сами им не повинуются\*. И, таким образом, наихудшее происходит из лучшего; и закон, служащий охраной от тирании, становится еще более пагубным, чем тирания сама по себе. Вот именно это и призвано предотвратить право на Представления, провозглашенное в ваших Эдиктах, право ограниченное, но подтвержденное Посредниками. Это право дает вам надзор не только за законодательством, как это было прежде, но и за управлением; и ваши магистраты, всесильные в рамках закона, которые только и уполномочены предлагать Законодателю новые законы, подчиняются его суждению в случае, если они уклоняются от повиновения законам, принятым им. Именно в силу этой статьи ваше правление, в остальном не свободное от весьма значи-

\* Народ повсеместно восставал против законов только в том случае, когда правители первыми начинали их нарушать в чем бы то ни было. Именно на этом понятном основании в Китае, когда в какой-нибудь провинции происходил бунт, неизменно наказывали губернатора<sup>75</sup>. В Европе короли всегда поступали, руководствуясь противоположным правилом: судите сами о степени процветания их государств! Население уменьшается повсюду на десятую долю каждые тридцать лет; но оно отнюдь не убывает в Китае<sup>76</sup>. Восточный деспотизм сохраняет себя тем, что он более сурово относится к вельможам, чем к народу; он сам в себе нашел лекарство от недуга. Я знаю по слухам, что Порта также начинает придерживаться христианского правила. Если это так, то вскоре мы увидим, что из этого последует.

тельных недостатков, оказывается самым лучшим из тех, что когда-либо существовали. Можно ли встретить правление лучшее, чем то, при котором все его части находятся в совершенном равновесии, а частные лица не преступают законы, поскольку они подчиняются судьям, а судьи также не могут преступать законы, потому что они находятся под надзором народа?

Действительно, для того чтобы извлечь явную пользу из этого преимущества, не следует его основывать на ничтожном праве. Однако, кто говорит «право», уже предполагает некую пользу. Говорить тому, кто преступил закон, что он преступил Закон, значит заниматься бесполезным делом; это значит учить его тому, что он знает не хуже вас.

Право обладает, согласно Пуфендорфу, моральными качествами, в силу которых нам воздают нечто должное. Свобода, заключающаяся в том, чтобы подавать жалобы, не есть право, или все же это право, которым природа наделяет всех, и закон ни одной страны ни у кого его не отнимает. Приходило ли кому-нибудь в голову объявить в законах, что тот, кто проиграл процесс, волен подавать жалобу? Приходило ли кому-нибудь в голову наказывать за что-то подобное? Существует ли хоть одно правительство, какой бы безграничной ни была его власть, при котором ни один гражданин не имел бы права подать прошение государю или его министру относительно того, что он считает полезным для государства? Какой бы взрыв смеха вызвал опубликованный эдикт, где прямо закреплялось бы за подданными право подавать подобные прошения? И не в деспотическом государстве, но в республике, при демократии гражданам, этим членам суверенной власти, предоставляется подлинное право и дозволение им пользоваться при обращении к своим магистратам, то право, что никакой деспот никогда не отнимет у последнего из своих рабов!

Как! Это право подавать Представления должно заключаться только в том, что вручают бумагу, которую никто даже не обязан читать, получая в ответ сухой отрицательный ответ? \* Это право, столь торжественно провозглашенное в виде награды за столь многие жертвы, ограничилось бы редкой возможностью просить и ничего не получать взамен? Осмеливаться выдвинуть подобное предложение — значит обвинить Посредников в совершении самого

\* Так, например, случилось в Совете 10 августа 1763 года с Представлениями, врученными господину Первому Синдику большим числом граждан и горожан.

низкого подлога в отношении горожан Женева; это значит оскорбить честность полномочных представителей, справедливость власти Посредников; это значит замахнуть на благопристойность и нанести ущерб здравому смыслу.

Но, наконец, в чем заключается это право? До каких пределов оно простирается? Каким образом оно может быть осуществлено? Почему оно не уточняется в статье 7? Вот разумные вопросы; при их рассмотрении возникают затруднения.

Решение только одного из них приведет нас к решению всех остальных и обнаружит истинный смысл этого учреждения.

В таком государстве, как ваше, в котором суверенитет находится в руках народа, Законодатель все-таки существует, хотя и не всегда проявляет себя. Его созывают на собрание, и он заявляет о себе только в Генеральном Совете. Но вне этого Совета он никуда не исчезает; его члены разобщены, но они не умирают; они не в состоянии принимать закон, но всегда могут следить за его применением; это право — это даже обязанность, возложенная лично на каждого, и никто ни в коем случае не может быть от нее освобожден. Отсюда вытекает и право Представлений. Так, Представление гражданина, горожанина или многих из них является всего лишь провозглашением их мнения по вопросу, входящему в круг их обязанностей. В этом заключается ясный и бесспорный смысл Эдикта 1707 года и статьи V, которая касается Представлений.

В этой статье не без оснований запрещено собирать подписи, поскольку это является способом голосования каждого. Это — подача голоса, точно так же, как на Генеральном Совете, а порядок, принятый на Генеральном Совете, следует соблюдать лишь тогда, когда он законным образом созван. подача Представлений имеет то же преимущество без неудобств, связанных с этим порядком. Это не есть голосование в Генеральном Совете, но подача мнения по вопросам, которые должны быть ему представлены; поскольку голоса при этом не подсчитываются, то голосование не происходит, это лишь подача мнения. Это мнение, по правде сказать, — лишь мнение частного лица или нескольких частных лиц; но поскольку эти частные лица являются членами суверенной власти и могут представлять его в определенном числе, то здравый смысл требует, чтобы их мнение принималось во внимание, но не в виде решения, а в виде предложения, которое нужно для принятия решения, а иногда и необходимо.

Эти Представления могут касаться двух важных предметов, и различие между ними определяет тот порядок, в соответствии с которым Совет должен дать ход этим Представлениям. Первый из этих предметов касается неких изменений в законе, исправления содержащегося в законе нарушения прав граждан. Этот перечень полный и включает в себя целиком предмет Представлений. Он основан на Эдикте, в котором употребляются различные выражения, относящиеся к этим предметам, и он вменяет Генеральному прокурору обязанность предъявлять настойчивые требования или делать внушения, в зависимости от того, каким образом граждане подадут ему свои жалобы или ходатайства\*.

Как только это различие установлено, Совет, к которому обращены Представления, обязан принять их к сведению различным образом, в зависимости от их предметов. В государстве, где правительство и законы уже прочно установлены, следует, насколько это возможно, избегать вносить в них новшества; и это особенно важно для маленьких республик, где малейшее потрясение разобщает все части правления. Неприязнь к новизне, таким образом, является обоснованной, и в особенности у вас, поскольку в этом случае вы только потеряете, а правительство не может серьезно воспрепятствовать появлению новых установлений: ибо, как бы ни были полезными новые законы, почти всегда не столько ясны преимущества от их введения, сколько велика их опасность. В этом случае, когда гражданин или горожане высказали свое мнение, они исполняют свой долг; они должны, сверх того, питать достаточное доверие к своему магистрату, чтобы считать его в состоянии оценить преимущества предложения и склонным его поддержать, если тот посчитает его полезным для блага общества. Закон, таким образом, очень благоразумно позаботился о том, чтобы введение и даже само предложение подобных нововведений не имело места без учета

---

\* Ходатайствовать — это означает не только требовать, но требовать в силу права, на которое мы притязаем. Это понимание закреплено во всех правовых документах, где это судебное выражение употреблено. Мы говорим «требовать правосудия», но никогда не говорим «требовать милости». Таким образом, и в случае ходатайства, и в случае притязания граждане в равной мере имеют право требовать, чтобы их прошения или их ходатайства, отклоненные нижестоящим Советом, были рассмотрены Советом Генеральным. Однако это слово, добавленное в статью 6 Эдикта 1738 года, ограничивает пользование этим правом только случаями жалоб, как об этом сказано в его тексте.

мнения Советов; и вот в чем должно состоять право дать отрицательный ответ, на которое они ссылаются, и оно, по моему мнению, им бесспорно принадлежит.

Однако второй предмет Представлений, в основе которого лежит прямо противоположное начало, следует принимать к сведению иным образом. Здесь и речи нет о введении чего-то нового; наоборот, речь о том, чтобы воспрепятствовать появлению новшеств; речь идет не о том, чтобы установить новые законы, но укрепить прежние. Когда силою вещей обстоятельства склонны меняться, то необходимы беспрестанные усилия, способные остановить ход вещей. Вот то, что граждане и горожане, столь сильно заинтересованные в том, чтобы предотвратить всякие изменения, должны иметь в виду в жалобах, о которых говорит Эдикт. Поскольку Законодатель по-прежнему присутствует, он замечает влияние закона или злоупотребление им; он видит, исполняется ли он или нарушается, правильно или неправильно его толкуют; он за этим следит, он обязан это делать; в этом его право, его долг, ради чего он и приносит присягу. Именно этот долг он исполняет, составляя Представления; именно это право он осуществляет в данном случае; и было бы противно разуму, даже противно обычаю стремиться расширить это право Совета давать отрицательный ответ относительно подобного предмета Представлений.

Это было бы совершенно неразумно со стороны Законодателя, поскольку в этом случае всякая торжественность принятия законов стала бы бессмысленна и смешна, и в действительности у государства не оказалось бы иного закона, кроме воли Малого Совета, полностью наделенного властью пренебрегать предписанными ему нормами, презирать их, нарушать, переиначивать на свой лад и выносить решение, считая черным то, что закон называет белым, и не отчитываясь ни перед кем. Зачем торжественно собираться в храме Святого Петра и утверждать там Эдикты, не имеющие силы, а потом сказать Малому Совету: «Господа, вот свод законов, принятый нами в государстве и хранителями которого мы вас делаем, с тем чтобы вы следовали его предписаниям, когда вам это заблагорассудится, и нарушали его, когда вам угодно?»

Это было бы крайне неразумно в отношении Представлений, потому что в этом случае право, отдельно провозглашенное в одной статье Эдикта 1707 года и отдельно подтвержденное в одной статье Эдикта 1738 года, оказалось бы правом призрачным и обман-

чивым и означало бы только свободу жаловаться без каких-либо последствий в случае, когда нам причиняют обиды; эту свободу никто ни у кого и никогда не станет оспаривать; глупо и смешно закреплять это право в законе.

Наконец, это оказалось бы неприличным, ибо подобным предположением нанесли бы оскорбление честным намерениям Посредников; и это значило бы считать ваших магистратов мошенниками, горожан глупцами, раз они вели переговоры, заключали соглашения, делали уступки со всей торжественностью, с тем чтобы поставить одну сторону в полную зависимость от другой и взамен весьма значительных уступок получить ничего не значащие обеспечения своих прав.

Но позвольте, говорят эти господа, выражения Эдикта недвусмысленны: «Ничто не будет вынесено на рассмотрение Генерального Совета, что не было допреди рассмотрено и поддержано Советом Двадцати Пяти, затем Советом Двухсот».

Во-первых, что иное доказывает в отношении изучаемого нами вопроса данная фраза, если не наличие определенной последовательности рассмотрения, соответствующей установленному порядку, и наличие обязанности предварительно рассматривать и одобрять все то, что должно быть вынесено на рассмотрение Генерального Совета? Не обязаны ли Советы одобрять все то, что предписано законом? Как! Если Советы не согласились с необходимостью начать выборы синдиков, то не следует к ним приступать? И если предложенные вопросы ими не были одобрены, то разве это не заставляет их одобрить предложение других вопросов?

Впрочем, кто не в состоянии видеть того, что это право одобрять и отклонять безусловно применяется только в отношении предложений, содержащих новизну, но не в отношении тех, что ставят целью укрепить уже установленное? Сочтете ли вы соответствующим здравому смыслу предположение о необходимости нового одобрения, с тем чтобы исправить нарушения в старом законе? В одобрении, данном этому закону, когда он введен в действие, уже содержится все то, что относится к его исполнению: если Советы одобрили введение этого закона, то они тем самым одобрили и его соблюдение и, следовательно, наказание за его нарушение. И если горожане, подавая жалобы, ограничиваются требованием возмещения ущерба, не требуя наказания, как можно настаивать на том, что подобное предложение нуждается в новом одобрении? Сударь, если

это — не насмешка над людьми, то скажите мне на милость, как можно еще над ними насмеяться?

Вся сложность заключается здесь, таким образом, только в вопросе факта. Нарушен ли закон или не нарушен? Граждане и горожане говорят, что да; магистраты это отрицают. Однако посмотрите, прошу вас, можно ли в подобном случае придумать нечто менее разумное, чем то право давать отрицательный ответ, которое они себе приписывают. Им говорят: «Вы нарушили закон». Они отвечают: «Мы его не нарушали»; и, таким образом, оказавшись высшими судьями в своем собственном деле, они себя уже и оправдали, вопреки всякой очевидности, одним своим собственным утверждением.

Вы меня спросите, не пытаюсь ли я сказать, что противоположное утверждение всегда станет очевидным? Я этого не утверждаю; я говорю, что даже если бы оно было таковым, ваши магистраты, вопреки очевидности, держались бы за свое так называемое право давать отрицательный ответ. Это то, что происходит на ваших глазах. И кто здесь прав, высказывая законное сомнение? Да будет ли естественно, да можно ли поверить в то, что частные лица, не имея власти, влияния, придут и скажут своим магистратам, которые, возможно, завтра станут их судьями: *Вы совершили несправедливый поступок*, между тем как это не соответствует действительности? На что могут надеяться эти частные лица, совершая столь неразумный поступок, даже уверенные в собственной безнаказанности? Вправе ли они думать, будто магистраты, столь высокомерные, в случае, если они оказались неправы, вознамерятся признать свою неправоту, даже если они не ошиблись? Напротив, разве не более естественно отрицать допущенные ошибки? И разве не выгоднее в них упорствовать? Да разве не всегда пытались так поступать, когда были уверены в безнаказанности и имели на своей стороне силу? Когда существуют какие-нибудь разногласия между слабым и сильным, это почти всегда бывает только в ущерб первому; по одной лишь этой причине наиболее правдоподобное мнение следующее: именно тот, кто сильнее, неправ.

То, что правдоподобные суждения не являются доказательством, мне известно. Но относительно общепризнанных фактов при сравнении их с законами, когда некоторое количество граждан утверждает, что допущена несправедливость и магистрат, обвиняемый в этом, утверждает, что ее не допустили, кто в этом случае станет судьей, если не осведомленное обо всем этом общество? И где най-

ти это общество в Женеве, если не в Генеральном Совете, состоящем из той и другой стороны?

В мире вообще не существует государства, в котором подданный, обиженный несправедливым магистратом, не вправе так или иначе подать жалобу суверену; и тот страх, который это средство внушает, препятствует появлению множества несправедливостей. Даже во Франции, где парламенты весьма привержены законам, во многих случаях открыт путь для подачи жалобы в порядке кассации постановления. Женевцы же лишены подобного преимущества; осужденная Советами сторона более не может ни в коем случае обратиться с жалобой к суверену. Но то, что гражданину не дозволено сделать ради личной выгоды, все смогут сделать ради пользы общества, поскольку всякое нарушение законов, будучи покушением на свободу, становится делом всего общества; и когда во всеуслышание раздается голос общества, то жалоба должна быть подана суверену. Если бы не существовало этого права, все парламенты, сенаты, суды на земле обладали бы роковой властью, которую смеет присваивать себе ваш магистрат: нигде в мире не было бы государства, столь жестокого по своей природе, как ваше. Признайтесь же, что при этом существовала бы весьма странная свобода!

Право подавать Представления теснейшим образом связано с вашим государственным устройством; оно является единственно возможным средством соединить свободу магистрата с его зависимостью от закона, не меняя существо его власти в отношении народа. Если жалобы обоснованы, если доводы очевидны, то следует предполагать, что Совет достаточно справедлив, и дело можно выносить на его суд. И если бы это оказалось не так или же справедливость жалоб не была в такой степени очевидна, что в ней нельзя было бы усомниться, то характер дела изменился бы, и тогда надлежало бы решать общей воле; ибо в вашем государстве эта воля является высшим судьей и единственным сувереном. Однако с самого зарождения республики, поскольку эта воля всегда имела возможности заставить себя услышать, а эти возможности зависели от государственного устройства, то отсюда следует, что Эдикт 1707 года, впрочем, основанный на праве, восходящем к незапамятным временам, на праве, которым постоянно пользуются, не нуждался в особых разъяснениях.

Посредники, взявшие себе за правило как можно меньше отдаляться от старых Эдиктов, оставили эту статью в том виде, как она

была записана раньше, и даже ссылались на эти Эдикты. Таким образом, в силу Устава о Посредничестве ваше право в этом вопросе осталось неизменным, поскольку статья, его устанавливающая, в полной мере к нему отсылает.

Однако Посредники не заметили, что те изменения, которые они вынуждены были внести в остальные статьи, обязывали их, проявляя последовательность, разъяснить и эту, добавив туда новые пояснения, необходимые в силу проделанной ими работы. Последствием Представлений граждан, которыми пренебрегли, должно было бы оказаться то, что эти Представления сочли бы голосом общества, и таким образом можно было бы избежать отказа в правосудии. Это преобразование в этом случае закономерно и соответствовало бы основному Закону, который наделяет суверена властью высшего порядка над обществом для исполнения его властной воли во всей стране.

Посредники и не предполагали отказ в правосудии со стороны Совета. События показали, что им следовало это предусмотреть. Чтобы обеспечить общественное спокойствие, они посчитали уместным отделить право от власти и даже упразднить собрания и мирные депутации горожан. Однако, поскольку они подтвердили их право, они должны были им предоставить возможность осуществить его, вручив им иные средства взамен отнятых. Они этого не сделали. В этом вопросе их работа оказалась, таким образом, незавершенной; поскольку, коль скоро право осталось неизменным, то следовало оставить и возможность его осуществления.

Посмотрите также, с каким искусством ваши магистраты обращают себе на пользу забывчивость Посредников! И в каком бы числе вы о себе ни заявляли, они считают вас всего лишь частными лицами; и, коль скоро вам запрещено заявлять о себе в качестве политического образования, они считают его уничтоженным навсегда. Между тем, это не так, поскольку оно сохраняет все свои права, все свои исключительные права, к тому же оно все еще составляет существенную часть государства и Законодателя. Они исходят из ложного предположения, будто этого образования не существует, чтобы создать тысячи надуманных препятствий относительно применения власти в том, что касается их обязанности созывать Генеральный Совет. Нет такой власти, которая сможет это сделать, кроме власти законов, при условии, что их соблюдают. Однако власть закона, нарушенного ими, возвращается в руки Законодателя; и, не

осмеливаясь отрицать, что в этом случае власть окажется в руках большинства, они сосредотачивают свои возражения на способах удостовериться в этом. Эти способы, если только они дозволены законом, нетрудно определить; они не вызовут неудобств, поскольку легко будет предусмотреть случаи злоупотребления ими.

Здесь речь не шла ни о волнениях, ни о насилии; речь вовсе не шла о средствах, иногда неизбежных, но часто страшных, использование которых вам весьма благоразумно запретили. Не то чтобы вы ими когда-то злоупотребляли; ибо, наоборот, вы ими никогда не пользовались, кроме как в случае крайней необходимости, только ради вашей собственной защиты. Вы всегда их употребляли с умеренностью, и по этой причине, возможно, за вами и следовало бы сохранить право носить оружие, если за народом вообще можно сохранять это право, не опасаясь нежелательных последствий. Тем не менее, в любом случае я буду молить Бога о том, чтобы среди вас не появились люди в этом жутком виде, с оружием в руках. «Все дозволено, если беды значительны», — многократно повторяет автор «Писем». Даже если это так, не все средства хороши. Когда крайности тирании вынуждают того, кто от нее страдает, поставить себя выше закона, следует ли позволить, чтобы предпринятое с целью ее уничтожения оставляло ему хоть малую надежду на успех? Вас хотят довести до этой крайности? Я так не думаю; и когда вы до нее дойдете, я не думаю, что действительно найдут выход из этого положения. В вашем положении любой неверный шаг станет роковым; все, к чему вас подстрекают, является ловушкой; и стань вы хоть на миг хозяевами, меньше чем через две недели вас уничтожат навсегда. Что бы ни делали ваши магистраты, что бы ни говорил автор «Писем», насильственные меры не приличествуют правому делу. Далекий от мысли, будто вас хотят вынудить принять подобные меры, я думаю, что кто-нибудь с удовольствием захотел бы наблюдать за тем, как вы на них пошли; и я считаю, что вас не следует склонять к тому, чтобы вы обратили внимание на средство, способное лишить вас всех остальных. Правосудие и законы на вашей стороне. Я понимаю, что это слишком слабая защита против силы и происков со стороны Малого Совета; но они — то единственное, что у вас остается: держитесь за них до последнего.

Ах, могу ли я одобрить стремление нарушить гражданский мир ради каких бы то ни было соображений выгоды, я, пожертвовав-

ший ради этого самым дорогим, что у меня было? Вы это знаете, сударь: меня желали видеть, настойчиво домогались моего внимания; мне стоило только появиться, и за мои права вступились бы, а возможно, и принесли мне извинения за нанесенные обиды. Мое присутствие, во всяком случае, заставило бы моих гонителей строить козни, и я оказался бы в том завидном положении, из которого всякий желающий сыграть некую роль тут же извлек бы пользу. Я предпочел вечное изгнание, я отказался от всего, даже от надежды, лишь бы не ставить под угрозу общественное спокойствие: я заслужил, чтобы меня считали искренним, поскольку я призываю его сохранить.

Однако ради чего упразднить мирные, простые собрания граждан, которые обладали лишь законной целью, ибо они оставались бы под надзором магистрата? Почему, оставляя за горожанами право Представлений, не позволить им проводить их в надлежащем порядке и в соответствие с правом? Зачем отнимать у них средства обсуждать эти вопросы и, во избежание слишком многочисленных собраний, не проводить их с участием представителей? Можно ли придумать что-то более целесообразное, более благопристойное, более соответствующее порядку, чем собрания по военным подразделениям<sup>77</sup> и порядок обсуждения, который соблюдали горожане в те времена, когда они были хозяевами в государстве? Разве не будет лучше соблюдаться благочиние, когда около тридцати депутатов войдут в городскую ратушу от имени своих сограждан, чем тогда, когда горожане явятся туда толпой, и каждый захочет сделать собственное заявление и только от своего имени? Вы видели, сударь, как большому числу сторонников Представлений пришлось разделиться на группки по тридцать или сорок человек, чтобы не создавать толчей и суетонок, и своим поведением выказывать еще большую благопристойность и скромность, нежели это предписано им законом. Но таков настрой горожан Женева, всегда склонных принижать, а не превышать свои права: они иногда проявляют твердость, но никогда не склонны к мятежу. Всегда с Законом в сердце, с неизменным почтением к магистрату, даже в обстоятельствах, когда самое пылкое возмущение должно бы возбудить в них гнев, и даже если ничто не препятствует им насытить его, они никогда не поддавались этому чувству. Они были справедливы, имея на своей стороне силу, и даже умели прощать. Можно ли то же самое сказать

об их гонителях? Нам известно, какая участь прежде выпала на долю горожан; нам известна и та, что им уготовили.

Так ведут себя люди, по-настоящему достойные свободы, и они ею никогда не злоупотребляли; на них, однако, надевают оковы и путы, будто они — самая подлая чернь<sup>78</sup>. В таком положении находятся граждане, участники суверенной власти, к которым относятся, как к подданным, и даже хуже, чем к подданным, поскольку и при правлениях с самой неограниченной властью разрешаются собрания сообществ, где магистраты не председательствуют.

Как ни подступай к этому делу, противоречивые Уставы нельзя соблюдать одновременно. Они разрешают и допускают пользование правом Представлений; и сторонникам Представлений ставят в упрек недостаток обоснованности этих Представлений, в то же время препятствуя его устранить. И это несправедливо, поскольку вас лишают возможности действовать, и при этом вам не стоит возражать, что вы всего-навсего — частные лица. И как можно не учитывать того, что, коль скоро весомость Представлений зависит от числа их сторонников, и они при этом касаются общих вопросов, их невозможно подавать поодиночке? Каким бы затруднительным оказалось положение магистрата, если бы ему пришлось раз за разом читать жалобы или заслушивать речи тысяч людей, ибо его к этому обязывает Закон?

Вот простой выход из этого значительного затруднения, на непреодолимость которого указывает автор «Писем». Коль скоро магистрат не будет принимать во внимание жалобы отдельных граждан, высказанные в виде Представлений, то пусть он разрешит собрания подразделений; пусть он разрешит им собираться по отдельности, в разное время и в разных местах, чтобы собрания объединений граждан, которые выскажутся в пользу Представлений большинством голосов; объявили об этом через своих депутатов. Тогда пусть принимается во внимание количество депутатов. Их численность определена; и вскоре станет ясно, выражают ли их чаяния чаяния государства или нет.

Это не означает (примите это к сведению), что эти отдельные собрания не будут пользоваться каким-либо влиянием, кроме как возможностью заставить услышать свое мнение по поводу содержания Представлений. Поскольку собрания разрешат только в таких случаях, их участники не получают никаких иных прав, кроме прав частных лиц, а предметом их деятельности станет не измене-

ние закона, а подача мнения относительно того, был ли он соблюден, не желание получить удовлетворение за возникшие у них нарушения, а указание на необходимость обратить на них внимание: их мнение, хотя бы и единогласное, всегда окажется не чем иным, как Представлением. Из него мы узнаем лишь, заслуживает ли это Представление того, чтобы дать ему ход: либо собрать Генеральный Совет, если магистраты его поддержат, либо обойтись без него, если они сочтут нужным, удовлетворив справедливые жалобы граждан и горожан без помощи Генерального Совета.

Этот путь прост, естественен, надежен; он таковым является безо всякого сомнения, ведь он даже не предполагает создания нового закона: в данном случае речь идет только об отмене одной его статьи, и только. Однако если он слишком пугает ваших магистратов, то остается еще один, менее легкий путь, который также не в новинку: это восстановление права собирать периодические Генеральные Советы и ограничить их полномочия рассмотрением жалоб, включенных в Представления в течение промежутка времени, прошедшего между двумя заседаниями, при этом не разрешая выносить на их рассмотрение какие-либо иные вопросы. Эти собрания, которые, в силу очень важного отличия\*, обладали бы не властью суверена, но властью высшего магистрата, не имея возможности вводить что либо новое, могли бы лишь препятствовать любому нововведению со стороны Советов и восстановить порядок законодательной деятельности, от которого организм, коему вверено блюсти государственную власть, теперь может сколько угодно отклоняться. Чтобы эти собрания сами собой прекратили свою деятельность, магистратам надлежит всего лишь в точности соблюдать законы. Ибо созыв Генерального Совета оказался бы бесполезной и смешной затеей, поскольку нечего было бы выносить на его рассмотрение; и, по всей видимости, именно таким образом и отпала нужда в созыве Генерального Совета в XVI веке, как об этом уже говорилось прежде.

Именно ради цели, о которой я только что говорил, Генеральный Совет восстанавливают в 1707 году; и этот старый вопрос, сегодня возникший вновь, был решен тогда по факту последовательного созыва трех Генеральных Советов, на последнем из них проголосовали за статью, касающуюся права Представлений. Это

---

\* См.: Общественный договор. Кн. III. Гл. 17.

право не было оспорено, но его обходили; магистраты не посмели не согласиться удовлетворить жалобы горожан, ибо тогда вопрос следовало выносить на рассмотрение Генерального Совета. Но, поскольку только им доверили право его созыва, то под этим предлогом пытались откладывать его созыв на столь долгое время, сколь им того хотелось, и рассчитывали благодаря проволочкам умерить настойчивость горожан. Тем не менее, их право наконец признали и 9 апреля назначили общее собрание на май месяц, с тем чтобы, как говорится в объявлении о нем, «таким образом не давать повода для распространения слухов о том, что хотели избежать созыва или отложить его на неопределенный срок».

И пусть не возражают, что этот созыв оказался вынужденным и под влиянием насилия или некоей смуты, которая могла вылиться в бунт, поскольку все переговоры велись через представителей, поскольку Совет так пожелал и поскольку никогда граждане и горожане не вели себя столь миролюбиво на своих собраниях, избегая слишком многочисленных сборищ, имеющих угрожающий вид. Их скромность и, смею сказать, достоинство оказались столь велики, что те из них, кто обычно носил шпагу, сняли ее, отправляясь на собрание\*. И только после того как все было совершено, а именно на третьем Генеральном Совете, прозвучал призыв к оружию из-за ошибки, допущенной Советом, который имел неосторожность послать три роты гарнизона с примкнутыми штыками, чтобы прогнать две или три сотни граждан, собравшихся в храме св. Петра.

Эти периодические Советы, восстановленные в 1707 году, вновь созвали спустя пять лет; но какими средствами и при каких условиях? Краткое исследование Эдикта 1712 года даст нам возможность судить о законности их созыва.

Во-первых, народ, напуганный недавними расправами и проскрипциями, лишился свободы и безопасности; он не мог более ни на что рассчитывать после помилования, дарованного мошенническим способом, которым воспользовались с целью его возмутить.

---

\* Они проявили подобную щепетильность в 1734 году в своих Представлениях от 4 марта, поддержанных тысячью двумястами человек граждан и горожан, и никто из них не носил шпагу. Столь щепетильное отношение, которое показалось бы мелочью в любом другом государстве, не является таковым при демократии, и может быть, оно характеризует народ лучше, чем самые выдающиеся черты его нрава.

Он все время опасался увидеть у своих дверей швейцарцев, служивших лучниками и участвовавших в этих кровавых расправах. Не оправившись от ужаса, внушенного чтением первых строк Эдикта, он лишь из страха согласился на все; он чувствовал, что его собирали не для принятия закона, а для того, чтобы ему его навязать.

Поводом для отмены Эдикта послужили опасности проведения периодических Генеральных Советов, и этот повод был очевидно нелепым, ибо, ссылаясь на него, совершенно невозможно понять смысл вашего государственного устройства и характер горожан. При этом ссылаются на чуму, голод или войны, как будто голод или войны хотя бы раз были препятствием для проведения хоть одного Совета; и что касается чумы, как вы сами признаетесь, меры, принятые на сей счет, носили предварительный характер. При этом опасаются врагов, неблагонамеренных лиц, крамолы; видели ли когда-нибудь подобную робость? Опыт прошлого должен их обнадежить: в самые смутные времена частые созывы Генеральных Советов, как мы увидим в дальнейшем, стали благом для республики, и на них принимались лишь благоразумные и мужественные постановления. Утверждают, что эти собрания противоречат государственному устройству, а они являются его самой прочной опорой; говорят, они противоречат Эдиктам, но они учреждены Эдиктами; их считают новшеством, но они являются столь же древними, сколь и законодательство. В этой вводной части нет ни единой строчки, не заключающей в себе ложь или заблуждение: и именно на основе этого великолепного рассуждения отменяется Эдикт без предварительного изложения неотложных дел, которое объяснило бы членам собрания суть того предложения, что им хотели сделать, не давая им времени на обсуждение и даже на обдумывание; и это в то время, когда горожане, плохо знакомые с историей своего правления, позволили магистрату оказать на них давление!

Однако еще более серьезным доводом признать недействительность Эдикта было его нарушение в самой важной части, а именно: в том, что касается способа проверки бюллетеней для голосования или подсчета голосов. Ибо в статье 4 Эдикта 1707 года сказано, что будут назначены четыре Секретаря *ad actum*<sup>79</sup>, с тем чтобы собирать бюллетени, двое от Совета Двухсот и двое от народа, тотчас избранные господином Первым Синдиком и обязанные принести присягу в Храме. И тем не менее, на Генеральном Совете 1712 года, не

принимая во внимание ни один предыдущий Эдикт, голоса были подсчитаны двумя государственными секретарями. Зачем же нужно было вносить эти изменения? И с какой целью пошли на эти незаконные уловки в столь важном вопросе, как будто ради забавы хотели нарушить только что принятый закон? И начинают с нарушения Эдикта в статье, которую желают отменить другим Эдиктом! Разве это соответствует установленному порядку? Если, как сказано в этом Эдикте об отмене статьи, мнение Совета должно быть поддержано «почти единогласно» \*, то почему граждане, выходя из Совета, обнаруживали удивление и растерянность, а на лицах магистратов читались удовлетворение и сознание победы? \*\* Столь различные выражения лиц естественны ли у людей, которые только что единодушно высказали свое мнение?

Таким образом, чтобы добиться этого Эдикта об отмене статьи, они прибегли к запугиваниям, к хитрости, к очевидному мошенничеству и во всяком случае допустили нарушение закона. И пусть люди судят, насколько совместимо подобное поведение со священным характером закона, соблюдать который они с такой напыщенностью призывают!

---

\* Как мне рассказывали, способ, который использовали, чтобы получить это единогласие, сделал это предприятие нетрудным; и теперь только от этих господ зависит сделать его вполне совершенным. Перед началом собрания государственный секретарь Метреза сказал: «Пусть приходят, они в моих руках». С этой целью он, как говорят, вставил в бюллетень два слова «одобрил» и «не одобрил», которые с тех пор стали в них использовать: таким образом, какой бы ответ ни выбрали, результат один и тот же. Ибо если выбирали «одобрил», то таким образом одобряется мнение Совета, высказавшегося против периодического созыва Собрания граждан; а если же выбирали «не одобрил», то периодический созыв собраний не одобряли. Я не придумал все это и говорю не без оснований, и прошу читателя поверить в это: но должен признаться, что я об этом узнал не из Женевы, и, по совести сказать, я не уверен, что это правда. Я понимаю одно: двусмысленность, возникшая благодаря употреблению этих двух слов, ввела в заблуждение голосующих относительно того, какое из них следовало выбрать, дабы выразить свое мнение; и к тому же признаю, что я не могу представить себе, какое благое намерение, какое законное основание было в том, чтобы нарушить закон при подсчете голосов. Ничто не показывает тот ужас, которым был охвачен народ, как молчание при виде нарушения установленного порядка.

\*\* Они говорили меж собой, выходя, и многие это слышали: «Мы только что пережили великий день». На следующий день многие граждане жаловались, что их обманули, и они хотели не отказать в одобрении периодического созыва общих собраний, а не одобрить мнение Советов. Над ними лишь посмеялись.

Но предположим, что отмена статьи законна, а предписанный порядок не нарушен\*. Какое иное значение можно этому придать, если не то, что возвратились в то самое положение, существовавшее до отмены закона, и, стало быть, восстановили право горожан, которым они прежде пользовались? Когда отменяется сделка, то не остаются ли стороны в том состоянии, в котором они были перед тем, как эта сделка состоялась?

Согласимся, что эти периодические Генеральные Советы имели бы только одно неудобство, но зато страшное: все магистраты и чины должны были бы довольствоваться наличными правами и обязанностями. И только по одному этому я уверен, что эти собрания, внушающие такой ужас, никогда не будут восстановлены; и то же самое касается собраний горожан по подразделениям. Но речь ведь не об этом. Здесь я вовсе не принимаю в расчет то, что должно или не должно случиться, и то, что будут сделано или нет. Эти средства, как я полагаю, возможно довольно легко пустить в ход, поскольку они заложены в вашем государственном устройстве, но так как они более не соответствуют новым Эдиктам, то их можно использовать только с согласия Советов; и мое мнение, безусловно, состоит не в том, чтобы им эти средства предлагали на рассмотрение. Но, если на минуту согласиться с предположением автора «Писем», я стараюсь ответить на несерьезные возражения; я показываю, что он пытается отыскать препятствия, которых не существует согласно природе вещей, и что все эти препятствия возникли в силу недобрых намерений Совета, и если бы он пожелал, то нашел бы сотню способов устранить эти пресловутые препятствия, не меняя государственный строй, не нарушая общественный порядок и не покушаясь на покой общества.

Однако, возвращаясь к нашему вопросу, давайте в точности придерживаться текста последнего Эдикта; вы не обнаружите в нем ни одного веского возражения против использования права подачи Представлений.

1. Для начала замечу, что возражение о необходимости определить количество подавших Представления бессмысленно, принимая во внимание суть Эдикта, в котором нигде не указывается на

---

\* Этот порядок следующий: «Никакое изменение Эдикта не имеет законной силы, если оно не было одобрено суверенным Советом». Остается только выяснить, не являются ли нарушениями Эдикта сами изменения в Эдикте.

различия в этом количестве и не говорит о том, что Представление одного имеет бóльшую силу, чем Представление сотни.

2. Возражение против того, чтобы предоставить частным лицам право собирать Генеральный Совет, также бессмысленно, потому что это право, опасно оно или нет, не вытекает из самого факта подачи Представлений. Поскольку каждый год собирают два Генеральных Совета для проведения выборов, то и нет необходимости созывать чрезвычайный Совет для рассмотрения Представлений. Вполне достаточно, если после изучения в Советах Представление будет вынесено на ближайший Генеральный Совет, который обладает соответствующими полномочиями\*. При этом заседание продлится не более часа, и это очевидно тому, кто знает порядок, установленный в этих собраниях. Следует только принять меры предосторожности с тем, чтобы предложение поставили на голосование до выборов; поскольку если станут дожидаться окончания выборов, синдики не упустят случая закрыть собрание, как они это сделали в 1735 году.

3. Возражение, касающееся возможности увеличения числа Генеральных Советов, снимается по той же причине, что и предыдущее; и когда это возражение привести нельзя, то где же теперь опасности, которые прежде здесь обнаруживали? Это то, чего я не сумел бы увидеть.

Мы содрогаемся, читая перечень этих опасностей в «Письмах из деревни», в Эдикте 1712 года, в торжественной речи господина Шуэ<sup>80</sup>. Но давайте проверим, так ли это. Последний утверждает, что в республике царило спокойствие только тогда, когда эти собрания были более редкими. Здесь стоит сказать, что все обстояло несколько иначе. Следует заметить, что эти собрания стали более редки, когда в республике воцарилось спокойствие. Почитайте, сударь, исторические записки о вашем городе за XVI столетие. Как же ему удалось сбросить двойное ярмо, которое над ним довлело? Каким же образом смог он искоренить заговоры, посеявшие в нем раздоры? Как же смог он сопротивляться своим алчным соседям, оказавшим ему помощь лишь для того, чтобы затем его закабалить? Как же ему удалось утвердить евангелическую и политическую свободу внутри? Как его государственное устройство обрело прочность? Как образовался строй его правления? История этих памятных

\* В этих «Письмах» ранее я уже провел различие между случаями, когда Советы обязаны были их рассматривать, и случаями, когда они не обязаны это делать.

времен напоминает чудесные события, связанные в одну цепочку. Тираны, соседи, враги, друзья, подданные, граждане, война, чума, голод, — всё, казалось, должно было погубить этот несчастный город. Едва ли мы сможем понять, как только что образовавшееся государство смогло избежать всех этих напастей. Женева не только сумела их избежать, но именно в период этих ужасных потрясений завершилось великое дело создания его законодательства. Это произошло благодаря частому созыву Генерального Совета\*; только проявив осторожность и решительность, ее граждане смогли преодолеть, наконец, все преграды и сделать свой город свободным и спокойным, тогда как прежде в нем царили раздоры и рабство; именно после того, как они навели порядок внутри, они смогли вести победоносные войны вовне. Тогда суверенный Совет сложил свои полномочия; правительству же еще только предстояло вступить в свою должность. И женевцам оставалось лишь защищать свободу, которую они только что установили, и показать себя столь же храбрыми солдатами в военных кампаниях, сколь достойными гражданами они себя показали в Совете: так они и поступили. Аналы вашей истории повсюду доказывают полезность Генеральных Советов; ваши господа видят в их существовании лишь ужасные беды. Они приводят свои возражения, а история дает на них ответ.

4. На возражение о том, что правительство будет осмеяно народом, имея по соседству великие державы, можно дать сходный ответ. В этом случае я не знаю лучшего ответа на софизмы, чем достоверные факты. Все постановления Генеральных Советов во все времена оказывались в равной мере исполнены мудрости и мужества; они никогда не бывали ни дерзкими, ни трусливыми. Иногда на них приносили клятву умереть за родину; но пусть мне напомнят хоть один случай, когда народ оказывал больше всего влияния и при этом легкомысленно восстанавливал против себя могущественные державы, находящиеся по соседству, пусть припомнят хоть один случай, когда он перед ними пресмыкался? Я не стал бы в этом отношении бросать упрек постановлениям Малого Совета:

---

\* Поскольку тогда их собирали во всех «тяжких случаях», по словам Эдиктов, и поскольку такие случаи очень часто имели место в те бурные времена, Генеральный Совет созывался тогда чаще, чем сегодня созывается Совет Двухсот. Пусть же выскажут суждение только на примере одной эпохи. В течение первых восьми месяцев 1540 года было созвано восемнадцать Генеральных Советов, а в тот год не произошло ничего более чрезвычайного, чем в предыдущие или в последующие годы.

но не будем об этом. Когда речь идет о том, что необходимо принять новые постановления, именно вышестоящим Советам следует их предлагать, а Генеральный Совет должен их отклонять или поддерживать; он не уполномочен делать ничего сверх того; об этом не следует спорить. Это возражение, таким образом, не достигает своей цели.

5. Возражение о том, что Генеральный Совет поставит под сомнение и лишит ясности все законы, не является основательным; поскольку здесь речь идет не о расплывчатом, общем и полном тонкостей толковании, но об отчетливом и ясном соотношении факта с законом. Магистрат может иметь свои особые соображения, обнаруживая неясности в ясном вопросе; но это не лишает вопрос ясности. Эти господа искажают суть вопроса. Показать, придираясь к букве закона, что он был нарушен, не означает бросить тень сомнения на сам закон. Коль скоро в выражениях закона можно найти хоть один оттенок смысла, оправдывающий факт, то в своем ответе Совету не следует упускать случая выявить этот смысл. Тогда Представление более не имеет силы; и если его составители будут настаивать, то вопрос неизбежно вынесут на обсуждение Генерального Совета, поскольку выгода всех так важна, ощутима, очевидна, особенно в городе, где занимаются торговлей, что большинство ни за что не захочет расшатать устои власти, правления, законодательства, утверждая, что какой-то закон нарушили, тогда как вполне возможно, что это нарушение и не случилось.

Именно законодателю, составителю законов, в первую очередь следует избегать двусмысленных выражений. Когда же они имеют место, то именно справедливость магистратов должна объяснить их смысл в повседневной жизни: когда у закона множество смыслов, магистраты должны воспользоваться своим правом, считая предпочтительным тот из них, который им кажется правильным. Однако это право вовсе не простирается на возможность менять букву закона, придавая ему тот смысл, которого в нем нет; в противном случае закон перестанет существовать. Таким образом, при подобной постановке вопроса просто принять решение, руководствуясь здравым смыслом, и этот здравый смысл, в соответствии с которым принимается решение, в этом случае на стороне Генерального Совета. При этом не возникают бесконечные обсуждения, а напротив, тем самым предотвращают их появление; именно благодаря этому, поставив Эдикты выше произвольных толкований частных лиц,

внушенных соображениями выгоды и пристрастиями, мы можем быть уверены: в них написано то, что написано, и граждане во всяком случае не станут более сомневаться, не придал ли магистрат Эдикту тот смысл, который ему заблагорассудится. Не ясно ли теперь, что эти самые трудности ни за что бы не возникли, если бы с самого начала стали использовать это средство, способное их устранить?

6. Возражение о том, что Советы подчинили бы приказаниям граждан, смехотворно. Ясно, что Представления не есть приказание, отданное гражданами, и тем более таким приказом не является жалоба человека, требующего правосудия; однако по этой причине никоим образом не меньше обязанность магистрата вершить правосудие по заявлению истца; то же самое и в отношении Совета, обязанного дать ход Представлениям граждан и горожан. Хотя магистраты и стоят выше простых граждан, это преимущество не избавляет их от необходимости предоставить нижестоящим то право, что они обязаны им предоставить; и уважительные выражения, использованные ими для предъявления требований, никоим образом не умаляют права, которое они желают получить. Если угодно, то одно Представление является приказом, данным Совету, точно так же, как оно является приказом, данным Первому Синдику, коль скоро это Представление вручают для передачи Совету; ибо он обязан это сделать независимо от того, согласен он с содержанием Представления или нет.

Впрочем, когда Совет извлекает из слова «Представления» выгодный для себя смысл, указывая на более низкое положение его авторов, утверждая вещь бесспорную, он, тем не менее, забывает, что этого слова, употребленного в Регламенте, нет в Эдикте, на который он ссылается, но есть слово «Ремонтранции»<sup>81</sup>, которое имеет совсем иной смысл; к этому можно добавить, что есть разница между Ремонтранциями, поданными органом магистратуры своему суверену, и Ремонтранциями, которые члены суверена представляют организму магистратуры. Вы скажете, что я зря отвечаю на подобное возражение; но оно ничем не отличается от прочих возражений.

7. Наконец, возражение, сделанное одним влиятельным человеком, оспаривающим смысл или применение закона, по которому он осужден, и склоняющим публику на свою сторону, таково, что я думаю воздержаться от его оценки. Ах! Кто это видел, чтобы горожане Женевы вели себя раболепно, проявляли горячность, склон-

ность к подражанию, глупость, превращались во врагов законов, столь быстро и охотно вставали на сторону соображений выгоды постороннего лица? Для того чтобы такое случилось, каждый должен был бы увидеть, что в общественных делах задеты его соображения выгоды, и только тогда он решился бы в них вмешаться.

Часто несправедливость и мошенничество находят себе покровителей; но никогда они не встретят поддержки у народа: именно в этом случае глас народа есть глас Божий. Но, к несчастью, этот священный голос всегда слаб в тех случаях, когда слышен окрик власти; и жалоба невинно оскорбленного изливается в ропоте, на который тираны не обращают внимания. Все, что делается посредством происков и соблазнов, делается преимущественно на пользу тех, кто правит; иначе и быть не может. Хитрость, предубеждения, заинтересованность, страх, надежда, суетность, искусно подобранные краски, видимость порядка и повиновения, — все это на стороне ловких людей, наделенных властью и искусных в мастерстве обманывать народ. Когда речь идет о том, чтобы на ловкачество ответить ловкачеством, или влиянию противопоставить влияние, какое огромное преимущество имеют в маленьком городе первые семейства, объединившиеся друг с другом с целью в нем править! Их друзья, их клиенты, их ставленники, — все это вместе с властью, которой они обладают в Советах, и во всеоружии софизмов дает им возможность раздавить простых граждан, осмеливающихся им противоречить! Оглянитесь на миг вокруг себя. Защита законов, справедливость, истина, очевидность общественной пользы, забота о безопасности частных лиц, все то, что должно было бы увлечь толпы людей, едва ли хватает для защиты уважаемых граждан, возражающих против самой явной несправедливости; и при этом хотят, чтобы в просвещенном народе дело, касающееся одного смутьяна<sup>82</sup>, привлекло больше сторонников, чем дело государственное! Либо я плохо знаю ваших горожан и ваших правителей, либо однажды напишут хоть одно необоснованное Представление, чего, насколько мне известно, еще ни разу не случалось; а автор такого Представления если не мерзавец, то человек пропащий.

Надо ли опровергать возражения подобного рода, когда мы говорим о женевцах? Есть ли в вашем городе хоть один человек, который не почувствовал в этих возражениях злой умысел? И можно ли более сильно расшатать священное право, право основное, признан-

ное всеми, необходимое, ссылаясь на мнимые помехи, тогда как даже те, кто на них ссылаются, лучше чем кто бы то ни было знают, что их в действительности не существует? Тогда как, напротив, это нарушенное право открывает двери самым отвратительным злоупотреблениям олигархии до такой степени, что мы видим, как она, даже не считая нужным найти предлог, уже посягает на свободу граждан и во всеуслышание присваивает себе право заключать их в тюрьмы без всяких ограничений и оговорок, без соблюдения установленных правил, вопреки точному смыслу законов и невзирая на какие-либо возражения.

Разъяснения, которые осмеливаются давать этим законам, еще более оскорбительны, чем тирания, которую творят от их имени. И какой же монетой с вами расплачиваются! Мало того что с вами обходятся как с рабами — с вами обращаются как с детьми. Мой Бог! Как же им удалось поставить под сомнение столь ясные вещи? Как же смогли их до такой степени спутать? Видите ли, сударь, задавать вопросы не означает их решить. Заканчивая здесь это письмо, я надеюсь, что оно было не слишком длинным.

Человека можно отправить в тюрьму по трем основаниям: первое, по настоянию другого человека, вчиняющего ему иск; второе, когда его поймали на месте преступления и схватили или, что то же самое, задержали за явное преступление, которое могут засвидетельствовать люди; и третье, по долгу службы магистрата, по его простому приказанию, по тайному доносу, опираясь на улики или же по иным поводам, которые магистрат сочтет достаточными.

В первом случае по законам Женева обвинитель, как и обвиняемый, оплачивают содержание в тюрьме; и, кроме того, если обвинитель неплатежеспособен, он должен представить залог в счет оплаты судебных расходов и в счет суммы иска. Таким образом, у нас есть с этой стороны, учитывая права обвинителя, разумная уверенность в том, что задержанный не арестован несправедливо.

Во втором случае доказательство заключается в самом факте, и обвиняемый в некотором роде изобличен собственно тюремным заключением.

Но в третьем случае у нас нет ни уверенности, как в первом случае, ни очевидных фактов, как во втором; и именно для этого последнего случая закон, предполагая беспристрастность магистрата, лишь принимает меры против того, чтобы его не ввели в заблуждение.

Вот начала, которыми руководствуется законодатель в этих трех случаях; и вот теперь их применение.

В случае иска, предусмотренного законом, с самого начала ведется обычный судебный процесс с соблюдением порядка: вот почему дело сначала рассматривается в первой инстанции. Тюремное заключение может иметь место только после «заслушивания сторон, и только правосудие его дозволяет». Вы знаете, что в Женеве правосудие называется судом Лейтенанта<sup>83</sup> с помощниками, именуемыми приставами. Таким образом, именно магистратам, и никому другому, даже не синдикам, должна быть подана жалоба в подобных случаях; и именно им надлежит приказать заключить одну из сторон в тюрьму, кроме случая обжалования этого решения одной из них у синдиков в случае, «если, — согласно тексту Эдикта, — она считает, что приказ вводит ее в чрезмерные убытки». Три первые статьи главы XII, посвященной уголовным делам, относятся, очевидно, к этому случаю.

В случае поимки с поличным, либо в случае преступления, либо в случае злоупотребления, которое полиция должна наказывать, любому лицу разрешается арестовать виновного; но только магистраты наделены определенной долей исполнительной власти, а также синдики, Совет, Лейтенант и пристав, могущие заключить виновного под стражу; какой-нибудь советник или даже несколько не вправе были бы это сделать; и заключенного следует допросить в течение двадцати четырех часов. Пять следующих статей того же Эдикта относятся исключительно ко второму случаю, и это ясно как по порядку рассмотрения вопроса, так и по имени «преступник», которым называют обвиняемого, поскольку существует только один случай поимки с поличным или задержания за явное преступление, когда можно назвать обвиняемого «преступником» до того, как будет проведено судебное разбирательство. И даже если настаивают на том, чтобы слова «обвиняемый» и «преступник» считались синонимами, то следовало бы на том же самом языке сказать, что слова «невиновный» и «преступник» тоже являются синонимами.

В остальной части главы XII речь больше не идет о заключении под стражу; и, начиная со статьи IX включительно, все касается расследования и порядка вынесения приговора в любом виде уголовного разбирательства. Там нет ни слова о заключении под стражу по долгу службы магистрата.

Но об этом сказано в Политическом Эдикте в разделе о должностных обязанностях четырех синдиков. Почему так? Да потому, что эта статья непосредственно затрагивает гражданскую свободу; потому, что власть, осуществляемая магистратом в этом случае, является скорее правительственным решением, а не решением магистратуры; и потому, что простой суд по гражданским делам не должен быть облечен подобной властью. Таким образом, Эдикт наделяет этой властью только синдиков, а не Лейтенанта или какого-либо иного магистрата.

Однако, дабы предохранить синдиков от обмана, о котором я уже говорил, Эдикт им предписывает «уведомить», во-первых, тех, «на кого возложено право проводить следствие и допрашивать», и, наконец, «заключить под стражу, если дело относится к их ведомству». Я полагаю, что в свободной стране закон не сделал бы меньше для ограничения этой грозной власти. Необходимо, чтобы граждане имели разумную уверенность в том, что, исполняя свой долг, они могут спокойно спать в своих постелях.

Следующая статья того же самого раздела, очевидно, касается случаев явных преступлений и поимки с поличным, так же как и первая статья раздела, посвященного уголовным делам. Это может показаться повторением: но в Гражданском Эдикте вопрос рассматривается с точки зрения осуществления правосудия, а в Политическом Эдикте — с точки зрения безопасности граждан. Впрочем, поскольку законы создавали в различное время, и эти законы были творением людей, то там не следует искать порядка без внутренних противоречий и совершенства, лишённого изъянов. Размышляя надо всем этим и сравнивая статьи, хватит того, что мы обнаруживаем разум Законодателя и доводы, положенные в основу его деятельности.

Прибавьте к этому следующее соображение. Эти права весьма определенно связаны друг с другом, это — права, требуемые сторонниками Представлений согласно Эдиктам, и те же самые права, которыми вы сами пользовались, находясь под суверенной властью епископов; Невшатель ими пользуется под властью своих государей; и вот теперь у вас, у республиканцев, их хотят отнять! Посмотрите статьи X, XI и многие другие из привилегий Женевы в документе, данном Адемаром Фабри<sup>84</sup>. Этот памятник не менее уважаем женеvцами, чем Великая Хартия<sup>85</sup> англичанами, еще более древняя; и я сомневаюсь, что последние одобрили бы столь пренебре-

жительные речи о своей Хартии, подобные тем, что позволяет себе автор «Писем» о вашей Хартии.

Он заявляет, что вашу Хартию отменили акты государственного устройства республики \*. Но напротив, я очень часто встречаю в ваших Эдиктах такое выражение, как «издревле повелось», отсылающее к древним обычаям: как следствие, к правам, на которых они были основаны. Епископ словно предусмотрел, что те, кто должен защищать привилегии, будут на них покушаться. И вот я вижу, как он заявляет в самом документе, данном им женевам, что эти привилегии вечны, и при этом непользование ими или срок давности по ним не могут их отменить. Вот, согласитесь, странное противопоставление. Ученый синдик Шуэ пишет в своей докладной записке милорду Тоуншенду, что благодаря Реформации народ Женевы вступил в права епископа, бывшего светским и духовным государем этого города. Автор «Писем» нас уверяет, напротив, что этот самый народ потерял при этом привилегии, дарованные им епископом. Кому из них мы поверим?

Как! Оказавшись свободными, вы утратили права, которыми пользовались, оставаясь подданными? Ваши магистраты лишают вас прав, дарованных вашими государями? Если такова свобода, добытая вашими отцами, то вам должно сожалеть о крови, пролитой за нее. Об этом странном документе, который, делая вас суверенными властителями, отнимает у вас ваши привилегии, стоило бы заявить, как мне кажется, во всеуслышание или, по крайней мере, чтобы поверили в его существование; торжественность в этом случае была бы не лишней. И где же документ об отмене прав, предоставленных Фабри? Конечно же, кичась обладанием подобного рода странным документом, следовало бы по крайней мере для начала его предъявить.

Изо всего сказанного, я думаю, можно с уверенностью заключить, что в Женеве закон ни в коем случае не предоставляет ни синдикам, ни кому бы то ни было неоспоримого права заключать под стражу простых граждан без ограничений и условий. Но неважно: Совет в ответ на Представления устанавливает это право, отмечая

---

\* Эта логика напоминает логику, использованную в 1742 году, когда неуважительно отнеслись к Золотурнскому трактату 1579 года, утверждая, что тот устарел, хотя он и был провозглашен вечным в самом тексте; его не отменили никаким иным соглашением и много раз упоминали, а именно в тексте, изданном Посредниками <sup>86</sup>.

возражения. И стоит только Совету захотеть, и он его сразу получит. Такое вот у них удобное право давать отрицательный ответ.

Я поставил перед собой цель показать в этом письме, что право подачи Представлений, теснее всего связанное с образом вашего государственного устройства, не было ни мнимым, ни бесполезным; но, определенно закрепленное Эдиктом 1707 года и подтвержденное Эдиктом 1738 года, оно, безусловно, является действующим; что действительный характер этого права не был провозглашен в Уставе о Посредничестве, поскольку его не провозгласили в Эдикте как в силу того, что оно проистекает из самой природы вашего государственного строя, так и потому, что тот же самый Эдикт закреплял его охрану иным способом; что это право и его необходимое следствие, являясь основой всех прочих прав, было единственной и подлинно равноценной заменой прав, которых лишили горожан; что эта замена, будучи достаточной для создания устойчивого равновесия между составными частями государства, указывает на мудрость Устава, который без нее стал бы самым незаконным делом, какое только можно себе представить; и что, наконец, затруднения, на которые ссылались, выступая против осуществления этого права, были легкомысленными соображениями, основанными на злом умысле тех, кто их высказывал, и ссылки на эти затруднения не идут ни в какое сравнение с опасностями неограниченного применения права давать отрицательный ответ. Вот, сударь, что я хотел объяснить; и вам судить, удалось ли мне это.

### *Письмо IX*

Я думал, сударь, что лучше прямо изложить то, что я хотел сказать, чем пускаться в пространные опровержения. Взяться за последовательное рассмотрение «Писем из деревни» означало бы пуститься в плавание по морям софизмов. Их понять и изложить означало бы, по моему мнению, их опровергнуть; но они плывут в таком потоке учености, они погружены в него до такой степени, что рискуешь сам утонуть, желая вытащить их на сушу.

Однако, заканчивая свой труд, я не могу воздержаться от того, чтобы кратко не рассмотреть и труд этого автора. Не разбирая политических ухищрений, которыми он вас сбивает с толку, я удовольствуюсь рассмотрением лишь начал, содержащихся в этом тру-

де, и тем, что покажу вам на некоторых примерах порочность его рассуждений.

Выше вы имели возможность увидеть их непоследовательность в отношении меня. В отношении же вашей республики они во многих случаях еще более коварны и ни в коем случае не более основательны. Единственная и подлинная цель этих «Писем» заключается в том, чтобы обосновать так называемое право давать отрицательный ответ в объеме, оправдывающем присвоение власти Советом. Этой-то цели все и подчинено либо прямо, путем установления необходимой логической связи, либо же косвенно, путем ухищрений и обмана публики относительно существа вопроса.

Обвинения, касающиеся меня, относятся к первому случаю. Совет судил меня вопреки закону, против чего были поданы Представления. Для того чтобы обосновать право на отрицательный ответ, нужно пристойно отказать сторонникам Представлений; для того чтобы это сделать, нужно доказать, что они не правы; для того же, чтобы доказать, что они не правы, нужно настаивать на том, что я виновен, и виновен в такой степени, что для наказания за мое преступление следовало нарушить закон.

Как содрогнулись бы люди, совершая зло в первый раз, если бы они поняли, что очутились перед печальной необходимостью совершать его всегда, оставаться дурными на протяжении всей своей жизни только потому, что смогли стать однажды таковыми, и должны преследовать несчастного до конца его дней, несчастного, которого они однажды подвергли гонениям.

Вопрос о том, что синдики должны председательствовать в уголовных судах, относится ко второму случаю. Думаете ли вы, что Совет действительно очень озабочен тем, будут ли в них председательствовать синдики или же советники, после того как он растворил права синдиков в совкупности прав всего организма? Синдики, некогда избиравшиеся из среды всего народа \*, теперь избираются только лишь из состава Совета и потому превратились из начальников прочих магистратов, каковыми они прежде были, в их коллег; и вы могли ясно увидеть, рассматривая это дело, что ваши синдики, не хватаясь за кратковременную власть, теперь превратились

---

\* Обращалось столь большое внимание на то, чтобы при этом выборе не имели места какое-либо исключение или предпочтение, кроме основанного на личных заслугах, и чтобы, в силу отмененного впоследствии Эдикта, два синдика всегда избирались от нижней части города, а два от верхней.

лишь в советников. Однако этот вопрос выдают за якобы важный с целью отвлечь ваше внимание от вопроса действительно важного, заставляя вас поверить также и в то, что вы все еще избираете главных магистратов, а их полномочия по-прежнему неизменны.

Оставим, следовательно, в стороне эти второстепенные вопросы, которые автор, судя по тому, как он их рассматривает, не принимает близко к сердцу. Ограничимся тем, что взвесим доводы, приведенные им в пользу права на отрицательный ответ, рассматриваемого им с большей тщательностью; потому что от того, будет оно подтверждено или опровергнуто, зависит, оставаться вам рабами или же свободными людьми.

Искусство, каким он самым ловким образом пользуется, состоит в том, чтобы свести к общим положениям взгляды, слабые стороны которых можно было бы легко заметить, если бы он сам эти взгляды последовательно проводил. Дабы отвлечь вас от преследуемой им особой цели, он льстит вашему самолюбию, занимая ваше внимание высокими материями; и в то же самое время, считая эти материи не подлежащими рассмотрению теми лицами, которых хочет обмануть, он им льстит и привлекает на свою сторону, прикидываясь, что относится к ним как к государственным мужам. Он обольщает, таким образом, народ, чтобы его ослепить, и превращает в философские проблемы те вопросы, что требуют для своего решения лишь здравого смысла, дабы никто не мог его в этом уличить и, не понимая его, не осмелился высказать ему неодобрение.

Желать выявить все не имеющие отношения к делу софизмы, использованные им, означало бы совершить ту же ошибку, за которую я его упрекаю. Впрочем, по вопросам, рассматриваемым таким образом, можно выражать любое мнение, никогда не ошибаясь, ибо в эти логические посылки входит столько различных подробностей, а представить эти посылки можно со столь различных сторон, что среди них всегда найдется одна, соответствующая тому виду, который мы пожелаем им придать. Когда пишут книгу о политике для широкой читающей публики, в ней можно философствовать сколько угодно; автор, желающий, чтобы его читали и судили только образованные люди всех наций, сведущие в рассматриваемых им вопросах, безбоязненно прибегает к абстракциям и обобщениям, он не вдается в самые простые подробности. Если бы я обращался только к вам одному, то и я мог бы использовать такой способ рассуждений. Но тема этих «Писем» затрагивает весь народ, состоящий

в большинстве своем из людей, у которых больше здравого смысла и способности суждения, нежели начитанности, образованности, и не владеющие научным жаргоном и поэтому более способны понять истину во всей ее простоте. В подобном случае приходится выбирать между соображениями выгоды автора и соображениями выгоды читателей; и тот, кто хочет принести больше пользы, должен решиться на то, чтобы меньше блистать.

Другим источником заблуждений и ошибочных указаний на примеры из жизни является то, что представления об этом праве давать отрицательный ответ продолжают оставаться слишком расплывчатыми, слишком неточными. Этому способствует то, что под видом доказательств приводятся примеры, здесь наименее уместные; внимание ваших сограждан отвлекают от предмета, на который оно должно быть направлено, предлагая им высокопарные рассуждения, возбуждают их гордость в противовес рассудку и исподволь утешают тем, что владыки мира не более свободны, чем они сами. С ученым видом копаются во тьме веков; чванятся вереницей народов древности. Один за другим выставляют напоказ Афины, Спарту, Рим, Карфаген; глаза вам засыпают песком Ливии, чтобы помешать увидеть происходящее вокруг вас.

Пусть уточнят, как я постарался это сделать, право на отрицательный ответ в том виде, в каком его желает осуществлять Совет; и я утверждаю, что никогда еще на земле не было ни одного правления, при котором законодатель, всячески скованный организмом исполнительной власти, безоговорочно оставив законы в полной власти этого организма, вынужден терпеть то, что ему их толкуют, что их не соблюдают, нарушают по собственной прихоти, а он не может противопоставить этому злоупотреблению иного возражения, иного права, оказать иного сопротивления, кроме бесполезного ропота, недовольства и криков от бессилия.

В самом деле, посмотрите, до какой степени ваш Аноним вынужден извращать суть вопроса, чтобы получить возможность более или менее неудачно приводить свои примеры.

Право давать отрицательный ответ, — говорит он на странице 110, — поскольку оно представляет собой возможность не устанавливать законы, а препятствовать тому, чтобы кто угодно мог задействовать власть, призванную устанавливать законы, и поскольку оно не позволяет с легкостью заводить нововведения, но препятствует им, то оно прямо имеет в виду ту главную

цель, стоящую перед любым политическим сообществом, которая заключается в том, чтобы сохранить себя, сохраняя свое внутреннее устройство.

Вот в чем состоит весьма разумное право давать отрицательный ответ; и по смыслу изложенного это право действительно является столь существенной частью демократического государственного устройства, что без него оно не могло бы сохраниться, если законодательную власть мог бы задействовать каждый, кто входит в ее состав. Согласитесь, нетрудно привести примеры, подтверждающие столь несомненное начало.

Но если это — вовсе не то понятие о праве давать отрицательный ответ, о котором идет речь, если в приведенном месте нет ни единого слова, которое означает ложь в силу того употребления, к коему автор стремится, то вы признаёте, что доказательства в пользу совсем иного рода права давать отрицательный ответ не очень-то убедительны, если относятся к тому праву, которое он желает установить.

«Право давать отрицательный ответ не является правом устанавливать законы...» Да, но оно становится правом обходиться вообще без законов. Превращать каждое решение своей воли в особый закон гораздо удобнее, чем соблюдать общие законы, даже тогда, когда сам являешься их творцом. «Но оно есть право препятствовать тому, чтобы кто угодно мог задействовать власть, устанавливающую законы». Вместо этого следовало бы сказать: «Но оно есть право воспрепятствовать тому, чтобы кто-нибудь оказался неспособен защитить законы от власти, которая их под себя подминает».

«Правом, не позволяющим легко разрешать нововведения...» А почему бы нет? Кто же может помешать вводить новшества тому, кто облечен властью и кто не обязан никому давать отчет в своем поведении? «Но препятствует нововведениям». Скажем лучше: «полномочие воспрепятствовать тому, чтобы люди возражали против нововведений».

В этом-то, сударь, и заключается самый изощренный софизм, наиболее часто встречающийся в рассматриваемом мною сочинении. Тому, кто обладает исполнительной властью, совсем не нужно, чтобы его нововведения сопровождались шумом. Ему нет никакой нужды закреплять такое нововведение в официальных документах. Ему достаточно при повседневном осуществлении своей власти

подчинять мало-помалу всех своей воле; и это никогда не происходит вполне незаметно.

Напротив, те, кто проявляют достаточно внимания и обладают достаточно пронизательным умом, чтобы заметить подобный ход событий и, предвидя его последствия, стремятся его остановить, могут решиться на две вещи: либо сразу же воспротивиться малейшему нововведению, почти всегда пустячному, но тогда на них начинают смотреть как на людей беспокойных, смутьянов, буквоедов, всегда готовых найти повод для распри; либо же, в конце концов, восстать против усугубляющегося злоупотребления: вот тогда-то начинают поднимать крик о том, что нововведение уже имеет место. Что бы ни предпринимали ваши магистраты, я ручаюсь, что вы не сможете, если станете этому противиться, избежать хотя бы одного из этих двух упреков. Но, оказавшись перед таким выбором, отдайте предпочтение первому. Всякий раз, когда Совет нарушает какой-либо обычай, он преследует свою цель, никем не замечаемую, которую он весьма остерегается обнаружить. При всяком сомнении всегда препятствуйте любому нововведению, малому или значительному. Если бы синдики привыкли входить в Совет, ступая с правой ноги, и вдруг пожелали бы входить туда с левой, то и в этом, говорю я, им следовало бы воспрепятствовать.

Здесь налицо весьма существенное доказательство легкости делать вывод «за» или «против», следуя способу рассуждений, который использует наш автор. Ибо примените к праву граждан подавать Представления то, что он применяет к праву Советов давать отрицательный ответ, и вы увидите, что его предложение, высказанное в общем виде, лучше соответствует этому последнему применению, чем первому. «Право подачи Представлений, — скажете вы, — не являясь правом устанавливать законы, а правом препятствовать нарушению их той властью, которая должна их применять, правом, предоставляющим возможность не заводить новшества, а препятствовать их введению, прямо имеет в виду ту цель политического сообщества, которая заключается в сохранении себя, сохраняя свое внутреннее устройство». Не это ли как раз и желали сказать сторонники Представлений, и не кажется ли, что автор рассуждал вместо них? Нельзя, чтобы слова исказили смысл понятий. Так называемое право Совета давать отрицательный ответ является в действительности позитивным правом, и даже самым позитивным из тех, какие только можно себе представить, ибо оно делает

Малый Совет единственным и неограниченным хозяином государства и всех законов; а право подачи Представлений, взятое в его истинном значении, само является только лишь правом давать отрицательный ответ. Оно заключается единственно в том, чтобы препятствовать исполнительной власти осуществлять что-либо вопреки законам.

Рассмотрим признания автора относительно представленных им положений. Если добавить к ним несколько слов, то окажется, что он наилучшим образом обрисовал картину настоящего положения дел в вашем государстве.

Потому-то никогда не будет иметь место свобода в таком государстве, где организм, на который возложено исполнение законов, получит право заставлять их говорить по своей прихоти, ибо он сможет заставлять исполнять свою самую тираническую волю так же, как законы...

Вот, я полагаю, картина, соответствующая природе вещей. Но взгляните на воображаемую картину, противопоставляемую этой:

Никогда не будет правительства также и в таком государстве, где народ стал бы осуществлять без всяких правил законодательную власть.

Согласен: но кто же предлагал, чтобы народ осуществлял законодательную власть без всяких правил?

Давая, таким образом, определение иного права давать отрицательный ответ, нежели то, о котором идет речь, автор весьма заботится о том, чтобы определить, за кем следует закрепить это право, о котором вовсе нет речи; и он обосновывает здесь некое начало, но его я, конечно, не стану оспаривать. Он говорит, что «если правительство без неудобств может обладать этим полномочием давать отрицательный ответ, то будет естественно и правильно, если оно станет им обладать». Я не буду рассматривать примеры, приведенные в дальнейшем, ибо они слишком далеки от нас и вообще не имеют отношения к изучаемому нами вопросу.

Только пример Англии, который у нас перед глазами, и он не без основания приводит как образец правильного равновесия между соответствующими властями, заслуживает краткого рассмотрения, и только после этого я позволю себе провести сравнение малого с великим.

Несмотря на то что власть короля весьма велика, нация не побоялась предоставить королю еще и право подавать голос против. Но поскольку король не может долго обходиться без законодательной власти и поскольку для него небезопасно ее раздражать, это правомочие является фактически только средством остановить предприятия законодательной власти; и государь, спокойно пользуясь обширной властью, предоставляемой ему согласно устройству государства, будет заинтересован в том, чтобы его защищать.

Приняв во внимание это рассуждение и пример, которым его хотят подкрепить, вы, наверное, станете думать, что исполнительная власть английского короля более велика, чем власть Совета в Женеве; что право давать отрицательный ответ, которым обладает этот государь, похоже на незаконно присвоенное себе вашими магистратами; что ваше правительство точно так же, как и правительство Англии, не в состоянии обойтись без законодательной власти; и, наконец, что как одно, так и другое в равной степени заинтересованы в защите государственного строя. Если автор не это хотел сказать, так что же еще иное имел он в виду и какое тогда отношение к его теме имеет этот пример?

Однако дело обстоит здесь во всех отношениях совершенно противоположным образом. Английский король, облеченный законами столь большой властью ради их защиты, вообще не имеет власти их нарушать. Никто в подобном случае не пожелал бы ему повиноваться, каждый опасался бы за свою голову; сами министры могут этой власти лишиться, если станут раздражать парламент; и в нем же рассматривается поведение даже самого короля. Каждый англичанин, находясь под защитой законов, может не бояться королевской власти. Самый последний человек из народа может требовать и получить самое полное удовлетворение за малейшее оскорбление. Если предположить, что государь осмелится допустить хоть незначительное нарушение закона, то это нарушение тотчас ему же поставят на вид; и он не получит ни права, ни власти упорствовать в этом нарушении.

У вас же власть Малого Совета ничем не ограничена. Этот Совет является одновременно и министром и государем, тяжущейся стороной и судьей. Он приказывает и исполняет; он вызывает в суд, арестовывает, заключает в тюрьму, судит и сам наказывает; все в его власти; всех служащих ему лиц невозможно подвергнуть преследо-

ванию; он никому не дает отчета ни в своем поведении, ни в их; ему нечего опасаться со стороны Законодателя, которому только он один имеет право дать высказаться и перед которым он не станет себя обвинять. Он никогда не бывает вынужден исправлять допущенную им несправедливость; и самое большое, на что может надеяться угнетаемый невинный, гонимый им, это — обратиться подобру-поздорову, не добившись ни удовлетворения притязаний в суде, ни возмещения за причиненный ему ущерб.

Судите сами об этом различии, основываясь на самых недавних событиях. В Лондоне напечатано сатирическое произведение с резкими нападками на министров, на правительство и даже на самого короля<sup>87</sup>. Издатели арестованы, но закон не разрешает арестовывать; поднимается ропот в обществе, и их вынуждены освободить. Дело на этом не заканчивается — печатники, в свою очередь, привлекают магистрата к ответственности и получают огромное возмещение за причиненный им ущерб. Пусть сопоставят это дело с делом женевого книготорговца господина Бардэна, о котором я расскажу ниже. Другой случай. В городе происходит кража; без доказательств и на основании необоснованных подозрений один гражданин вопреки закону заключен в тюрьму; в его доме производится обыск; он подвергается всевозможным оскорблениям, какие только наносятся злоумышленникам. В конце концов его невинность установлена, и его освобождают из-под ареста; он жалуется, но жалоба его остается без последствий; и этим все заканчивается.

Предположим, что в Лондоне я имел бы несчастье оказаться негодным Двору; что вопреки справедливости и без всяких оснований он, использовав в качестве предлога публикацию какой-либо из моих книг, приказал бы ее сжечь, а меня арестовать. Я обратился бы тогда в парламент с жалобой на том основании, что был осужден противозаконно; я бы это доказал и получил бы самое полное удовлетворение моего притязания, а судья был бы наказан и, может быть, смещен.

Мысленно перенесем теперь в Женеву господина Уилкса и допустим, что он высказал, написал, напечатал, опубликовал против Малого Совета хотя бы четвертую часть того, что он открыто сказал, написал, напечатал, опубликовал в Лондоне против правительства, суда, государя. Я не стал бы решительно утверждать, что его бы казнили, хотя и полагаю, что именно так бы и случилось; но его

безусловно тотчас же арестовали бы и в скором времени очень сурово покарали\*.

Скажут, что господин Уилкс был членом законодательного собрания в своей стране; а я разве в своей стране таковым не являюсь? Правда, автор «Писем» желает, чтобы никто не обращал никакого внимания на положение гражданина. «Правила расследования, — говорит он, — одинаковы и должны быть таковыми для всех людей. Они вытекают не из права гражданства, а из права, вытекающего из принадлежности к человечеству».

К счастью для вас, на деле это не так\*\*, а в том, что касается этого правила, то здесь под весьма пристойными словами скрывается весьма коварный софизм. Выгода магистрата, которая в вашем государстве превращает его в тяжущуюся сторону с гражданином, но никогда в сторону, ведущую тяжбу с иностранцем, требует в первом случае, чтобы закон принимал гораздо бóльшие меры предосторожности и обвиняемый не был осужден несправедливо. Это различие прекрасно подтверждают факты. Не было, может быть, с момента установления республики ни одного примера несправедливого осуждения иностранца, а кто сочтет, сколько в ваших летописях не-

---

\* Ввиду того, что господин Уилкс находился в этом отношении под защитой закона, для привлечения его к ответственности потребовалось использовать другой способ; и к этому делу опять приплели религию.

\*\* Право подавать прошение о помиловании принадлежит, в силу Эдикта, только лишь гражданам и горожанам; но, благодаря их стараниям, это право и другие права были предоставлены также уроженцам и жителям, которые, подлежа суду, как и граждане и горожане, нуждались в таких же мерах обеспечения своей безопасности; а иностранцы были их лишены. Понятно также, что выбор четырех родственников или друзей для оказания помощи обвиняемому на уголовном процессе не приносит им ищутимой пользы. Право такого выбора выгодно лишь тем, кого магистрат, возможно, задумал погубить и кому закон дает в качестве судьи того, кто является его прирожденным врагом. Даже удивительно, что после стольких ужасных примеров граждане и горожане не приняли больше мер для обеспечения своей безопасности и что всю область уголовных дел, в которой нет ни эдиктов, ни законов, оставили чуть ли не на произвол Совета. Уже одной этой услуги достаточно, чтобы женеvцы и все справедливые люди неизменно обязаны были благословлять посредников, состоит в отмене допроса с пристрастием. Я всегда с горечью улыбаюсь при виде стольких прекрасных книг, в которых европейцы любят себя собою, расхваливая друг друга за гуманность, книг, издаваемых в тех же самых странах, где забавляются тем, что, дабы установить виновность человека, ломают и дробят его части тела. Я говорю о пытке как о почти безошибочном средстве, применяемом сильным ради обвинения слабого в преступлениях, за которые он решит его наказать.

справедливых и даже жестоких судебных расправ над гражданами? Впрочем, весьма понятно, что меры предосторожности, которые необходимо принимать для обеспечения безопасности последних, могут вполне распространяться на всех обвиняемых, потому что целью этих мер является не спасение виновного, а защита невинного. Поэтому-то и не делается никакого исключения в статье 30 Устава, явно выгодной только женевам. Вернемся же к сравнению права на отрицательный ответ в обоих государствах.

Право давать отрицательный ответ у английского короля состоит в возможности созывать и распускать законодательный организм, которым обладает только он один, и в возможности отклонять проекты законов, выносимые на его рассмотрение; но оно никогда не состояло в том, чтобы препятствовать законодательной власти разбирать нарушения закона, совершенные по вине короля.

К тому же это право давать отрицательный ответ сильно ограничивается, во-первых, законом о трехгодичном сроке \*, обязывающем короля созывать новый парламент по истечении определенного срока; затем понимание королем необходимости того, чтобы парламент почти никогда не распускался \*\*, и, наконец, правом Палаты общин давать отрицательный ответ ему самому, которое столь же значительно, как и аналогичное право короля.

Это право ограничивается еще полнотой власти, возникающей у обеих палат, после того как они созваны, как в том, чтобы предлагать, обсуждать, рассматривать законы и все вопросы, относящиеся к делам управления, так и в той части исполнительной власти, которую они осуществляют и совместно, и в отдельности, как в Палате общин, ведающей рассмотрением случаев ущемления прав народа и нарушений законов, так и в Палате лордов, которые являются верховными судьями по уголовным делам, в особенности же по делам о государственных преступлениях.

Вот, сударь, в чем заключается право английского короля давать отрицательный ответ. Если ваши магистраты требуют для себя только лишь такого права, то я вам не советую его у них оспаривать. Но я отнюдь не понимаю, зачем им при настоящем положении дел

---

\* Ставшим семилетним вследствие ошибки, в которой англичане не раскаиваются.

\*\* Ввиду того что парламент предоставляет субсидии только на один год, король вынужден их у него испрашивать ежегодно.

в Женеве еще и законодательная власть, так же, как и не вижу, что может их принудить созвать ее на собрание для того, чтобы она на самом деле действовала; потому что новые законы никогда не бывают нужны людям, стоящим выше законов; потому что правительство, опирающееся на свои собственные финансы и не находящееся в состоянии войны, нисколько не нуждается в новых налогах, и потому, что если весь организм облачается полномочиями правителей, которые выдвигаются из его же среды, то выборы этих правителей почти что не имеют значения.

Я даже не понимаю, в чем Законодатель может ограничить их власть, ведь хотя он и существует, то существует лишь на минуту, и может всякий раз выносить решения только по тому единственному вопросу, по которому они дают ему запрос.

Правда, английский король может объявлять войну и заключать мир. Но помимо того, что эта власть является скорее видимой, чем действительной, по крайней мере в том, что касается войны; я уже показал и ранее, и в «Общественном договоре», что не об этом вам следует думать, и надо отказаться от почетных прав, когда желаете пользоваться свободой. Я признаю еще, что этот государь может раздавать и отнимать должности по своему усмотрению и благодаря этому подкупать по одному из членов законодательного организма. Именно это дает полное преимущество Совету, которому подобные средства не очень нужны и который порабощает вас с меньшими издержками. Подкуп есть злоупотребление свободой, но он — все же доказательство того, что свобода существует, потому что нет нужды подкупать людей, находящихся в твоей власти. Что же касается должностей, то, не говоря о тех, которыми располагает Совет либо сам, либо через Совет Двухсот, он поступает еще лучше в отношении должностей наиболее важных — он замещает их своими собственными членами, что ему еще более выгодно, поскольку всегда чувствуешь себя увереннее, когда делаешь что-либо своими собственными руками, а не чужими. История Англии полна доказательств того, что королевские чины оказывали сопротивление своим государям, когда те желали нарушать законы. Посмотрите, много ли сможете вы найти у себя примеров подобного сопротивления Совету со стороны государственных чинов даже в самых неприятных случаях. Как только кто-либо в Женеве начинает получать жалованье от республики, он тотчас же перестает быть граждани-

ном: он всего лишь раб и сторожевой пес Совета Двадцати пяти, готовый растоптать отечество и законы, как только тот ему прикажет это сделать. Наконец, закон, не оставляющий за королем в Англии никакой власти творить зло, предоставляет ему очень большую власть творить добро. Не похоже, что ваш Совет стремится расширить свою власть в этом направлении.

Английским королям, преимущества которых обеспечиваются нынешним государственным строем, выгодно его защищать, ибо у них мало надежды его изменить. Ваши же магистраты, напротив, уверенные в возможности использовать особенности вашего государственного строя с целью совершенно изменить его сущность, видят свою выгоду в сохранении этих порядков как орудия незаконного присвоения власти. Последний опасный шаг, который им остается сделать, это тот, что они делают сегодня. Сделав этот шаг, они смогут сказать, что им еще более, чем английскому королю, выгодно сохранение существующего государственного строя, но совсем по иной причине. Вот все сходство, которое я нахожу между политическим строем Англии и вашим. Я предоставляю вам судить самому: при каком из них существует свобода?

После этого сравнения автор, любящий приводить вам примеры великих, предлагает пример древнего Рима. Он пренебрежительно ставит ему в упрек то, что его трибуны были смутьянами и бунтовщиками. Он горько оплакивает возникшую якобы под влиянием этого бурного управления печальную участь этого несчастного города, который, однако, еще ничего собой не представлял при учреждении этой магистратуры, а за время ее пятисотлетнего правления покрыл себя славой, узнал благоденствие и стал столицей мира. Ему пришел конец, потому что всему бывает конец; причиной его конца был незаконный захват власти его знатью, консулами и полководцами. Он погиб из-за чрезмерного роста своего могущества, но приобрел такое могущество лишь только благодаря положительным качествам своего правления. В этом смысле можно сказать, что его погубили трибуны\*.

---

\* Трибуны никогда не покидали черту города; они не обладали никакой властью за пределами его стен. Поэтому-то консулы, во избежание надзора с их стороны, иногда проводили комиции в деревне. Однако цепи римлян были выкованы вовсе не в Риме, но в его армиях; благодаря своим победам они утратили свободу. Это произошло, таким образом, не по вине трибунов.

Впрочем, я считаю извинительными ошибки римского народа; я назвал их в «Общественном договоре». Я порицал римлян за незаконный захват исполнительной власти, которую они должны были только сдерживать\*; я показал, на основе каких начал следует учреждать трибунат; я указал, какие следовало установить пределы его власти и каким образом все это могло осуществиться. Эти правила плохо соблюдались в Риме. Но они могли бы соблюдаться лучше. Однако взгляните на то, что трибунат совершил, несмотря на свойственные ему превышения своей власти; а как много хорошего он мог бы сделать, если бы его действия осуществлялись в правильном направлении? Мне неясно, что хочет сказать здесь автор «Писем». Чтобы сделать вывод, направленный против него самого, я привел бы тот же пример, который выбрал он сам.

Однако не станем искать так далеко эти великие примеры, столь яркие сами по себе, но столь обманчивые в том, что касается повода их привести. Не позволяйте выковать вам цепи, обольщаясь собственным самолюбием. Будучи слишком малы, чтобы сравнивать себя с кем бы то ни было, оставайтесь сами собой и не заблуждайтесь насчет вашего положения. Древние народы не являются более образцом для народов новых времен: они во всех отношениях слишком не похожи на них. Вы же, женеvцы, должны оставаться на своем месте и не стремиться к достижению высоких целей, постав-

---

Правда, Цезарь пользовался их услугами, подобно тому как Сулла использовал сенат. Каждый из них употреблял средства, которые считал наиболее верными и скорыми для достижения власти. Но кто-то же хотел ее получить, и какое имело значение, кто именно, Марий или Сулла, Цезарь или Помпей, Октавиан или Антоний станет самозванцем. Какая бы партия ни взяла верх, захват власти от этого не становился менее неизбежным. Находившимся в далеких странах армиям нужны были начальники; и не подлежало сомнению, что один из этих начальников станет хозяином в государстве. Трибунат здесь был ни при чем.

Впрочем, тот же выпад, который делает здесь автор «Писем из деревни» против народных трибунов, был уже сделан в 1715 году государственным советником господином Шапоруж в его памятной записке, направленной против должности Генерального прокурора. Господин Луи де Фор, блестяще исполнявший тогда эту должность, указал ему в весьма замечательном письме, написанном в ответ на эту записку, что влияние и власть трибунов явились спасением для республики и что на ее гибель повлияли вовсе не они, а консулы. Несомненно, Генеральный прокурор Ле Фор совершенно не предвидел, что кто-либо в наши дни вновь станет защищать мнение, которое он столь тщательно опроверг.

\* См.: Общественный договор. Кн. IV. Гл. 5. Я полагаю, что в этой весьма краткой главе можно найти немножко хороших правил, относящихся к этой теме.

ленных перед вами, чтобы скрыть от вас ту пропасть, которую перед вами разверзают. Вы не римляне и не спартанцы, вы даже не афиняне. Оставьте в стороне эти великие имена, вам их совершенно не приличествует носить. Вы — торговцы, ремесленники, горожане, постоянно занятые заботами о своей частной выгоде, своей работой, своей торговлей, своею прибылью. Вы — люди, для которых сама свобода является лишь средством беспрепятственно приобрести имущество и надежно им владеть.

Такое положение требует усвоения особых правил. Не будучи праздными, как древние народы, вы не можете, как они, беспрепятственно заниматься вопросами правления; но именно потому, что вы не можете столь пристально за ним следить, оно должно быть так устроено, чтобы вам было легче видеть его действия и предотвращать злоупотребления. Исполнение любого общественного поручения, в котором затронута ваша выгода, должно стать для вас тем более легким, что эти заботы для вас накладны и вы неохотно их берете на себя. Ибо пожелать совершенно ими не заниматься — означало бы пожелать перестать быть свободными. «Нужно сделать выбор, — говорит благодетельный философ, — и тем, кто не в состоянии вынести трудности, остается искать лишь отдохновения в рабстве».

Народ беспокойный, суетливый, праздный, который, не занятый собственными делами, всегда готов вмешиваться в дела государства, нуждается в том, чтобы его сдерживали, — я это знаю; но, повторяю еще раз, разве горожане ЖENEVЫ являются таким народом? Они совсем на него не похожи; они даже его антиподы. Ваши граждане, всецело поглощенные своими домашними занятиями и всегда прохладно относящиеся ко всему остальному, помышляют об общественной выгоде лишь тогда, когда речь заходит об их собственной. Слишком мало заботясь о том, чтобы надзирать за поведением своих правителей, они замечают уготованные им оковы только тогда, когда начинают ощущать их тяжесть. Постоянно отвлекающиеся на что-то, обманутые, неизменно сосредотачивающие свое внимание на посторонних предметах, они позволяют себя обмануть относительно самого важного и ищут лекарство, потому что не сумели предотвратить болезнь. Пытаясь слишком точно рассчитать свои действия, они всегда опаздывают. Неповоротливость погубила бы их уже сотню раз, если бы нетерпеливость магистрата не оказывалась при этом спасительной и если бы, стремясь поскорее

завладеть высшей властью, он тем самым не предупреждал их о грозящей опасности.

Прочитайте историю вашего образа правления, и вы увидите, как Совет, всегда проявлявший горячность в своих предприятиях, не преуспевал чаще всего по причине слишком явной поспешности в их осуществлении. Вы увидите, как горожане, всякий раз спохватившись, осуждали то, чему они позволили совершиться, не оказав своевременно сопротивления.

В 1570 г. государство было обременено налогами и испытывало многие бедствия. Ввиду того что при сложившихся обстоятельствах было трудно часто созывать Генеральный Совет, на нем предложили уполномочить другие Советы заботиться о текущих нуждах. Предложение было принято<sup>88</sup>. Исходя из этого, они начали присваивать себе постоянное право устанавливать налоги, и на протяжении более чем столетия им это разрешают, не оказывая ни малейшего сопротивления.

В 1714 г. с тайными помыслами взялись за осуществление огромного и смехотворного предприятия — за строительство укреплений без ведома Генерального Совета и вопреки тому, что написано в Эдиктах \*. Ради осуществления этого милого замысла вводятся налоги на десять лет, по поводу которых также не запрашивали его мнения. Появляется несколько жалоб, но ими пренебрегают — и все умолкает.

В 1725 г. истекает срок введения налогов; необходимо его продлить. Хотя и с запозданием, горожане должны были все же выступить в защиту своих столь долго находившихся в пренебрежении прав. Но ввиду того, что чума в Марселе и Королевский банк нарушили торговлю<sup>89</sup>, каждый, опасаясь за судьбу своего состояния, забывает об опасностях, угрожающих его свободе. Совет же, который не упускает из виду своих целей, продлевает срок взимания налогов через Совет Двухсот, минуя Генеральный Совет.

По истечении этого второго срока граждане пробуждаются и после ста шестидесяти лет бездействия заявляют, наконец, по-настоящему о своих правах. И вот тогда, вместо того чтобы пойти на уступки или же выждать, правительство готовит заговор. Этот заговор раскрыт, горожане вынуждены взяться за оружие, и из-за этого насильственного действия Совет теряет в одно мгновение то, что он незаконно присваивал в течение целого столетия.

\* Об этом уже говорилось ранее.

Едва только все, как казалось, успокоилось, тотчас ввиду нежелания примириться с такого рода поражением зреет новый заговор\*. Опять пришла пора братья за оружие, вмешиваются соседние державы, и взаимные права, наконец, определены<sup>90</sup>.

В 1650 г. нижестоящие Советы вводят способ подсчета голосов, который лучше прежнего, но не соответствует Эдиктам. Генеральный Совет продолжает использовать прежний способ, из-за чего вкрадывается множество злоупотреблений, и это продолжается на протяжении пятидесяти с лишним лет, до тех пор пока гражданам не приходит в голову пожаловаться на это нарушение и потребовать введения подобного способа подсчета голосов в Совете, членами которого они являются. В конце концов, они этого требуют; и самое невероятное здесь то, что им в ответ на это преспокойно возражают, отсылая их к тому же самому Эдикту, нарушаемому уже в течение полувека<sup>91</sup>.

В 1707 г. одного гражданина противозаконно подвергают тайному суду<sup>92</sup>, осуждают и расстреливают в тюрьме из аркебузы; другого вешают на основании показания единственного и заведомого лже-свидетеля<sup>93</sup>; третьего находят мертвым<sup>94</sup>. Все это остается без последствий, и об этом станут говорить лишь в 1734 г., когда кто-то пожелает запросить у магистрата сведения о гражданине, расстрелянном из аркебузы тридцать лет тому назад.

В 1736 г. учреждаются уголовные суды без участия синдигов. Среди царивших тогда беспорядков граждане, занятые столькими иными делами, не могли думать обо всем сразу. В 1758 г. повторя-

---

\* Речь шла о том, чтобы, соорудив ограду вокруг возвышения, на котором расположена городская ратуша, превратить эту возвышенность в своего рода крепость, дабы получить возможность поработить народ. Уже был приготовлен для этой ограды лес, создан план оборонительных сооружений, высшим офицерам гарнизона отданы соответствующие приказания, боеприпасы и оружие перевезены из арсенала в городскую ратушу, на одном из отдаленных бульваров установлены двадцать две пушки, еще несколько пушек тайно перевезены в другое место, — одним словом, сделаны все приготовления к самому насильственному из всех предприятий, без запроса мнения Советов, произведенного синдиком стражи и другими магистратами, но всего этого оказалось недостаточно, когда все стало известно, для того, чтобы добиться суда над виновными и даже для того, чтобы решительно осудить их замысел. Более того, горожане, бывшие тогда хозяевами в городе, позволили им беспрепятственно покинуть их убежище, не причинив им ни малейшего вреда, не войдя в их дома, не потревожив их семьи, не тронув ничего из принадлежащего им имущества. В любой другой стране народ стал бы убивать такого рода заговорщиков и грабить их дома.

ется тот же маневр; тот, кого это касается, намерен жаловаться; ему не дают высказаться — и все затихает. В 1762 г. этот же маневр повторяют снова \*. Наконец, год спустя граждане обращаются с жалобой. Но Совет отвечает: «Вы опоздали — такой обычай уже установился».

В июне 1762 г. один гражданин, которого Совет возненавидел, был опорочен в его протоколах, и приняли постановление о его аресте вопреки самым определенным предписаниям Эдикта. Его родные, потрясенные этим, подают прошение, чтобы их ознакомили с постановлением, в ответ получают отказ, и все стихает. Прождав год, опороченный гражданин, видя, что никто не протестует, отказывается от своего права гражданства. Горожане открывают, наконец, глаза и восстают против нарушения закона; но слишком поздно.

Более памятным по своему характеру случаем, хотя речь шла о самом незначительном событии, явился тот, который произошел с господином Бардэном. Один книготорговец заказывает своему корреспонденту экземпляры новой книги; до того как эти экземпляры прибыли, книга была запрещена. Книготорговец извещает магистрата о своем заказе и спрашивает, что ему делать. Ему приказывают сообщить, когда эти экземпляры придут. Они прибывают, он об этом сообщает, и их у него изымают. Он ожидает, чтобы

---

\* И по какому же случаю! Вот государственная инквизиция, при виде которой бросает в дрожь. Можно ли себе представить, чтобы в свободной стране в уголовном порядке наказали какого-либо гражданина за то, что в своем письме к другому гражданину, которое не было напечатано, он рассуждал в пристойных и умеренных выражениях о поведении магистрата по отношению к третьему гражданину? Найдете ли вы примеры подобного насилия в странах с правлением самым неограниченным? При отставке г-на де Силуэтта я написал ему письмо, и оно обошло весь Париж. Это письмо отличалось смелостью, достойной, как я сам считаю, порицания; это, может быть, единственная вещь, достойная порицания, какую я когда-либо написал в своей жизни. Однако разве мне хоть слово сказали на этот счет? Об этом даже никто и не помышлял. Во Франции за пасквили наказывают, и это очень хорошо, но предоставляют частным лицам достаточную свободу рассуждать между собою об общественных делах; и это неслыханное дело, когда кого-либо преследуют за то, что он в письмах, оставшихся в рукописях, высказал свое мнение не в сатирическом и не в оскорбительном тоне по поводу того, что творится в судах. После того как я был столь большим сторонником республиканского образа правления, придется ли мне на старости лет изменить свое мнение и считать, что, в конечном счете, подлинной свободы больше при монархиях, чем в наших республиках?

книги ему возвратили или оплатили; но ни того, ни другого не делают. Он снова их требует, но их ему не возвращают. Он подает прошение о том, чтобы книги были отосланы обратно, возвращены ему или оплачены, но во всем этом ему отказывают. Он теряет свои книги; а ведь те, кто задержал их, суть должностные лица, на которых возложена обязанность наказывать за воровство!

Хорошенько взвесив все эти обстоятельства, я сомневаюсь, чтобы можно было найти другой подобный пример в действиях какого-либо парламента, сената, совета, дивана или некоего суда. Если бы пожелали посягнуть на право собственности без малейшей на то причины или повода, вплоть до самого его основания, то не смогли бы сделать это более открыто. Однако это дело свершилось, и все молчали; и не будь более серьезных притеснений, об этом никогда бы не заговорили. А сколько других дел осталось неизвестными из-за того, что не представилось случая пролить на них свет?!

Если предыдущий пример малозначителен сам по себе, то вот другой, совсем иного рода. Еще немного внимания, сударь, к этому делу, и я не стану говорить обо всех остальных, которые я мог бы упомянуть.

20 ноября 1763 г. на Генеральном Совете, собравшемся для избрания Лейтенанта и Казначая, граждане замечают различие между имеющимся у них напечатанным текстом Эдикта и рукописным, тем, что зачитывает им Государственный секретарь, различие, заключающееся в том, что выборы Казначая должны согласно первому тексту производиться одновременно с избранием синдиков, а согласно второму — одновременно с избранием Лейтенанта. Они замечают, кроме того, что выборы Казначая, которые согласно Эдикту должны проводиться каждые три года, согласно обычаю следует производить лишь раз в шесть лет, и по истечении трех лет довольствуются тем, что предлагают утвердить того, кто в настоящее время занимает эту должность.

Эти разночтения в тексте закона между рукописью в Совете и напечатанным текстом Эдикта, до того времени никем не замеченные, заставили обратить внимание на другие, вызвавшие сомнения относительно других частей текста. Несмотря на то что опыт показывает гражданам бесполезность даже самых обоснованных Представлений, они, тем не менее, по тому же поводу подают их опять, прося о том, чтобы оригинал текста Эдиктов был передан на хранение

ние в Канцелярию или в любое другое публичное место, на выбор Совета, где можно было бы сравнивать этот текст с напечатанным.

Однако вы помните, сударь, что в статье 42 Эдикта 1738 г. сказано, что как можно скорее следует напечатать общий свод законов государства, содержащий все Эдикты и Уставы. По прошествии двадцати шести лет об этом своде и речи не идет, а граждане хранят молчание!

Вы должны еще вспомнить, что в памятной записке, напечатанной в 1745 г., один исключенный член Совета Двухсот подверг обоснованному сомнению точность текста Эдиктов, напечатанных в 1713 г. и перепечатанных в 1735 г., во времена, одинаково способные навести на подобного рода подозрения. Он говорит, что сличил с рукописными текстами имеющиеся у него напечатанные тексты Эдиктов, и утверждает, что нашел в них много ошибок, которые и отметил; и он приводит подлинные выражения Эдикта 1556 г., полностью опущенные в напечатанном тексте. На эти столь серьезные обвинения Совет ничего не ответил; и граждане хранили молчание! \*

Согласимся, если вам угодно, с тем, что достоинство Совета не позволяло ему тогда ответить на обвинения лица, исключенного из его состава. Но это же самое достоинство, опороченная честь, подозрения относительно точности текстов требовали теперь проверки, необходимой в силу многих причин, которой были вправе добиваться те, кто ее требовал.

Ничего подобного. Малый Совет оправдывает изменение, введенное установившимся обычаем вопреки Эдикту. Генеральный Совет, не воспротивившийся этому в самом начале, больше не вправе противиться теперь.

Он объясняет различие между рукописью Совета и напечатанным текстом тем, что эта рукопись является сборником Эдиктов

---

\* Какое извинение, какой предлог можно отыскать, чтобы не соблюдать столь определенную и важную статью? Понять это невозможно. Когда случайно об этом скажешь в разговоре с какими-нибудь магистратами, они холодно отвечают: «Каждый отдельный Эдикт напечатан; соберите их». Как будто можно быть уверенным, что все было напечатано, или как будто сборник таких бумажек представляет собой полный сборник законов, общий свод, отвечающий требованиям подлинности в согласии со статьей 42! Вот каким образом эти господа выполняют столь определенное обязательство! Какие ужасные последствия могут иметь подобные упущения!

с теми изменениями, которые допускаются на практике и на которые дал молчаливое согласие Генеральный Совет, тогда как напечатанный текст является сборником тех же Эдиктов в том виде, в каком они были приняты Генеральным Советом.

Также установившимся обычаем Малый Совет оправдывает и утверждение в должности Казначейя противно Эдикту, где сказано, что его следует переизбирать. Нет ни одного нарушения Эдиктов, замеченного гражданами, которого он не оправдывал бы наличием прежних нарушений. Нет ни одной жалобы со стороны граждан, которой он бы не отверг, ставя им в упрек то, что они не пожаловались раньше.

А что касается сообщения им подлинного текста законов, то в этом им определенно отказано\*: либо на том основании, что «сие противно правилам», либо потому, что граждане и горожане «не должны знать иного текста законов, кроме напечатанного», хотя Малый Совет придерживается иного текста и велит соблюдать последний и в Генеральном Совете\*\*.

Таким образом, можно сказать, что противно правилам, когда тому, кто заключил какую-либо сделку, не следует выдавать на руки подлинник, удостоверяющий ее в случае, если расхождения в копиях дают ему основание сомневаться в их достоверности и правильности; и можно сказать, что считается правильным наличие двух

---

\* Эти столь резкие и столь определенные отказы на все самые умеренные и самые справедливые Представления кажутся мало правдоподобными. Невозможно себе представить, чтобы Женевский совет, состоящий в большей части из людей просвещенных и рассудительных, не чувствовал отвращения и ужаса при виде позора от того, как свободным людям, членам законодательного организма, отказывают в предоставлении подлинного текста законов и сеют, таким образом, словно намеренно, подозрения, когда видят таинственность и непроницаемость завесы, которой постоянно окружают этот текст. Я склонен думать, что эти отказы стоят ему недешево, но что он взял себе за правило уничтожить обычай Представлений путем неизменно отрицательных ответов. В самом деле, не следует ли предположить, что самые терпеливые люди откажутся от мысли просить о чем-либо, если им постоянно отказывают? Прибавьте к этому предложение, уже сделанное в Совете Двухсот, возбудить преследование против авторов последних Представлений за то, что они воспользовались правом, предоставленным им законом. Кто отныне пожелает подвергнуть себя опасности предстать перед судом за действия, которые, как это заранее известно, останутся безуспешными? Если в этом состоит замысел Малого Совета, то нужно признать, что он следует ему весьма исправно.

\*\* Извлечение из реестров Совета от 7 декабря 1763 года в ответ на устные Представления, сделанные 21 ноября шестью гражданами или горожанами.

различных записей одних и тех же законов: одного текста для частных лиц, а другого — для правительства! Слыхали ли вы когда-нибудь о чем-либо подобном?! И, однако, перед лицом этих запоздалых открытий, перед лицом всех этих возмутительных отказов граждан, которым было отказано в их самых законных требованиях, молчат, ждут и бездействуют!

Вот, сударь, каковы общеизвестные события, совершающиеся в вашем городе, и все они лучше известны вам, чем мне. Я бы мог добавить еще сотню других, не считая тех, которые ускользнули от моего внимания. Но и этих фактов уже достаточно, чтобы судить, являются ли или являлись ли когда-нибудь горожане Женевы, я не скажу людьми беспокойными и бунтарями, но людьми бдительными, внимательными, с легкостью поднимающимся на защиту своих самых бесспорных прав, попираемых самым явным образом.

Нам говорят, что «нация живая, изобретательная и весьма ревниво следящая за соблюдением своих политических прав крайне нуждается в том, чтобы ее правительство обладало полномочием давать отрицательный ответ». Уяснив себе, в чем состоит это полномочие, можно поначалу согласиться с его наличием. Но разве его должно осуществлять по отношению к вам? Разве вы позабыли, что в иных странах вас считают более хладнокровными, чем остальные народы? И как можно утверждать, будто народ Женевы весьма ревниво следит за соблюдением своих политических прав, тогда как видно, что он следит за их соблюдением всегда с запозданием, проявляет к ним пренебрежение и вспоминает о них только тогда, когда к этому вынуждает самая неминуемая опасность? Так что только от Совета зависит, чтобы горожане совершенно не следили за соблюдением своих прав, если только на эти права не станут весьма грубо посягать.

Сравним на минуту обе партии, дабы иметь возможность судить о том, чьих действий следует больше опасаться и какой из них нужно предоставить право умерить подобные действия.

С одной стороны, я вижу народ весьма немногочисленный, миролюбивый и хладнокровный, состоящий из людей трудолюбивых, падких на барыш, ради собственной выгоды вполне послушных законам и их служителям, занятых своею торговлей или своими ремеслами. Все они, равные в правах и мало отличающиеся по своему имущественному положению, не имеют в своей среде ни начальни-

ков, ни подчиненных; они, занятые своей торговлей, в силу своего положения, наличия имущества попали в большую зависимость от магистрата и потому должны с ним считаться; все они опасаются вызвать его неудовольствие; если у них возникает желание вмешиваться в общественные дела, то это всегда случается во вред их собственным. Отвлекающиеся, с одной стороны, на цели, составляющие большую выгоду для их семей, с другой стороны, сдерживаемые соображениями осторожности и повседневным опытом, который учит их, насколько в столь малом государстве, как ваше, где всякое частное лицо находится постоянно на виду у Совета, опасно оскорблять власть, — они имеют самые серьезные основания жертвовать всем ради мира. Ибо они в состоянии процветать только благодаря миру; и при этом положении вещей каждый, сбитый с толку погоней за частной выгодой, предпочитает свободе покровительство и угождает Совету ради собственного блага.

С другой же стороны я вижу в маленьком городе, дела которого, в сущности, очень незначительны, независимый и постоянный организм магистратов, почти не занятый делом в силу своего положения, а занятый только тем, что стремится к самой большой и вполне естественной выгоде для тех, кто повелевает, т. е. неустанным укреплением своего могущества. Ибо честолюбие, так же как и скупость, питается своими успехами; и чем больше кто-либо увеличивает свои возможности, тем больше его снедает желание достичь всего. Этот организм, стремясь постоянно подчеркивать едва заметную разницу между своими членами и прочими людьми, равными им по рождению, считает их только людьми, стоящими ниже его, и горит желанием видеть в них своих подданных. Взяв на вооружение государственную власть, блюститель всякой власти, тот, кто толкует законы или освобождает из-под их действия, когда они его стесняют, превращает их в наступательное и оборонительное оружие<sup>95</sup>, становясь грозным, почитаемым и священным для всех тех, на кого он пожелает обрушить свой гнев. От имени закона он может безнаказанно нарушать закон, покушаться на государственный строй, делая вид, что его защищает; он может наказывать, как бунтовщика, всякого, кто в действительности осмеливается его защищать. Любые предприятия этого организма становятся легкими; он не оставляет никому права проведать о них или воспрепятствовать их исполнению. Он может действовать, устанавливая отсрочки, отстранять от должности, соблазнять, запугивать, наказывать

тех, кто ему сопротивляется; и если он снисходит до указания на какой-либо предлог, так больше для соблюдения приличий, нежели в силу необходимости. У него, следовательно, есть желание расширить свою власть, и он располагает средством достичь всего того, что желает.

Таково взаимное положение Малого Совета и горожан Женевы. Кто же из них, Малый Совет или горожане, следует наделить правом давать отрицательный ответ, чтобы помешать предприятиям другого? Автор «Писем» уверяет, что Малый Совет.

В большинстве государств внутренние беспорядки производит дошедшая до скотского состояния тупая чернь, поначалу подстрекаемая невыносимыми притеснениями, а затем тайно подстрекаемая ловкими смутьянами, облеченными какой-либо властью, которую они желают увеличить. Но можно ли вообразить что-либо более ложное, чем подобное представление о горожанах Женевы, по крайней мере в отношении той их части, что противостоит власти, добиваясь соблюдения законов. Во все времена эта часть всегда была промежуточным разрядом, находящимся между богатыми и бедными, между правителями государства и чернью. Этот разряд, состоящий из людей, примерно равных по своему достатку, положению и образованию, занимает недостаточно высокое место, чтобы иметь какие-либо притязания, и недостаточно низко, чтобы ему нечего было терять. Их главная и общая для всех выгода заключается в соблюдении законов, уважении к магистратам, сохранении государственного строя и покоя в государстве. Ни один человек в этом разряде не получает никакого превосходства над другими, получая возможность воспользоваться этим ради своей частной выгоды. Это наиболее здоровая часть республики, единственная, относительно которой можно с уверенностью сказать, что она не ставит перед собой иной цели, кроме блага всех. Поэтому всегда можно наблюдать в их общих выступлениях благопристойность, скромность, почтительную твердость, известную степенность людей, чувствующих, что право на их стороне и что они выполняют свой долг. Напротив, посмотрите, на кого опирается другая часть: на людей, утопающих в роскоши, и на самый подлый люд. Не в промежутке ли между этими двумя крайними разрядами, один из которых словно создан для того, чтобы подкупать, а другой — чтобы продавать себя, нужно искать любовь к справедливости и к законам? Из-за таких людей всегда и вырождается государство: богатый дер-

жит закон в своем кошельке, а бедный предпочитает хлеб свободе. Достаточно сравнить эти две партии, чтобы иметь возможность судить, которая из них должна первой посягнуть на законы. И в самом деле, посмотрите на протяжении вашей истории: не исходили ли все заговоры всегда от магистратуры и не прибегали ли граждане к насилию только тогда, когда это было необходимо с целью оградить себя от него?

Несомненно, это только шутка, когда, говоря о последствиях применения права, требуемого вашими согражданами, вам изображают государство, ставшее жертвой происков, подкупа, жертвой первого встречного<sup>6</sup>. Такого рода полномочие давать отрицательный ответ, которым желает обладать Совет, было неизвестно до сего времени; но какие же беды случились от этого? Однако ужасные беды произошли бы, если бы он не пожелал настаивать на признании за собой этого права, столкнувшись с притязаниями горожан на пользование подобным правом. Обратите довод, основанный на двухсотлетнем процветании, против Совета, и что же тогда вам ответят? Это правление, скажете вы, прошедшее испытание временем, опирающееся на столь многие писанные акты, узаконенное столь давним обычаем, возвеличенное успехами, правление, при котором право Советов давать отрицательный ответ вовсе не было известно, — не лучше ли оно того другого, самовластного правления с пока незнакомыми свойствами, ведь неизвестно, как оно отразится на нашем благоденствии, но относительно которого разум подсказывает, что оно лишь ввергает нас в пучину несчастья?

Предполагать, что все злоупотребления существуют лишь в партии, на которую обрушиваются, а в своей партии какие-либо злоупотребления отсутствуют — это весьма грубый и весьма обычный софизм, а его-то должен остерегаться всякий разумный человек. Следует предполагать наличие злоупотреблений как с той, так и с другой стороны, потому что они коренятся повсюду; но это не означает, что они одинаковы по своим последствиям. Всякое злоупотребление — это зло, часто неизбежное, из-за которого не нужно упразднить то, что хорошо само по себе. Но сравните, и вы обнаружите, с одной стороны, беды несомненные, беды ужасные, без конца и без края, а с другой — злоупотребление, хотя и значительное, но преходящее, и если оно и имеет место, то заключает в себе и средство от него избавиться. Ибо, скажу еще раз, свобода может существовать только при соблюдении законов или общей воли; а общей

воле так же не свойственно причинять вред всем, как воле частной вредить самой себе. Но, предположим, что это злоупотребление свободой столь же естественно, как и злоупотребление властью. Однако всегда существует различие между тем и другим в том, что злоупотребление свободой обращается во вред народу, ею злоупотребляющему, и, оно есть наказание за совершенную им ошибку, вынуждающее его искать средства ее исправить. Таким образом, с этой стороны зло всегда существует только в переломное время, оно не превратится в постоянное положение; тогда как злоупотребление властью, всегда обращаясь во вред не сильному, а слабому, не имеет по своей природе ни меры, ни узды, ни пределов: оно прекращается лишь после уничтожения того, кто только и страдает от такого злоупотребления. Скажем, следовательно, что правительство неизбежно должно находиться в руках малого числа лиц, а право надзора за ним принадлежало всему народу, и если злоупотребление неизбежно как с одной, так и с другой стороны, то все же лучше, если народ окажется несчастным по своей вине, чем под гнетом власти некоего постороннего лица.

Первая и самая главная выгода всего народа неизменно состоит в том, чтобы соблюдалось правосудие. Все желают, чтобы условия были одинаковы для всех, а правосудие и есть такое равенство. Гражданин желает только того, чтобы существовали и соблюдались законы. Каждое частное лицо из народа хорошо знает, что, если исключения и бывают, то они не в его пользу. Таким образом, все опасаются изъятий из правил, а кто их опасается — тот любит закон. С правителями же дело обстоит совершенно иначе: само их положение является привилегированным; и они повсюду ищут для себя привилегий\*. Если они желают иметь законы, так не для того, чтобы им повиноваться, а для того, чтобы властвовать над ними.

---

\* Справедливость в народе является добродетелью, присущей его положению точно так же, как насилие и тирания у правителей есть порок, свойственный их положению. Если бы мы, частные лица, оказались на их месте, то мы сделались бы, подобно им, насильниками, захватчиками, людьми, творящими беззаконие. Поэтому когда магистраты начинают нам расхваливать свою честность, умеренность, справедливость, они нас обманывают, поскольку таким образом хотят завоевать наше доверие, которое мы им не обязаны оказывать. Не то чтобы они не обладали каждый в отдельности добродетелями, коими они чванятся; но в этом случае они становятся изъятием из правил, а закон никак не должен принимать во внимание то, что является исключением.

Они желают иметь законы, дабы занять их место и внушить страх к себе, пользуясь их именем. Все им благоприятствует в осуществлении этого замысла: они пользуются правами, которыми обладают, с целью присвоить себе без опасений те права, которыми пока не обладают. Поскольку они всегда говорят от имени закона, даже его нарушая, тот, кто осмеливается защищать от них закон, считается бунтовщиком, мятежником и обречен на гибель. Они же всегда уверены в безнаказанности своих предприятий, и самое худшее, что с ними может случиться, это то, что они не преуспеют в осуществлении своих планов. Если они нуждаются в поддержке, то повсюду ее находят. Объединение сильных есть явление естественное; а слабость слабых состоит в том, что они не смогут объединиться, следуя примеру первых. Такова уж участь народа: как внутри, так и вовне его судьями оказываются тяжущиеся с ним стороны. Ему повезло, если среди них ему удастся найти судей, в достаточной мере справедливых, способных защищать его вопреки усвоенным ими правилам, вопреки столь свойственной человеческому сердцу склонности получить преимущества и способствовать достижению выгоды, похожей на нашу собственную. Сами того не ожидая, вы уже обладаете этим преимуществом: когда они согласились на посредничество, то сочли, что вас раздавят. Но вы получили просвещенных и твердых защитников, неподкупных и великодушных посредников, и тогда справедливость и истина восторжествовали. Если бы вам посчастливилось так еще раз! Тогда на вашу долю выпало бы очень редкое счастье, но ваши угнетатели, по-видимому, почти что не опасаются этого!

Обрисовав вам все воображаемые беды, могущие произойти из-за применения права, столь же древнего, как и ваш государственный строй, права, которое никогда не причиняло никаких бед, скрывают и отрицают беды, порождаемые присвоенным себе новым правом, а эти беды ощущаются уже сейчас. Признавая по необходимости, что правительство может злоупотреблять правом давать отрицательный ответ вплоть до самой невыносимой тирании, утверждают, что не произойдет того, что происходит, и выдают за нечто невероятное происходящее сейчас на ваших глазах. Осмеливаются утверждать, что никто не скажет, будто нынешнее правительство отнюдь не отличается справедливостью и мягкостью; и заметьте, что это говорится в ответ на Представления, в которых содержатся жалобы на несправедливости и насилия нынешнего правительства.

Вот что можно назвать поистине прекрасным стилем: это красноречие Перикла, который, потерпев поражение в борьбе с Фукидидом, доказывал слушателям, что, наоборот, он над ним одержал победу.

Таким образом, завладевая без всякого на то повода чужим имуществом, заключая в тюрьмы без оснований невинных, пороча, не выслушав, одного гражданина, незаконно осуждая другого, защищая непристойные книги, сжигая те, которые проникнуты добродетелью, преследуя их авторов, утаивая подлинный текст законов, отказывая в удовлетворении самых справедливых требований, проявляя самый жестокий деспотизм, попирая свободу, которую они должны были бы защищать, угнетая отечество, которому они должны были бы быть отцами, эти господа сами себя расхваливают за великую справедливость выносимых ими приговоров; они приходят в восторг от мягкости своего управления; они смело утверждают, что все с ними в этом согласны. Однако я весьма сомневаюсь, чтобы таково было также и ваше мнение, и я убежден, по крайней мере, в том, что сторонники Представлений так не думают.

Пусть соображения частной выгоды не делают меня несправедливым. Из всех наших склонностей это та, которой я наиболее остерегаюсь, и я полагаю, что не дал ей ни в коей мере повод мной овладеть. Ваш магистрат справедлив в вопросах, не имеющих для него значения; я думаю даже, что он склонен всегда быть справедливым; должности у него малоодоходные; он осуществляет правосудие, а отнюдь не торгует им; он лично неподкупен, бескорыстен, и я знаю, что в столь деспотическом Совете царят еще прямодушие и добродетели. Указывая вам на последствия применения права давать отрицательный ответ, я в меньшей мере говорил вам о том, что магистраты станут делать, став носителями верховной власти, чем о том, что они продолжают делать, дабы стать носителями такой власти. Как только их признают таковыми, им станет выгодно всегда соблюдать справедливость; и уже сейчас их выгода чаще всего состоит именно в этом. Но горе всякому, кто осмелится призывать на помощь еще и законы и требовать свободы! Против этих несчастных все становится дозволенным и законным. Справедливость, добродетель, даже личная выгода никак не смогут устоять перед желанием господствовать; и тот, кто будет справедлив, став господином, не останавливается ни перед какой несправедливостью на пути к тому, чтобы им стать.

Настоящую дорогу к тирании открывают отнюдь не явные покушения на свободу: действовать так означало бы поднять всех на ее защиту, но в том, чтобы последовательно нападать на всех его защитников и запугивать всякого, кто посмел бы всего-навсего пожелать стать его защитником. Внушите всем, что выгода всего народа не является выгодой какого-либо лица в отдельности, и уже в силу одного этого будет установлено рабство, ибо, когда каждый окажется в ярме, где же окажется свобода для всех? Если кто-либо, осмеливаясь заговорить, будет тотчас же раздавлен, кто же пожелает ему подражать? И кто же станет голосом этой общности, когда всякая личность в отдельности сохранит молчание? Правительство будет жестоко преследовать тех, кто станет проявлять рвение, и будет справедливо по отношению к остальным до тех пор, пока не сможет безнаказанно творить несправедливость по отношению ко всем. Тогда справедливость правительства обернется уже расчетливостью, дабы без повода не расточать свое собственное достояние.

Следовательно, Совет в известном отношении справедлив и должен быть таковым ради собственной выгоды, но в ином отношении: он усвоил некие взгляды, проявляя чрезмерную несправедливость, и тысячи примеров должны были вас научить, насколько слабой защитой от ненависти магистрата являются законы<sup>97</sup>. Что же произойдет, когда, став единственным, безраздельным господином в силу своего права давать отрицательный ответ, он ничем не будет стеснен в своих действиях и его пристрастия не встретят никаких преград? В столь малом государстве, где никто не может скрыться в толпе, кто же тогда не будет пребывать в постоянном страхе и ежеминутно не ощутит несчастье, имея господ из числа равных себе? В больших государствах частные лица слишком далеко отстоят от своего государя и правителей, чтобы те могли за ними наблюдать; униженное положение для них — спасение; и если народ платит, то его оставляют в покое. Но вы не сможете сделать ни единого шага, не ощутив тяжести ваших оков. Родственники, друзья, покровительствуемые лица, шпионы ваших господ станут в еще большей степени вашими господами, чем они сами; вы не посмеете ни защитить свои права, ни требовать того, что вам принадлежит, из страха нажить себе врагов; самые темные тайники не скроют вас от тирании; неизбежно придется стать либо ее приверженцем, либо ее жертвой. Вы ощутите и политическое рабство, и рабство гражданское; едва ли вы осмелитесь свободно дышать. Вот, сударь, к чему естественным

образом приведет пользование правом давать отрицательный ответ в том виде, в каком его присваивает себе Совет. Я не думаю, чтобы он пожелал применить его столь пагубным для вас образом, но он, несомненно, может это сделать; и одна уверенность, что он может быть безнаказанно несправедлив, заставит вас испытать те же муки, как если бы он в действительности стал таковым.

Я объяснил вам, сударь, положение вашего государственного строя таким, каким оно мне представляется. Из сказанного мною следует, что этот строй в целом хорош и прочен и что, ограничивая свободу необходимыми для нее пределами, он в то же самое время упрочивает ее в той мере, в какой это только возможно. Ибо из того, что правительство обладает правом давать отрицательный ответ, направленным против нововведений законодателя, а народ — сходным правом в противовес присвоению власти Советом, следует, что царят только законы, и они царят над всеми. Первый человек в государстве подчинен им в той же мере, что и последний, никто не может их нарушать, никакие соображения частной выгоды не могут их изменять, и государственный строй остается незыблемым.

Но если, напротив, служители законов становятся единственной властью над ними и могут заставлять их говорить или молчать по своему усмотрению, если право подачи Представлений, эта единственная порука законов и свободы, есть лишь призрачное и ничтожное право, ни в коем случае не наделенное какой-либо силой, то я не вижу рабства, способного сравниться с вашим. И тогда ваше представление о свободе — лишь презренный и ребяческий обман, на который непристойно даже обращать внимание здравомыслящих людей. Для чего тогда нужно созывать законодателя, раз воля Совета — единственный закон? Для чего нужно торжественное избрание магистратов, уже заранее ставших вашими судьями и получивших от этого избрания власть, которую они осуществляли и до этого? Подчинитесь добровольно и откажитесь от этих детских игр, которые, превратившись в пустую трату времени, только лишний раз унижают вас.

Это положение, наихудшее из тех, в какое только можно попасть, имеет только одно преимущество — оно может измениться лишь к лучшему. Это единственный способ выбраться из пучины бедствий; но это средство всегда действенно, когда люди, наделенные умом и сердцем, о нем знают и умеют им воспользоваться. Пусть в ваших поступках вас укрепляет уверенность в том, что нельзя

пасть ниже, чем вы пали! Но будьте уверены, что вам не удастся выбраться из пропасти до тех пор, пока меж вами существуют разногласия, до тех пор, пока одни желают действовать, а другие — пребывать в покое.

Вот, сударь, я и дошел до конца этих «Писем». Объяснив вам положение, в котором вы находитесь, я не стану вам указывать путь, по которому вам нужно идти, чтобы из него выбраться. Если такой путь существует, то вы и ваши сограждане на месте сможете лучше его увидеть, чем я. Если знаешь, где находишься и куда должен идти, то можешь двигаться без всяких затруднений.

Автор «Писем» утверждает, что «если в каком-либо правительстве замечается склонность к насилию, то не нужно ждать того момента, когда в нем укрепится тирания, дабы его образумить». К сказанному он добавляет, предполагая случай, который считает, в сущности, призрачным, что «остается еще одно печальное, но законное средство, к которому можно было бы прибегнуть в этом крайнем случае, как прибегают к хирургической операции при появлении гангрены» \*. Я как раз и рассмотрел, можно ли предположить, что ваше положение является таким призрачным случаем. Следовательно, мой совет вам здесь больше не нужен, автор «Писем» дал вам его за меня. Все средства протеста против несправедливости дозволены, пока они остаются миролюбивыми; а тем более дозволены те, что разрешены законами.

Когда законы нарушаются в отдельных случаях, вы можете прибегать к вашему праву подавать Представления. Но когда оспаривается само это право, следует прибегнуть к помощи посредников. Я не включил ее в число средств, могущих сделать любое Представление действенным. Сами посредники не пожелали этого сделать; они заявили, что нисколько не стремились посягать на независимость государства, ибо тогда они положили бы, так сказать, ключ к правлению в свой карман. Таким образом, в отдельных случаях вследствие отклонения Представлений можно созвать Генеральный Совет, но непризнание самого права на их подачу, по-видимо-

---

\* Следствием применения подобных правил стало бы учреждение суда посредничества, находящегося в Женеве и занимающегося разбором дел о нарушениях законов. В результате деятельности этого суда суверенитет республики оказался бы вскоре уничтожен, но свобода граждан оказалась бы обеспечена гораздо лучше, чем в случае отмены права на Представления. Однако быть сувереном лишь по названию значит не много, а быть свободным на деле значит многое.

му, дает основание прибегнуть к помощи посредников. Необходимо, чтобы машина заключала в самой себе все рычаги, приводящие ее в действие, но когда она остановилась, надо звать рабочего, чтобы он ее исправил.

Я слишком хорошо понимаю, к чему ведет использование подобного средства, и я чувствую, как сжимается при виде этого мое сердце патриота. Потому, повторяю, я не предлагаю вам ничего; да и что я посмею вам сказать? Совещайтесь с вашими согражданами и подсчитывайте голоса только после того, как вы их взвесите. Опасайтесь беспокойной молодежи, наглого богатства и продажной нищеты; от них нельзя ожидать никакого спасительного совета. Советуйтесь с теми, кого порядочность, умеренный достаток ограждают от соблазнов честолюбия и от нищеты; с теми, чья почтенная старость венчает безупречную жизнь; с теми, кого долгий опыт научил разбираться в общественных делах; с теми, кто, не питая честолюбивых замыслов, заключающихся в стремлении играть видную роль в государстве, довольствуется положением его граждан; наконец, с теми, кто, не преследуя никогда в своих поступках иной цели, кроме блага отечества и сохранения законов, заслужил своими добродетелями уважение общества и доверие людей, им равных.

Но главное — объединяйтесь все! Вы неминуемо погибнете, если между вами останется рознь. И к чему вам рознь, когда вас объединяет столь значительная общая выгода? Как при подобной опасности осмеливаются возвысить голос низкая зависть и мелкие пристрастия? Стоят ли они того, чтобы им потакали столь дорогой ценой, и нужно ли, чтобы вашим детям когда-нибудь пришлось сказать, оплакивая свои оковы: «Вот плоды разногласий наших отцов»? Одним словом, здесь важно не столько обсуждать, сколько достичь взаимопонимания. Выбор решения, которое вы примете, — это не самое важное дело; пусть оно будет само по себе плохим, но принимайте его все вместе. Уже только по одному этому оно станет наилучшим, и вы всегда сделаете то, что нужно сделать, если вы это сделаете сообща. Вот мое мнение, сударь, и я заканчиваю тем, с чего начал. Повинуюсь вам, я выполнил свой последний долг перед отечеством. Теперь я прощаюсь с теми, кто в нем живет. Они больше не смогут мне сделать ничего дурного, а я уже больше не могу сделать для них ничего хорошего.

## Письма с Горы

**Впервые:** *Lettres écrites de la montagne* par J. J. Rousseau. Amsterdam: Chez Marc Michel Rey, 1764.

**Перевод** С. В. Занина и В. В. Некрасова по изд.: *Œuvres complètes de J.-J. Rousseau*. Paris: Gallimard, 1964. Т. 3. Перевод писем 6, 7, 9, принадлежащий Н. А. Полторацкому, сверен и исправлен С. В. Заниным.

**Комментарии** И. И. Бочкова и С. В. Занина.

Перевод «Писем с Горы» на русский язык Н. А. Полторацкого (только письма 6, 7, 9), не отличающийся литературными достоинствами, был выполнен не по научно-критическому изданию, а по публикации 1782 года (*Collection complète des œuvres de Jean-Jacques Rousseau*. Amsterdam), и содержит пропуски, а также фразы, добавленные редакторами этой публикации в XVIII в. Этот перевод был опубликован в изд.: *Руссо Ж.-Ж. Трактаты*. С. 352–406.

<sup>1</sup> Живу, чтобы служить истине (*лат.*). Девиз Руссо.

<sup>2</sup> В Женеве «Представлениями» называли обращения граждан к Малому Совету с возражениями против его действий.

<sup>3</sup> *Церковные ордонансы* — постановления, касающиеся функционирования церкви в Женеве. Приняты в XVI в. по инициативе Жана Кальвина.

<sup>4</sup> *Морелли Жан-Батист* (1524–1594) — француз-эмигрант, оппонент и критик Жана Кальвина. В 1562 г. он опубликовал в Лионе без одобрения женеvских властей «Трактат о христианском повиновении и распорядке жизни», который содержал критику религиозных и политических установлений Кальвина. Руссо проводит аналогию между публикацией своего «Эмиля» и поведением Морелли.

<sup>5</sup> Речь идет о книге Клода Адриана Гельвеция «Об уме», опубликованной в 1758 г.

<sup>6</sup> В «Речи при избрании во Французскую академию» (*D'Alembert. Œuvres*. Paris, 1807. Т. IV. P. 307).

<sup>7</sup> *Вариант:* Ибо не все люди — члены государства, но все они — дети Бога, рожденные в Небесном Граде и призванные к вечному блаженству. Истинный христианин считает иностранца не иностранцем, а своим собратом, и врага не врагом, а своим ближним. С точки зрения политики я полагаю, что христианство имеет недостаток, а именно: делает человека слишком способным к общежитию и не видит различий между людьми; и это заставляет меня утверждать, что оно является пагубным для

общества. Бог не отдает предпочтения народам и не отличает каждый из них в отдельности; народ Божий — это род человеческий. Чем ближе человек к небу, тем менее он привязан к земле и к тому, что на ней происходит. Дух христианства заключается в том, что оно уничтожает границы наций и создает всеобъемлющее сообщество, которое частные общества почти что свели на нет. Вот в точности то, что сделало христианство: люди стали более гуманными и менее проникнутыми патриотизмом. На иностранцев больше не смотрят как на врагов, а на сограждан как на братьев. В этом мире христианин считает себя странником, который следует по пути, ведущему к небесной отчизне, и, считая свое пребывание на земле временным, он не слишком заботится о том, чтобы поддерживать или устанавливать порядок в тех временных прибежищах, где он проживает.

- <sup>8</sup> *Вариант:* Ибо догматы, противоречащие духу общежития, следует полностью отвергнуть. Человек должен принимать решение, руководствуясь разумом, и эта гражданская религия есть в точности религия савойского священника. Эта гражданская религия, будучи религией каждого справедливого, гуманного, разумного и набожного человека, в сущности, ничем не отличается от чистого христианства.
- <sup>9</sup> Авторство этого произведения принадлежит Генеральному прокурору Жану-Роберу Троншену (1710—1793), одному из самых влиятельных членов олигархической партии в Женеве.
- <sup>10</sup> Речь идет о Жакобе Верне (1698—1789), известном кальвинистском теологе, который неоднократно выступал в печати против Руссо. Он следил в 1748 г. за печатанием «Духа законов» Монтескье в Женеве по поручению автора.
- <sup>11</sup> Речь идет о Жане д'Аламбере и его статье «Женева» в 7 томе Энциклопедии.
- <sup>12</sup> *Социнианство* — основанное Фаустом Социном движение в протестантском богословии, отрицавшее догмат о Троице. Оно распространилось в XVII в. в Германии и Речи Посполитой.
- <sup>13</sup> Речь идет о статье журналиста Фрерона, опубликованной в 1758 г. в газете «Литературный год» («Année littéraire»).
- <sup>14</sup> Имеется в виду сочинение пастора Жакоба Верне, который опубликовал в Женеве в 1763 г. «Письма о христианстве» Руссо.
- <sup>15</sup> Изданная в 1713 году булла «Unigenitus» была направлена против сочинений отца Кенеля, убежденного янсениста. Состоявший из янсенистов Парижский парламент выступил против этой буллы, считая ее прописками иезуитов.
- <sup>16</sup> Ортодоксальная протестантская газета.

- <sup>17</sup> Цицерон, Марк Туллий (106—43 до н. э.). В трактате «Об обязанностях» (*De officiis*), адресованном сыну Марку, так же как и в письмах Матию Цицерон настаивал на примате гражданских обязанностей. Аналогичные идеи обоснованы Платоном в диалоге «Государство» и, в особенности, в «Законах» (846a—847e).
- <sup>18</sup> Парафраз Руссо.
- <sup>19</sup> В данном случае Руссо имеет в виду «Английские письма» (1763) пастора Верне, где критике подвергнуты религиозные взгляды Руссо. Жак-Коб Верн (1728—1791) — женевский пастор, критик религиозных взглядов Руссо в сочинении «Письма о христианстве «Руссо» (1763). Пьер Бейль (1647—1706) в «Различных мыслях, изложенных доктору Сорбонны по поводу кометы» (1681) и в «Продолжении различных мыслей» (1682) считал, что так называемые «христианские чудеса» в действительности представляют собой явления природы.
- <sup>20</sup> Ардуэн Жан (1646—1729) — иезуит, известный богослов и мастер парадоксальных утверждений. Далее Руссо цитирует известного женевского богослова Теодора де Беза (1519—1605), друга и сподвижника Жана Кальвина.
- <sup>21</sup> Недостаточна вера тех, кто нуждается в чудесах (*лат.*).
- <sup>22</sup> В 1743—1744 гг. Руссо был секретарем посланника Франции в Венеции маркиза де Монтэгу.
- <sup>23</sup> Известный парижский лодочник XVII в., шутки и забавные выходки которого остались в памяти парижан.
- <sup>24</sup> Речь идет о явлении, происходившем у могилы дьякона Париса на кладбище при церкви Сен-Мендар в Париже: у приближавшихся к месту погребения прихожан беспричинно начинались судороги.
- <sup>25</sup> Брюйе д'Абланкур Жак-Жан (?—1756) — знаменитый врач, автор многочисленных сочинений, наиболее известное из которых — «Рассуждение о недостоверности признаков смерти и злоупотреблении поспешными захоронениями». Книга выдержала несколько изданий и была переведена на многие языки.
- <sup>26</sup> Предисловие к роману «Эмиль, или о Воспитании».
- <sup>27</sup> Речь идет об «Исповедании веры Савойского vicария».
- <sup>28</sup> Речь идет о Жакобе Верне и его «Письмах о христианстве Руссо».
- <sup>29</sup> *Расин*. Федра, акт 4, сцена 2.
- <sup>30</sup> В оригинале обыгрывается двойное значение слова *griffe* — «обидное слово» и «коготь».
- <sup>31</sup> Руссо ошибается. Этот анекдот приведен не в сборнике анекдотов, составленном Брантомом, а в письме мадам Севинье Бюсси-Рабютену от 20 июня 1687 года.

- <sup>32</sup> Имеется в виду Совет 200, или Великолепный Совет.
- <sup>33</sup> Речь идет о дворе короля Фридриха II Прусского. Фридрих был владельцем суверенного княжества Нефшатель, в котором Руссо, преследуемый Парижским парламентом, скрывался в 1763—1765 гг.
- <sup>34</sup> Намек на предпочтения жителей Женевы: ее богатые граждане и сам Троншен любили жить в загородных домах.
- <sup>35</sup> Руссо еще раз бросает упрек женевским властям в скрытой поддержке антирелигиозной пропаганды Вольтера.
- <sup>36</sup> Великолепный Совет, или Совет 200, в Женеве избирался собранием граждан, то есть Генеральным Советом. Основной функцией Совета 200 было избрание Малого Совета, или Совета 25.
- <sup>37</sup> Речь идет о сочинении аббата Мабли, опубликованном анонимно под заголовком «Учебник для инквизиторов Испании и Португалии» (*Manuel des inquisiteurs, à l'usage des inquisiteurs de l'Espagne et de Portugal*. Lisbonne, 1702).
- <sup>38</sup> Николя Антуан (1602—1632) — протестантский пастор еврейского происхождения, который отрекся от протестантизма, заявив, что желает «умереть во имя иудаизма». Его казнили как вероотступника.
- <sup>39</sup> Мигель Сервет (1511—1553) — видный испанский теолог и противник догмата о единосущности Троицы. Спасаясь бегством от преследований испанской инквизиции, попал в Женеву, где и был сожжен на костре по наущению Кальвина, а его семью оставили умирать от холода на улице в зимнее время. Альберик Жантилис (год рождения и смерти неизв.) — французский теолог, противник догмата о единосущности Троицы. В 1558 году был схвачен в Женеве и брошен в тюрьму по приказу Кальвина, где письменно отрекся от своих убеждений и поэтому избежал казни.
- <sup>40</sup> Городская стража в Женеве.
- <sup>41</sup> Руссо имеет в виду свободную продажу книг Вольтера и Гельвеция в Женеве.
- <sup>42</sup> Речь идет о державах, которые составили Устав о посредничестве.
- <sup>43</sup> То есть в Берне. В XVIII в. Женева, как и Берн, были самостоятельными государствами. Инициатором обвинения против Руссо в Женеве — отрицание христианских догматов, попытка «уничтожения всех правлений» — выступил Малый Совет. Его книги, согласно решению Малого Совета, должны были быть сожжены рукой палача, а он сам арестован. Аналогичные обвинения и приговор вынес Сенат Берна.
- <sup>44</sup> Имеется в виду статья Вольтера в «Философском словаре».
- <sup>45</sup> Речь идет о «Письме д'Аламберу», в котором Руссо защищает протестантскую религию и клир Женевы.

- <sup>46</sup> *Вот, сударь, еще одно письмо...* — Адресат «Писем с Горы» — вымышленное лицо, в письмах к которому Руссо обращается к «среднему классу» Женевы; прямой призыв к его «мудрости» содержится в заключительных строках писем V и IX.
- <sup>47</sup> *...унижтожение христианской религии и всех правлений.* — Текст соответствующих документов см.: *Viridet M. Documents officiels et contemporains sur quelques-unes de condamnations dont l'Émile et le Contrat social ont été l'objet en 1762.* Genève, 1850. P. 20.
- <sup>48</sup> *...в виде выдержки из первой.* — В книге V романа «Эмиль» содержится краткое изложение идей «Общественного договора».
- <sup>49</sup> Имеется в виду учение Гоббса и Гроция, взгляды которых Руссо уже подвергал критике в «Рассуждении о происхождении неравенства» и в «Общественном договоре» (кн. I, гл. III).
- <sup>50</sup> *...по мнению других, это — отцовская власть...* — Речь идет о мнении, которое было высказано Гроцием и поддержано знаменитым немецким юристом Самюэлем Пуфендорфом.
- <sup>51</sup> *...по мнению третьих, это — воля Божия.* — Доктрина *nisi a Deo potestas* («нет власти не от Бога») была создана в эпоху Средних веков сторонниками примата духовной власти над светской (папами Григорием VII и Иннокентием III). В XVII в. ее, в частности, развивали Жак-Бенигн де Боссюэ и Филмер, которые видели в Боге скорее источник суверенной власти, находящийся в руках короля, чем происхождение самого гражданского общества. Критику идей Филмера Руссо развил в «Рассуждении о политической экономии».
- <sup>52</sup> *...не Вильгельму, а Якову.* — Намек на соперничество семей Оранских и Стюартов в Англии, то есть Якова II Стюарта и Вильгельма Оранского, штатхаудера Нидерландов, призванного в 1688 г. на английский престол под именем Вильгельма III после так называемой «Славной Революции», точнее, государственного переворота.
- <sup>53</sup> *...все, кому знакомо ваше государственное устройство.* — Одно из немногих дошедших до нас свидетельств о реакции женевцев на запрещение «Общественного договора» Малым Советом мы находим в письме Мульту к Руссо от 16 июня 1762 г., в котором его автор писал, что гражданам Женевы говорят об этой книге как об «арсенале свободы», и в то время как «меньшинство мечет громы и молнии, большинство торжествует. Оно даже почти прощает вам ваши религиозные взгляды ради Вашего патриотизма».
- <sup>54</sup> *...не запрещена ни одним из них!* — Действительно, ни парламент Парижа, ни Сенат Берна, ни штаты Голландии, ополчившиеся на «Эмиля», не подвергали гонениям «Общественный договор»; любопытно, что он не был осужден и испанской инквизицией (см.: *Defourneux M. L'inquisition*

espagnole et les livres français au XVIII siècle. Paris, 1936. P. 170). Руссо высказался по поводу запрещения «Общественного договора» в Швейцарии и Женеве в письме от 29 мая 1764 г., адресованном издателю этого трактата Марку-Мишелю Рею. Он, в частности, писал, что «Общественный договор» — книга, «в которой правительства рассматривались согласно их основаниям, и что, следовательно, автор тут не перешел и не мог перейти границы чисто философского изучения вопроса» (СС. № 1256).

- <sup>55</sup> ...даже и то государство... — Речь идет о Голландии; о мерах, принятых здесь в отношении распространения «Общественного договора», см.: *Lettres inédites de J.-J. Rousseau à Marc-Michel Rey / Publ. par J. Bosscha. Amsterdam; Paris, 1858. P. 165–167.*
- <sup>56</sup> ...было перепечатано без разрешения авторов... — В оригинале Руссо употреблено слово *contrefaction* — так в XVIII и XIX вв. называли своего рода «поддельные» — повторные — издания, напечатанные тайком от автора, с тем чтобы не платить ему гонорара.
- <sup>57</sup> Альджерон Сидней был казнен в 1682 г. Руссо сделал в своих рабочих тетрадах ряд выписок из сочинения Сиднея «Рассуждения о правлении».
- <sup>58</sup> Альтузий Иоганн (1557–1638) — немецкий государствовед, автор книги «Политика» (1603), в которой развиваются идеи неделимости и неотчуждаемости суверенитета.
- <sup>59</sup> *Поведение Совета...* — Речь идет о Совете 25, или Малом Совете, фактически державшем в своих руках власть в Женеве; члены его избирались пожизненно.
- <sup>60</sup> *Грабо* — старинное демократическое установление. Советники, прежде чем их утверждали в должности, проходили «чистку», подвергаясь критике со стороны граждан (подробнее см.: *Fazy H. Les constitutions de la République de Genève. Genève, 1890. P. 52.*)
- <sup>61</sup> Речь идет об Эдикте 1568 г., который постановлял, что при выборах каждый советник назовет кандидатуры, за которые он подает голос, на ухо секретарю (см.: *Édits de la République de Genève. Genève, 1735. P. 4–5, § 10.*)
- <sup>62</sup> Генеральный прокурор обладал в Женеве весьма разнообразными функциями, перечисленные в «Эдиктах Женевской республики». Будучи прежде всего общественным обвинителем, он участвовал в отправлении правосудия по уголовным и гражданским делам, а также осуществлял надзор по делам опеки и строительства (см.: *Werner G. Le procureur général de l'ancienne république de Genève d'après les édits de 1543 et 1568 // Étrennes genevoises. 1929. P. 34–58.*) Однако со временем лица, занимавшие эту должность, стали игрушкой в руках Малого Совета.

- <sup>63</sup> *...родственные связи в Совете...* — Жан Троншен, занимавший пост Генерального прокурора с 1762 по 1768 г., как и его предшественники Жак Дю Пан (1734—1741), Жан Галифе (1741—1747), Луи Бюиссон (1747—1753) и Антуан Ревиллио (1753—1759), все либо были родом из патрицианских семей, либо находились с ними в родстве.
- <sup>64</sup> *Они ссылаются на закон об отводах...* — В таком небольшом государстве, как Женева, многие граждане находились между собой в той или иной степени родства, поэтому право отвода занимало значительное место в его законодательстве, образуя особый III раздел «Эдиктов по гражданскому праву». В уголовных делах разрешалось заявить отвод любому лицу из состава суда, находящемуся в родстве вплоть до десятой степени.
- <sup>65</sup> *...после одного волнения...* — Речь идет о деле Пьера Фацио, который выступил в защиту демократических прав граждан в 1707 г. и против введения новых налогов на строительство городских укреплений без одобрения Генерального Совета. Несмотря на протест женевцев, эти налоги были утверждены в 1714—1715 гг. решением Малого Совета. При этом мнения Генерального Совета не спрашивали, хотя закон 1570 г. прямо указывал на то, что ни один налог не может быть введен без одобрения с его стороны.
- <sup>66</sup> Имеется в виду А. Г. Бине, которого необоснованно арестовали. Доказав свою невиновность, он был освобожден, но все его попытки получить возмещение за причиненный ему моральный и материальный ущерб оказались тщетными. Руссо знал об этом эпизоде со всеми его обстоятельствами от самого Бине, поскольку был знаком с ним и поддерживал переписку (см. письмо Бине к Руссо от 27 мая 1763 г., хранящееся в Рукописном отделе Библиотеки г. Невшателя; см. также письмо Руссо к Мульту от 4 июня 1763 г.: СС. № 1328). Бине подробно описал его в своих «Мемуарах», опубликованных в Женеве в 1776 г. Документы по истории дела Бине хранятся в архиве семьи Троншен в Публичной библиотеке Женевы.
- <sup>67</sup> Речь идет о заключительной части Устава о посредничестве, в которой его авторы (французский король и кантоны Цюрих и Берн) заявляли, что в целях предупреждения повторения имевших место «волнений» они гарантируют соблюдение всех статей данного Устава. 19 ноября 1761 г. Бине, ссылаясь на это положение, обратился к Генеральному прокурору, требуя, чтобы на основании положения о гарантиях неприкосновенности имущественных прав граждан, гарантированного Уставом, тот дал ему возможность получить удовлетворение своей жалобы в суде. По словам Бине, ответ генерального прокурора гласил, что если бы он предоставил Бине право обратиться в суд, то его должны были бы самого приговорить к смертной казни как виновного в оскорблении

величества, то есть Сеньории Женевы, или, другими словами, граждан Женевы.

- <sup>68</sup> То есть ухищрений сторонника примата папской власти.
- <sup>69</sup> Собрание Генерального Совета 29 февраля 1420 г. имело исключительно большое значение, поскольку решался вопрос о притязании герцога Савойского Амедея VIII на власть в Женеве. Оно закончилось голосованием и подписанием акта о независимости города. Историк Ж. Готье (*Gautier J. A. Histoire de Genève. T. I. Genève, 1896. P. 313*) называет цифру 622 подписавшихся; Руссо же говорит в черновых вариантах «Писем с Горы» о 727 лицах (в окончательной редакции оно снизилось до 720). Это число он заимствовал либо у J. Spon (*Histoire de Genève. Genève, 1730. T. I. P. 174*), либо у Vernes et Roustan (*Histoire de Genève — неопубликованная рукопись, хранящаяся в библиотеке Женевы*), где приведены те же цифры.
- <sup>70</sup> Руссо говорит о Николя Леметре, который наряду с П. Фацио выступал в защиту демократических прав, за что был арестован, подвергнут пыткам и повешен (см.: *Corbaz A. Pierre Fatio, précurseur et martyr de la démocratie genevoise. 1662—1707. Genève, 1913. P. 112, 252—261*). «В моих руках также “История” Леметра с повествованием о волнениях 1707 г.», — писал Руссо Ивернуа 31 августа 1764 г. Сведения о Леметре он получил, скорее всего, от Де Люка, в бумагах которого, находящихся в Публичной библиотеке Женевы, хранится «Отчет о деле Леметра».
- <sup>71</sup> ...перед произволом двадцати пяти деспотов. — До Руссо только Жак Микеле Дюкре осмеливался предъявлять Малому Совету обвинения в узурпации свободы граждан Женевы (см.: *Supplication avec Supplement présentée aux Louables Cantons de Zurich et de Berne en Juillet et Décembre 1744. Bâle, 1745. P. 62—63*).
- <sup>72</sup> В данном случае совершенно очевидно, что Руссо трактует Устав о Посредничестве в духе учения об общественном договоре: народ вправе менять «рамки общих соглашений» (ср.: Об общественном договоре. Кн. 1, гл. 6).
- <sup>73</sup> Речь идет об аудиторе *Саразене*, осужденном по решению Малого Совета в 1667 г. Саразен выступил против синдиков Женевы и, следовательно, против Малого Совета, обвиняя их в узурпации власти. Конфликт вылился в беспорядки на улицах и закончился восстановлением Саразена в должности аудитора Совета 200.
- <sup>74</sup> *Мишели* (Микеле) дю Кре (Дюкре, Du Crest; 1690—1766) — один из видных критиков Малого Совета, неоднократно сидевший в тюрьме за свои оппозиционные взгляды.
- <sup>75</sup> Аналогичный пример и сравнение с порядком управления в Китае использованы Руссо в «Рассуждении о политической экономии» 1755 г. (Наст. изд. С. 50).

- <sup>76</sup> Стабильный прирост населения назван основным критерием качества работы правительства в трактате «Об общественном договоре».
- <sup>77</sup> В Женеве в каждом квартале формировался отряд из горожан, делившийся на четыре подразделения.
- <sup>78</sup> Часто встречающийся в «Письмах» мотив противопоставления «свободных людей» и «черни» перекликается с тезисами о воспитании народа в «Рассуждении о политической экономии». Правительству предлагается заботиться о том, чтобы в государстве господствовал и уважался закон, в рамках которого только и возможна свобода. Подчиняясь закону, единому для всех, люди превращаются из толпы в народ.
- <sup>79</sup> на сей случай (*лат.*).
- <sup>80</sup> Первый Синдик Женевы. В эпоху, когда Руссо писал эти строки, Первый Синдик был высшим магистратом города.
- <sup>81</sup> «Предостережения» (*rémontrances*) — термин государственного права Франции. Правом предостережения обладали парламенты Франции, направлявшие в адрес короля или министра «предостережения» в случае, если указ первого или решение второго противоречили действующим законам и обычаям.
- <sup>82</sup> Так Генеральный прокурор Женевы Жан-Робер Троншен, автор «Писем из деревни», охарактеризовал Руссо.
- <sup>83</sup> Выборное должностное лицо, судья по уголовным делам.
- <sup>84</sup> В данном случае речь идет о хартии, дарованной Женеве в 1387 г. ее сеньором епископом Адемаром Фабри, которая подвела итог коммунальному движению в городе на первом этапе, когда граждане боролись за автономию города. Позже епископы были изгнаны из Женевы, и она стала независимой городской коммуной.
- <sup>85</sup> Руссо имеет в виду «Великую Хартию Вольностей» 1215 г., подписанную королем Англии Иоанном Безземельным.
- <sup>86</sup> Золотурнский трактат гарантировал Женеве охрану ее прав и независимости Францией, а также коммунами Золотурна и Берна в XVII в.
- <sup>87</sup> Руссо имеет в виду эпизод с Джоном Уилксом (1727—1797), членом Палаты общин, выступившим в 1762 г. с резкой критикой политики правительства сначала в анонимном памфлете, а затем — в газете «Северный Британец» («*The North Britain*»). Так, в номере от 23 апреля 1763 г. он критически отозвался о тронной речи короля, о требовании конфискации его произведений и своем аресте. У Уилкса были изъяты рукописи, он был исключен из парламентских комиссий. Но оказалось, что своими действиями власти нарушили *Habeas corpus act*. 6 декабря 1763 г. суд, признав действия властей незаконными, обязал их выплатить Уил-

- ксу 1000 фунтов стерлингов компенсации. Руссо знал об обстоятельствах этого дела из газет.
- <sup>88</sup> Речь идет о постановлении Генерального Совета от 2 апреля 1570 г., собравшегося в разгар эпидемии чумы.
- <sup>89</sup> Чума в Марселе свирепствовала в 1720—1721 гг. Говоря о Королевском банке, Руссо, вероятно, имеет в виду падение во Франции так называемой системы Лоу, банкира, по инициативе которого впервые предприняли выпуск бумажных денег. Но после краха банка понадобилось еще несколько лет, чтобы деловая жизнь в Женеве вошла в прежнюю колею; см.: *Luthy H. La Banque protestante en France de la Révocation de l'Edit de Nantes à la Révolution. Paris, 1959. T. I. P. 424.*
- <sup>90</sup> Руссо изложил довольно точно историю столкновений, начавшихся в ночь с 30 июня на 1 июля 1734 г., спровоцировавших вооруженные выступления горожан. 20 декабря в Генеральном Совете поставили на голосование Эдикт об умиротворении, но голосование не состоялось. Заговор, о котором идет речь далее, был организован Бернаром де Буде, графом де Монреаль, который вооружил несколько сот граждан из низов и предоставил их в распоряжение Совета. Новые вооруженные столкновения (21 августа 1737 г.) привели к обращению за посредничеством к Цюриху, Берну и Франции.
- <sup>91</sup> 1 декабря 1706 г. Малый Совет рассматривал памятную записку, переданную четырьмя гражданами «от имени многих других» и содержавшую предложение проводить в Генеральном Совете выборы при помощи бюллетеней, как это делалось в Совете Двухсот. Благодаря различным ухищрениям, Малому Совету удалось отклонить это предложение, но решено было дополнительно принять ряд мер, обеспечивающих свободу голосования.
- <sup>92</sup> То есть Пьер Фацио.
- <sup>93</sup> Имеется в виду Николая Леметр, осужденный на основании единственного свидетельского показания.
- <sup>94</sup> Речь идет о Жане Пиаже, одном из руководителей горожан Женевы наряду с Фацио, утонувшем в Роне 18 августа 1707 г. при попытке бегства.
- <sup>95</sup> Троншен писал в «Письмах из деревни», что «право давать отрицательный ответ <...> представляет собой оборонительное оружие».
- <sup>96</sup> «Поскольку право Представлений может оказаться наступательной силой, способной все опрокинуть, то мудрость законодателя может заключаться в том, чтобы противопоставить ему силу, способную оказать сопротивление: эта сила — право давать отрицательный ответ, представляющее собой не что иное, как обязательство Совета тщательно рассматривать Представления», — писал Троншен в «Письмах из деревни».
- <sup>97</sup> Руссо имеет в виду и осуждение его книги в Женеве.